

**НОВЫЙ  
Журнал**

**160**

**THE NEW  
REVIEW**

THE  
NEW REVIEW  
Новый Журнал

---

*Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942*  
*С 1946 по 1959 редактор М. Карпович*  
*С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев*  
*С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль*  
*С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор),*  
*Г. Андреев, Л. Ржевский*

*Сорок четвертый год издания*

*РЕДАКЦИЯ: РОМАН ГУЛЬ (главный редактор),  
Ю. Д. КАШКАРОВ и Е. Л. МАГЕРОВСКИЙ  
СЕКРЕТАРИ: О. РАДЫШ и З. ЮРЬЕВА*

NEW REVIEW. September 1985

NEW REVIEW (ISSN 596680) is published quarterly by New Review Inc., 2700 Broadway, New York, NY 10025. Second Class postage paid at New York, N.Y. POSTMASTER: Send address changes to the New Review, 2700 Broadway, New York, N.Y. 10025.

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Р. Гуль</i> — Я унес Россию. Том III. "Россия в Америке" .....	5
<i>Б. Закович</i> — Стихи .....	36
<i>М. Дубинин</i> — Пушкин в Одесском театре.....	38
<i>Т. Величковская</i> — Стихи.....	49
<i>Ю. Кашкаров</i> — Иберия .....	50
<i>Эрг</i> — "Тупик Успокоенного Сердца" .....	95
<i>Э. Абросим</i> — Хризантемы .....	100
<i>Н. Скад</i> — Побег .....	108
<i>И. Чиннов</i> — Стихи .....	119
<i>Игорь Чиннов</i> — <i>Джон Глэд</i> — Интервью.....	120
<i>Г. Архангельский</i> — О простоте и сложности Российской поэзии .....	128
<i>Б. Филиппов</i> — П.Я. Чаадаев. Цепь цитат .....	139
<i>В. Крейд</i> — Г. Иванов в литературной жизни 1910-1913 гг .....	162
<i>А. Чедрова</i> — Христианские аспекты романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита" .....	175
<i>В. Блинов</i> — Созидательные антиномии С. Рафальского .....	184

## ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

<i>Письма И.Ф. Романова Рцы  к В.В. Розанову. Публикация Ю. Иваска</i> .....	202
<i>М. Шапиро</i> — Женский концлагерь .....	219

## ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

<i>А. Федосеев</i> — ЮАР и ее проблемы .....	253
--	-----

## ПАМЯТИ УШЕДШИХ

<i>С. Зеньковский</i> — Верный флагу. Памяти Н.И. Ульянова; <i>С. Крыжицкий</i> — Н.И. Ульянов; <i>Б. Филиппов</i> — Памяти Г.П. Струве; <i>Ю. Иваск</i> — Памяти Глеба Струве; <i>М. Гольдштейн</i> — Памяти К.Е. Аренского.....	268
---	-----

## СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

- В. Гинзбург* — В дополнение к "Дневнику" М. Башкир-  
цевой ..... 287

## БИБЛИОГРАФИЯ

- Игумен Геннадий Эйкалович* — А. Ф. Лосев. "Вл. Соловьев"; *Е. Валин*  
— Сергей Клычков. "Князь мира"; *Я. Горьковатый* — Еще один дождь;  
*Игумен Геннадий Эйкалович* — Чеховград; ..... 291

# Я УНЕС РОССИЮ

Т. III. РОССИЯ В АМЕРИКЕ

## СОВПАТРИОТЫ И КОЛЛАБОРАНТЫ

Русский послевоенный Париж являл сумбурную и неустойчивую картину. Угоревших от совпатриотизма и открыто (и тайно организационно) поддерживало советское посольство. Оно выпускало газету "Русский Патриот" (1945), быстро переименовавшуюся в "Советского Патриота" (1945-48), редактором которой был не кто-нибудь, а известный старый эмигрант, профессор-историк Д. Одинец (уехал в СССР и где-то сгинул). Советское посольство создало и "Союз Совпатриотов" (официально — "Союз советских граждан") под почетным председательством совпосла-чекиста А.Е. Богомолова. А в "Союзе" большую роль играл старый эмигрант, бывший белый офицер, бывший узник Бухенвальда, заслуженный масон Игорь Александрович Кривошеин.

Выпускались и более "либеральные" "Русские Новости" под редакцией А.Ф. Ступницкого, бывшего долголетнего сотрудника "Последних Новостей". В "Русских Новостях" начали сотрудничать некоторые старые эмигранты-писатели и журналисты — Г. Адамович, А. Бахрах и др. Заманили в газету и В.А. Маклакова (но ненадолго, одна-две статьи). Писал иногда Н.А. Бердяев. Это как раз об этих его писаниях Г.П. Федотов сказал в Нью-Йорке: "Ослепший орел, облепленный советскими патриотами".

В.А. Маклаков в это время ходил с визитом к послу-чекисту Богомолову в окружении с ним согласных старых эмигрантов. В обращении к совпослу он сказал: "Мы восхищались патриотизмом народа, доблестью войск, искусством вождей и должны были признать, что все это подготовила советская власть, которая

\* См. "Н. Ж.", кн. 157-159

управляла Россией... Нужно работать для взаимного понимания и примирения...”.

После этого “хождения” в каком-то частном доме быв. ротмистр Артамонов не подал Маклакову руки. Правда, в своей “Каноссе” В.А. быстро разочаровался.

В “Русском Патриоте” напечатали “знаменитую” предсмертную статью покойного П.А. Милюкова “Правда большевизма” с восхвалением Сталина и его диктатуры. Милюков писал: “Когда видишь достигнутую цель, лучше понимаешь и значение средств, которые привели к ней”.

Просто страшно и странно вспоминать сейчас эти анекдотически постыдные и политически нелепые факты, когда вся эта акция чекистов по уничтожению эмиграции давно выявилась. Но в 1945 году, когда мы с Олечкой приехали в Париж, советская акция была серьезна. Для советских эмигрантов второй волны они открыли лагерь “Борегар”, куда насильно свозили тех, кого захватывали (хоть на улице). А некоторых и убивали, как лейтенанта Николая (забыл фамилию), которого среди бела дня насильно вытащили из квартиры наших друзей, Л.А. и И.М. Толстых в их отсутствие и увезли не то в “Борегар”, не то в посольство, где и убили.

“Борегаром” ведал советский полковник-чекист Никонов и его помощник, лейтенант-чекист М. Штранге. И все это происходило под властью генерала де Голля, при полном попустительстве, а иногда и при содействии французской полиции. Причем среди эмиграции распускались упорные слухи, “что все равно скоро де Голль выдаст всю эмиграцию Советам”. И в это верили, этого боялись: “А Бог его знает, этого экстравагантного де Голля?!”. Чекисты лезли напролом, поставив своей целью *уничтожение эмиграции*, замаскировав его “патриотизмом для дураков”.

Вот как описывает бывший член советской военной миссии, капитан М. Коряков отправку в “Борегар” советской девушки. На рю де Гренель в советскую военную миссию пришла молоденькая девушка, бывшая советская, и встретила как раз кап. Корякова. Коряков называет ее “Дунькой” и приводит их диалог:

— Ты, поди, тоже пришла выправлять бумажку? — спросил я. — Домой не хочешь?

— А что мне там дома-то делать, — ответила курносенькая, в лохмотьях ходить? Здесь я по крайней мере...

У "Дуньки", попавшей в Европу, глаза разбегаются, она всем удивлена, всему завидует и с ... ненавистью вспоминает свой Лихославль, где жизнь людей проходит в том, чтобы ворочать валуны на пашне, сеять лён, трепать лён... Нет, "Дунька" не хочет покидать Европу".

Однако, чекисты сильнее "Дуньки" и ее насильно сажают в грузовик и везут в "Борегар". "Та Дунька, — пишет Коряков, — которую я видел в миссии, плакала и даже отбивалась кулаками". Но ее все же бросили в грузовик и увезли в "Борегар", чтоб оттуда отправить в СССР на Архипелаг Гулаг. Советские чекисты в Париже были хозяевами положения.

Помню, идем мы с Олечкой по рю де Вожирар к Пор де Версай. Навстречу советский офицер. Русский русского узнает "с каблука". Поравнялись. — "Ну, как живете?" — остановился и протягивает руку. Лицо русейшее, простонародное, но не из приятных. Вижу — майор и слегка навеселе.

— Да ничего, — говорю, — живем!

— Рады, поди, что мы вас освободили? — и осклабился, обнажив зубы, а они у него золотые, обе челюсти. Только золотое какое-то темноватое и зубы кажутся медными, отчего и без того малоприятное лицо его было животнo-страшным.

— Конечно, рады, — отвечаю. А он в ответ:

— Вот постойте, в Москву вернемся, поставим памятник Гитлеру вверх ногами.

— Памятник? — переспросил я.

— Ну да, за то что жидов много перебил, а вверх ногами за то, что не всех.

И заулыбался, показывая золотые челюсти.

— Ну пока!

Он замахал по-приятельски рукой и пошел, слегка покачиваясь.

— Ну, как тебе понравился наш "спаситель"? — спросил я Олечку.

Олечка только пожалала плечом: "Какое-то чудовище...". Эти "чудовища" с золотыми зубами и без оных были в Париже 1945 года и гостями, и хозяевами, и доблестными союзниками.

22 июля 1946 г. "Русские Новости" опубликовали "Указ Верховного Совета СССР о восстановлении в гражданстве СССР подданных быв. Российской Империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на территории Франции". Со стороны советской чеки это был решающий удар, а для эмиграции — решающий момент.

Но что же произошло? Увы, за советскими паспортами пришли все совпatriоты (довольно много): Кривошеины, ген. Голлеевский, адм. Вердеревский и tutti quanti. Кстати, парижский владыка православной церкви митрополит Евлогий не постыдился публично назвать этот "указ" — "истинным чудом Господним". Какое бездонное бесстыдство высшего западного иерарха русского православия! Впрочем, и до революции сей иерарх отличался "экстравагантными" заявлениями, но тогда — черносотенными. Увы, и философ "персонализма" Н.А. Бердяев печатно объявил взятие "советского паспорта" — "патриотическим долгом". Е.Д. Кускова в "Русских Новостях" писала весьма "патриотически": "отказ от борьбы с советской властью — есть путь сближения с родиной". Вот из каких мортир — Евлогий-Бердяев-Кускова — бил по эмиграции А.Е. Богомолов, загоняя эмигрантов на Архипелаг Гулаг.

Из писателей получать паспорт пришел А.М. Ремизов (по своему глубокому цинизму ему было все равно, какой паспорт брать, авось можно на этом чем-нибудь пожить, он завтра и от царя-батюшки взял бы с удовольствием).

Адм. Д.Н. Вердеревский публично поцеловал красный паспорт, чем, впрочем, никого не удивил. Только тогда я узнал кое-что о "давней связи" большевиков с адм. Вердеревским. Оказывается, в момент июльского восстания большевиков Вердеревский, командовавший Балтийским флотом, отказался выполнить распоряжение Временного Правительства о высылке четырех миноносцев, дабы не допустить большевиков в столицу со стороны Кронштадта и выхода судов из Гельсингфорса. Распоряжение помощника морского министра Дударова предписывало: — "не останавливаться перед потоплением некоторых кораблей

подводными лодками". Вердеревский передал эти секретные юзотелеграммы ЦК балтийского флота и они были оглашены его председателем, известным матросом Дыбенко на экстренном заседании судовых команд. Последнее постановило послать миноносец "Орфей" для ареста Дударова за "явное" контрреволюционное действие. Но в июле большевики потерпели в Петербурге крах. Делегации балтийцев и командующий балтийским флотом были арестованы морским министром Лебедевым (эсер). Вердеревский был отрешен от должности и предан временному военно-морскому суду по обвинению в государственной измене. Но по требованию гельсингфоргского балтийского флота адмирал как-то был выпущен на свободу, а в дни "корниловского мятежа" был непредвиденно введен Керенским в правительство и снова стал морским министром. Вскоре Вердеревский произнес во ВЦИК демагогическую речь о "корниловском заговоре" и клялся "честью", что не допустит впредь покушения на матросские организации.

Вот, оказывается, откуда идет нить "любви" и связи парижского масона Вердеревского и большевиков. С 1917 года! А я-то сдуру думал своим упорством сломить этого "досточтимого", дабы получить разрешение на мой доклад о "Ноль и бесконечность".

Однако, в ответ на "указ" масса эмиграции, ее "молчаливое большинство" не тронулась. Масса оказалась как бы в нетях, была дезориентированна, но предпочла все же сидеть дома. Конечно, в этой массе были и коллабо. Те, кто безобидно коллаборировал с немцами, уехал в Германию в глупой надежде "через две недели быть уже в Киеве". Были и мелкие коллабо, жившие во Франции, но никто их по пустякам не преследовал. В основном масса была настроена бесповоротно антисоветски.

Краткая история коллабо в Париже такова. При вступлении гитлеровцев во Францию в своем обозе они привезли для русской эмиграции некоего русского гестаписта, бывшего балетного фигуранта г-на Жеребкова. Сей молодой российский гестапист назначался в Париж для "управления русской колонией", чем он и не преминул заняться, сменив В.А. Маклакова, арестованного и заключенного в парижскую тюрьму Шерш-Миди. Жеребкову гитлеровцы дали и денег на издание газеты "Парижский Вест-

ник" (1942-1944). Редактором ее стал некто П. Н. Богданович при ближайшем участии О. В. Пузино и И. В. Пятницкого. В газету пошли сотрудничать некоторые писатели-эмигранты с именем. Среди них был и Иван Сергеевич Шмелев, автор "Человека из ресторана", "Солнца мертвых", "Путей небесных", "Неупиваемой чаши" и др. Пошел Илья Дмитриевич Сургучев (до революции его "Осенние скрипки" ставились в МХАТе). Пошел небольшой писатель Вл. И. Унковский, которого Ремизов называл "африканский доктор" (Унковский одно время жил в Африке).

Я "Парижского Вестника" не видал и не читал. Единственный раз, в шато Нодэ, Рябцов дал мне какой-то истрепанный номер этого "органа". Я прочел. В нем разливался Сургучев, пища о том, как он едет по Парижу мимо собора Нотр Дам и предается философическим размышлениям: почему это люди выстроили такое великолепное здание "в память какой-то ничем не замечательной еврейки"? Помню мое чувство гадливости: — попал-таки в самую что ни на есть точку для Гитлера и Жеребкова. Кстати, фамилию этого балетного фигуранта русская эмиграция переделала из Жеребкова в Кобылкина.

Среди сочувствовавших Гитлеру была и Н. Берберова. В "Парижском Вестнике" она не печаталась, но своих прогитлеровских симпатий не скрывала, а напротив, выпячивала. Так, она звала уехавших в свободную зону писателей Бунина, Адамовича, Руднева вернуться в Париж под немцев, потому что тут, "наконец, свободно дышится".

Леонид Зуров писал мне: "Помню, это письмо Берберовой Иван Алексеевич прочел вслух за обедом". Бунин на письмо, разумеется, не ответил, а после войны шутливо грозил его опубликовать.

Такой же зазыв к Гитлеру Берберова посылала и Г. Адамовичу ("наконец-то мы прозрели!"). Но и тут, конечно, успеха не имела. После войны о письмах Берберовой Г. Адамович открыто говорил, а потом передал их приятелю. У него они и хранятся вместе с письмом Бунина, где И. А. пишет: "А разве Берберова не была его, Гитлера, поклонницей?".

Прочтирую письмо Гайто Газданова ко мне (в моем архиве — Р. Г.). Из-за его резкости процитирую только отрывки. "Помню, — пишет Газданов, — что мы были как-то в кафе:

семья Вейдле, Фельзен (Н.Б. Фрейденштейн), Берберова, моя жена и я. Это было время германского наступления в Югославию. Берберова была возмущена, — но не немцами, а югославами: "Подумайте, какие мерзавцы сербы! Смеют сопротивляться!". Против нее выступили все, по-разному, конечно... Вейдле и Фельзен более мягко, я — довольно резко. После этого Берберова со свойственной ей простодушной — в некоторых случаях — глупостью, сказала: "Я не понимаю, ну, Фельзен — еврей, естественно, что он так говорит. Но Вейдле и Газданов же не еврей?". В те времена я часто встречался с Михаилом Матвеевичем Тер-Погосяном. Я ему рассказал об этом. — "А что вы хотели, чтобы эта ..... говорила?"

Берберову защищал ее большой личный друг, благожелательнейший Б.К. Зайцев. В письме к Бунину от 14.1.1945 г. ("Н.Ж.", кн. 140) он писал: "...Я.Б. Полонский занимается травлей Нины Берберовой. Эта же нигде у немцев не писала, ни с какими немцами не водилась, на собраниях никаких не выступала и в Союзе сургучевско-жеребковском не состояла. Тем не менее он написал, что она "работала на немецкую пропаганду"! Ты понимаешь, чем это пахнет по теперешним временам?..." Далее Зайцев говорит: — "по горячности характера высказывала иногда "еретические" мнения, ей нравились сила, дисциплина, мужество"... Вот, оказывается, что в Гитлере нравилось Берберовой сила, дисциплина, мужество.

Но когда мы въехали в Париж, "жеребковщина" была уже в прошлом: Гитлер кончил самоубийством, многих из его окружения готовили к виселице, Жеребков ускользнул в Испанию (вероятно, были большие деньги), где, может, и по сей день благоденствует под южным небом Каталонии. На его место из-под ареста вернулся В.А. Маклаков.

Но множеству рядовых коллабо бежать было некуда, и одни сидели в Париже тише воды, ниже травы, другие сразу же бросились в "Союз Совпатриотов" в надежде "загладить свою вину". Там принимали *решительно всех*, зная, что на Лубянке разберутся, кому какую меру наказания дать — вплоть до "вышки".

**В.А. ЛАЗАРЕВСКИЙ**

И все же, несмотря на разобщенность и растерянность русской эмиграции, в ответ на нажим чекиста-посла Богомолова, в феврале 1946 г. в русском Париже совершенно внезапно раздался Русский Свободный Голос. Зачинателем этого сопротивления — надо увековечить его — был смелый, несгибаемый человек, журналист Владимир Александрович Лазаревский.

В 1947 г. во Франции еще действовала, введенная в годы войны, "разрешительная система" периодической печати. Лазаревский обошел ее. Имея французские связи, он выпустил русский антибольшевицкий *непериодический* сборник "Свободный Голос".

В первом номере от февраля 1946 г. в передовой статье "Ити ли в Каноссу?" он писал: — "Нас зовут в Каноссу к советской власти. Эти призывы к примирению с красным фашизмом раздаются не только со стороны вульгарных "перелетов", именуемых ныне "советскими патриотами". К глубокому прискорбию нашему, мы слышим их от недавно еще искренних и непримиримых врагов ново-аракчеевской власти. Приходится думать, что эти проповедники новой эмигрантской тактики никогда и раньше не верили в моральные силы и творческую мощь русского народа. Иначе они не изумлялись бы факту, что 25 лет террористической диктатуры не убили в нем патриотизма и гражданственности.

Люди, плохо знавшие родную историю, могли, загнипнотизированные идеей всеокрушающей силы германского кулака, создать себе иллюзию "неминуемого, в течение немногих недель, разгрома советской России немцами". Эти несильные в истории пессимисты бросаются ныне в другую крайность и с юным советским восторгом зовут всех в "родные" объятия Сталина.

Во время войны проявила себя и другая иллюзия — вера в германских наци как бескорыстных борцов против большевизма, в возможность освобождения ими России. Среди российской эмиграции иллюзии этой поддались, к счастью, очень немногие. Да и глубочайшая пропасть лежит между политической непроницательностью иных наивных людей и тем сознательным предательством, которое совершили, например, в свое время

творцы "похабного" Брест-Литовского мира. Прогерманские освободительные иллюзии не были, кроме того, исключительно плодом отрывности маленьких эмигрантских групп от российской действительности: им поддались вначале и народные массы, изнывавшие под гнетом "пролетарского" государства. Чем иным объяснить первые сокрушительные успехи германского наступления, эти массовые сдачи неприятелю сотысячных армий, это несомненно благожелательное во многих случаях отношение населения к немцам?

... "Немец" дошел до Волги и собственное, советское зло отступило на задний план. Оставалось положиться на наличную власть. Иначе отстоять родину возможности не было. Означало ли это интимное примирение с властью, признание ее своей и национальной, как силятся внушить нам "советские патриоты" и их "демократические" подголоски? Разумеется — нет.

Зовущие к "признанию" большевицкой власти делят всю эмиграцию на две группы — примкнувших к Германии против России и оставшихся с Россией, и тем самым со Сталиным. "Гитлер или Сталин" — третьего не дано. Мы, огромное большинство эмиграции, ни пойти за Гитлером, смертельным врагом нашей родины и нашей культуры, ни ощутить "своей" "советскую власть" не могли. Душою и сердцем, всегда и неразрывно мы были с Россией и русским народом, но "советская власть" *национальной властью для нас не была, ибо национального дела никогда не творила*. Мы не желали и морально не могли принять на себя частицу ответственности за творимое "советской" властью в оккупированных ею областях. Но, стиснув зубы, нам приходилось молчать. Пока лилась на поле брани русская кровь, мы не имели морального права и не хотели чем бы то ни было дискредитировать в глазах союзников фактически российскую "советскую" власть, руководившую обороной страны... Война кончилась. На полях нашей родины давно уже нет врага. Теперь наше право, наш нравственный и патриотический долг — открыто сказать все, что мы думаем, сказать не обинуясь и до конца.

Бесконечно лживо утверждение, будто "советская власть неразрывно связала свою судьбу с судьбой России", не захотев, "ради своего самосохранения предать интересы страны". Правда — обратное. Вопрос для советской власти шел как раз о

самосохранении: во имя его-то она и вознесла себя, столь неожиданно, на патриотический пьедестал...”.

Статью Вл. Лазаревского подписали: С. Мельгунов, А. Карташев, И. Херасков, кн. С. Трубецкой, С. Водов, В. Синяков, В. Безбах, Я. Бычек.

Я плохо знал В.А. Лазаревского. Немудрено: он вращался больше среди правых, я — среди левых. Он основал Российский Национальный Союз. Встречал я его раза два-три, знаю, что был он киевлянин. В молодости сотрудничал у Василия Витальевича Шульгина в “Киевлянине”, сохранив с Шульгиным в эмиграции до конца самые близкие отношения. Был в Добровольческой Армии. В эмиграции в Праге кончил Русский Юридический факультет и стал эмигрантским журналистом.

Чтоб в тогдашнем Париже издавать такой “Свободный Голос”, надо было быть мужественным человеком. Представляю советское негодование на рю де Гренель: эмиграция не сдаётся, оживает, воскресает. Но ничего не поделаешь — “непериодические издания” выходить могли. И Лазаревский в 1946 г. издал 3 номера “Свободного Голоса”.

Почему же Лазаревский эти выпуски прекратил? Давление шло изнутри: С.П. Мельгунов был человек крайне честолюбивый и эгоцентрический. Он и настоял, чтобы Лазаревский передал издание непериодических сборников — ему. И Лазаревский передал. А сам с помощью католических профсоюзов начал издание русской антибольшевицкой газеты “Русская Мысль”, которая (меня своих редакторов) дожила до наших дней. Скончился волевой, несгибаемый антибольшевик Владимир Александрович Лазаревский 25 августа 1953 г.

С.П. Мельгунов под разными названиями выпустил одиннадцать “непериодических” сборников — “Свободное Слово”, “Независимое Слово”, “Свободная Мысль”, “Независимая Мысль”, “Независимый Голос”, “Россия и Эмиграция”, “За Россию”, “За свободу России” и т. п. И наконец, когда в 1947 г. “разрешительная система” для периодической печати во Франции была отменена, Мельгунов стал издавать журнал “Российский Демократ” (№ 1 вышел в 1948 г.).

**СВЯЗЬ С Б.И. НИКОЛАЕВСКИМ**

С Борисом Ивановичем мы переписывались чуть ли не ежедневно. Как только после войны возобновилось почтовое сообщение с Америкой, я послал ему телеграмму, где мы, как и что. И тут же в ответ получил письмо, в котором он выражал свою радость, что мы благополучно пережили войну.

В последних письмах 1945 года Б.И. писал, что скоро приедет в Париж к нам и начнет розыски своего конфискованного гитлеровцами уникального архива. В частности, он писал и о том, что Мельгунов жалуется ему и другим демократам (Вишняку, Далину, Зензинову), что я не вступаю в его группу и не работаю в его сборниках.

В то время в Америке (в Нью-Йорке) была большая русская демократическая колония: меньшевики — Абрамович, Николаевский, Денике, Шварц, Александрова, Аронсон, Двинов и мн. др. (со своим органом "Социалистический Вестник"); эсеры: Чернов, Зензинов, Лебедев, Слоним, Вишняк, Воронович, Керенский (со своим органом "За Свободу"); демократы разных оттенков, группировавшиеся вокруг "Нового Журнала" (М. Карпович, М. Алданов, М. Цетлин, Г. Федотов, Н. Тимашев и др.)

Вообще центр и культурной и политической жизни русской эмиграции после войны переместился в Нью-Йорк. Кроме журналов выходили русские газеты ("Новое Русское Слово", демократическая, редактор М. Вейнбаум), "Россия" (монархическая, редактор Рыбаков), "Знамя России" (монархический журнал Чухнова). Выходили газеты и в американской провинции ("Русская Жизнь", редактор П.П. Балакшин, в Сан Франциско) и др. Так что русская эмиграция в Париже оказалась бедна и людьми и деньгами. И былая "мощь" 20-х годов к ней так никогда и не вернулась. Вот Мельгунов и старался, зная, что с русской Америкой у меня хорошие отношения, перетащить меня к себе.

В своих письмах Б.И. очень толкал меня связаться с Мельгуновым и вступить в его группу. Откровенно говоря, мне идти к Мельгунову что-то не хотелось. Всю "группу" только Мельгунов и представлял. А журнал? Журнал, конечно, был архианти-советичен, архидемократичен, но и очень скучен. Вдруг от Б.И. я получил письмо, что ко мне на днях приедет Мельгунов. Вско-

ре получил я письмо и от Мельгунова, что он хочет поговорить со мной по серьезному делу. Делать нечего, я ответил Мельгунову, что "жду с удовольствием".

Мельгунова я до этого никогда не видал. Знал, конечно, по имени, как историка и, в частности, историка русского масонства, но от его работ никогда в восторг не приходил, ибо они казались мне всегда только неуправляемым "навалом фактов". В "Современных Записках" Мельгунов поместил в свое время весьма лестный отзыв о моем "Дзержинском". (Тему советского террора Мельгунов знал, ибо сам выпустил книгу "Красный террор"). Но вот не тянуло меня в его сборники: и скучно, и литературно плохо. Мельгунов был и плохой публицист и плохой редактор. Причем почти всё для своих сборников он сам и писал: и статьи, и заметки, и получалась какая-то тоскливая и серая мешанина, не идущая ни в какое сравнение с нью-йоркским "Социалистическим Вестником". Там вы могли соглашаться или нет, но публицисты были первоклассные, в особенности Р.А. Абрамович (Рейн). Его бывшие половинчатые "Викжеля" и "нельзя не сознаться, но нельзя и не признаться" теперь как рукой сняло. Передовицы его могли печататься в *любой* антибольшевицкой печати: сильно, ярко, убедительно и *совершенно бескомпромиссно*. Может быть, на это последнее действовало личное горе: его единственного, любимого сына Марка Рейна, поехавшего в Испанию к республиканцам, похитили большевики. В отеле его вызвали к телефону и Марк Рейн "исчез". Вероятно, "закатали в ковер" и увезли в СССР, где и кончили.

Абрамович был подавлен своим горем — трагической судьбой сына и говорил, что знает *наверное*, что это сделано "по личному приказанию тов. Сталина". Это была *личная месть* старому врагу, ненавистному меньшевику Абрамовичу.

Эти операции по похищению и убийству людей большевиками в Испании проводились "чекистскими" батальонами, сформированными и из русских эмигрантов-совпатриотов во главе — наверху — с чекистом Александром Орловым (псевдоним), которого даже К. Хенкин называет в печати "последней сволочью". Этот кровавый мерзавец и убийца после бегства в Америку получил какую-то кафедру и до смерти жил припеваючи. Жаль, конечно, что его не повесили, как Эйхмана. Но

таковы уж для чекистов удобства в Америке.

Помню, встретил я как-то Дона Левина, настоящего антибольшевика, с которым дружил.

— Знаете, как жесток оказался суд в отношении разоблаченного советского тайного агента Марка Зборовского?

— Нет.

— Ему дали кафедру энтомологии в каком-то университете.

— Да что вы, Исаак Доныч!

— Прочтите в сегодняшнем "Таймсе", — и Дон Левин безнадежно махнул рукой.

### С.П. МЕЛЬГУНОВ

П.Б. Струве, хорошо знавший Мельгунова, говорил о его характере: "С Мельгуновым работать, все равно что ежевику собирать: все пальцы исколешь и ничего не соберешь". Поработав с Мельгуновым, могу засвидетельствовать, что это — истинная правда. Но когда Мельгунов приехал к нам, я этой оценки Струве еще не знал. Все было по-хорошему. Олечка приготовила чай и мы начали "серьезный разговор".

Первое впечатление от Мельгунова было приятное. Среднего роста, худой, в легкой бороде и усах, нос с горбинкой, живые глаза. Типичный русский интеллигент, хорошо воспитанный человек. У Олечки по старинке поцеловал руку. Все в порядке.

Как я и предполагал, все дело было в моем сотрудничестве с его группой в "Российском Демократе". Об этом он говорил весьма настойчиво: у него нет литературного редактора, и чтоб я ему в этом помог. В конце концов я не решился ему так, в глаза, отказать. Я сказал только, что очень занят своей литературной работой.

— Но у нас же собрания не каждый день! И собираемся мы в двух шагах от вас, на рю Лекурб. А я думаю, что вы могли бы в этом нужном деле очень помочь.

Одним словом, путь отступления был отрезан. И я в конце концов (против сердца) сказал:

— Ну что ж, давайте попробуем.

— Вот и отлично!

Мельгунов был человеком разговорчивым. Когда кончились

официальные "серьезные" дела, начались разговоры обо всем. Я спросил, откуда он родом, где учился. На все вопросы Мельгунов отвечал охотно, подробно. Кстати, упомянул, что его мать полька — Грушецкая. Рассказывал о жизни в университете и в имении.

Все шло нормально, я слушал с интересом, но вдруг Мельгунов проговорил (уже не помню, в связи с чем): — ...Но вы знаете, я же ведь сумасшедший...

Своего удивления я не показал. Наоборот, засмеявшись сказал, что это у нас "частая гипербола". Но, к моему удивлению, Мельгунов вдруг рассердился и повысил тон:

— Никакая не гипербола! Конечно, я не теряю сознания, как Павел I, но говорю вам, это факт, я — сумасшедший.

Мне стало как-то не по себе, неловко.

— С.П., — сказал я, как бы шутя, хотя уже видел, что эта моя шутливость его начинает раздражать, — у сумасшедших есть же какие-то признаки, а у вас, слава Богу, их нет.

Мельгунов еще более повысил голос, и уже крайне раздраженно: — Если я вам говорю, что я сумасшедший, значит, это так! И признаки у меня определенные есть!

"Господи! — подумал я, — и зачем он мне все это говорит?"

— В России, например, — продолжал рассерженно Мельгунов, — когда я ездил по железной дороге, то обязательно должен был считать белые стаканчики на телеграфных столбах. Эта потребность была сильнее меня, я не мог их не считать. А тут, в Париже, в метро, я должен считать электрические лампы...

Я не знал, что и ответить. А Мельгунов продолжал:

— А еще я не могу перейти реку по мосту, меня тянет броситься через перила. Не выношу никакой высоты, не могу стоять на высоком балконе — тоже тянет броситься вниз.

— Ну, это у многих бывает, — сказал я, чтобы найти какой-нибудь выход из этой не очень приятной темы. И быстро перешел на что-то редакционное из "Российского Демократа". Мельгунов стал отвечать и тема о сумасшествии, слава Богу, отпала. Но я понял, что мой новый знакомый, известный историк С.П. Мельгунов — крайний неврастеник, и это, конечно, не сулило в наших отношениях ничего хорошего. Недаром его злой против-

ник Гр. Алексинский писал: "какой же он историк, он — истерик."

Чай мы пили долго, по русски — с вареньем, с печеньем. Видимо, Мельгунову у нас понравилось, несмотря на тему о сумасшествии, которую он под конец, кажется, забыл.

Просидев долго, мы договорились, когда я должен прийти на собрание группы "Российского Демократа". Мельгунов был доволен, прощаясь, опять поцеловал руку Олечке и стал одеваться. Я подал ему пальто (еще из России, тяжелое, на меху) и сказал, что провожу до станции метро. Мельгунов жил где-то далеко. Договорились мы встречаться с ним каждую субботу. Олечка уговорила его приезжать к завтраку. Он сначала было отказывался, но потом согласился. Так и начались наши ежесубботные завтраки-встречи.

## СОБРАНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ И ЖУРНАЛИСТОВ

Когда 16 марта 1946 года было созвано общее собрание Союза Писателей и Журналистов, для нас, людей пера, это было испытание: за исключением сборников В. Лазаревского вся эмигрантская печать была захвачена совпатриотами, многие из которых состояли членами Союза. Мы же, свободные, были не организованы.

Хорошо помню это собрание. На него пришло больше ста человек, что у нас в Париже редко когда бывало. Открыл собрание давний генеральный секретарь Союза Владимир Феофилович Зеелер (в прошлом — ростовский адвокат). Он и председательствовал.

Лидером совпатриотов (и весьма активным!) на собрании оказался Н. Рошин (по бунинскому прозвищу "капитан"). Этот "капитан" всю эмиграцию терся около Бунина, был, так сказать, "другом дома". Никто и не подозревал, что этот "капитан", "друг" Бунина, сотрудник правой газеты "Возрождение" Рошин — член французской компартии, что теперь и обнаружилось.

Я мало знал "капитана". Но все-таки встречал — белый офицер как белый офицер. И вот теперь, на общем собрании, окруженный совпатриотами, он первым попросил слова. Выступление его (язык у Рошина был неплохо подвешен) ока-

залось несколько неожиданным. "Капитан" начал с того, что эмиграция как таковая кончается, люди "возвращаются на родину", и потому он предлагает собранию Союза принять резолюцию с обращением в ССП в Москве, прося принять нас как *отделение* Союза Советских Писателей. Это, пожалуй, было уже чересчур. Выступление Рощина, за исключением двух-трех хлопков сопатриотов, было встречено гробовым молчанием.

За ним выступил Юрий Павл. Анненков. Зная Юрия Павловича, я немного побаивался: "он может так, но может и иначе". Каково же было мое радостное удивление, когда вся его речь оказалась страстной защитой свободы слова, свободы печати, свободы человека. Анненков сел под бурные аплодисменты.

За ним выступил Гайто Газданов. За этого я не волновался, ибо твердо знал, что Газданов горой за свободу слова, свободу печати, даже с уклоном в "анархизм". И его речь собрание проводило хорошими аплодисментами. За Газдановым — Мельгунов. Тут тоже можно было быть вполне спокойным. Мельгунов говорил очень резко. За Мельгуновым выступал я — не менее резко.

Донельзя отвратительным было выступление редактора "Русских Новостей" А.Ф. Ступницкого. Это был какой-то просоветский лепет, ни для кого не убедительный. Столь же неудачным было и выступление редактора "Советского Патриота" проф. Одица. Вероятно, оба понимали, что большинство не с ними.

А когда мы перешли к голосованию — к выборам Правления, оказалось, что советчики биты: 64 голоса за нас, за свободу слова и 45 — за советчиков. В Правление Союза Писателей и Журналистов выбрали: Б.К. Зайцев (председатель), С.П. Мельгунов (тов. председателя), я (товарищ председателя), Н.В. Вольский (Валентинов), проф. С. Жабa (других не помню). Казначеем и генеральным секретарем Союза переизбрали Вл. Феоф. Зеелера, бессменно бывшего на этом посту с 1920-х годов.

Одним словом, все осталось по-старому, чему я был рад и что тоже было, конечно, ударом по кагебешной политике в отношении эмиграции, как и массовый отказ эмигрантов от получения советских паспортов для возвращения "на Родину".

## ВИКТОР КРАВЧЕНКО

Как-то, дойдя до своего дома на 253 рю Лекурб, я, как обычно, стал подниматься по лестнице на свой пятый этаж. Без лифта — упражнение не из приятных. Кружишь-кружишь — и на каждом повороте украшение — две турецкие уборные. Вообще дрянная у нас была квартира. Одна комната с кухней.

При повороте к нашей квартире на пятом этаже я с удивлением увидел, что у нашей двери стоят два каких-то джентльмена. Что за притча? Кто это может быть? Джентльмены вежливо расступаются, и я открываю дверь. Вижу: Олечка не одна — перед нею сидит какой-то господин. Не успел я раздеться, как Олечка говорит:

— Как хорошо, что ты пришел. А у нас неожиданный гость из Америки... Виктор Андреевич Кравченко.

Я удивился до крайности. Гость поднялся. Мы поздоровались.

— Очень рад, Виктор Андреевич, чем могу служить?

Кравченко чрезвычайно внимательно меня рассматривал. Мы сели.

— А вот чем, Роман Борисович. Я пришел к вам за помощью. И даже за срочной помощью.

— Очень рад... если чем-либо смогу помочь... Скажите, там, в дверях стоят два джентльмена, это, вероятно, ваши телохранители?

— Да.

— Так чего же они стоят за дверьми, давайте попросим их войти.

— Пожалуйста.

Олечка тут же отворила дверь и попросила джентльменов войти. Они поблагодарили, вошли и сели в кухне, рядом с комнатой. — Так вот, — начал Кравченко, — мне нужен в Париже человек, на которого я могу во всем положиться, как на самого себя. Мне нужна здесь большая помощь. И наши общие друзья дали мне ваш адрес и сказали, что вы и есть такой человек.

Я засмеялся: — Не знаю!..

— Прежде всего мне *срочно* (подчеркнул Кравченко) нужен

секретарь. Но секретарь совершенно особый: он должен знать русский и французский на все сто процентов. Он будет моим переводчиком во всех делах, будет и на суде. Он должен быть абсолютно честен, потому что будет иметь дело с деньгами, и я должен им располагать 24 часа, если мне понадобится. Мне этот секретарь нужен сию же минуту, сегодня же. Есть ли у вас такой подходящий человек? Разумеется, его труд я буду хорошо оплачивать.

У меня на уме такого человека не было. Но Олечка тут же сказала: — Конечно, есть! — И, обращаясь ко мне: — Саша Зембулатов, лучше не выдумать. К нему надо сейчас же пойти.

Кравченко был доволен категоричностью Олечки и мы решили так: после обеда мы с Олечкой идем к Зембулатовым, а Кравченко оставляет телефон своего отеля, куда я ему позвоню о результате.

— Если результат положительный, то привозите его тут же ко мне, — попросил Кравченко.

— Хорошо.

На этом мы и расстались.

Зембулатовы были прекрасной русской семьей, жившей русским бойскаутизмом. Я хорошо знал мать Саши, но самого Саши никогда не видел. Его знала Олечка.

Пришли к Зембулатовым. Они все дома. Олечка тут же изложила им дело. Саша пришел в полный восторг: он юрист, кончил Сорбонну, как раз ищет работу, а тут такое архиинтересное предложение.

От них я и позвонил В.А. Он попросил, чтобы я и Саша сегодня же вечером приехали к нему в гостиницу. Забегая вперед, скажу: Саша подошел Кравченко на все сто процентов и стал не только его секретарем на процессе, но и близким человеком на долгие годы. Даже работал с Кравченко в Перу, когда тот занялся разработкой серебряных рудников.

Назавтра Олечка за все это дело получила книгу Кравченко "Я выбрал свободу" (по-французски) с хорошей дружеской надписью и благодарственное письмо.

На процесс я ездил ежедневно. Обычно заезжал к Кравченко в гостиницу, где уже был Саша и с ними вместе ехал в суд. Про-

цесс Кравченко *был в центре внимания всего мира*, и каждое заседание было захватывающим.

Несколько слов об истории Кравченко. В. А., сын железнодорожного рабочего, был видным советским коммунистом. В 1943 г. он приехал в Вашингтон в составе советской закупочной комиссии. На нем лежала обязанность следить за погрузкой пароходов, отправляющихся в СССР. В 1944 г. он порвал с Москвой и "выбрал свободу". Сталин настаивал на выдаче Кравченко. Американцы медлили. В конце концов Рузвельт стал склоняться к выдаче Кравченко. В это время Кравченко скрыла у себя в квартире Е.Л. Хапгуд. У нее, никуда не выходя, Кравченко прожил семь месяцев — до смерти Рузвельта. И тогда американцы решили не выдавать Кравченко. Он "вышел на свободу" и в 1946 г. выпустил книгу "Я выбрал свободу" — о терроре, коллективизации и концлагерях в СССР.

За все существование коммунистического режима, ему ни разу не был нанесен такой удар со стороны эмиграции, какой нанес ему Виктор Кравченко своим процессом против прокоммунистической газеты "Леттр Франсэз". Книг, разоблачающих сущность этого режима, выходило много и до войны, но их взрывчатая сила по сравнению с "Я выбрал свободу" была силой бомбы в сравнении с атомным снарядом.

В Париже, политическом центре Европы, своим процессом Кравченко нанес необычайный удар коммунизму. Он не только вновь привлек внимание всего мира к страшной теме своей книги, но заставил весь мир выслушать о советском режиме показания живых свидетелей, советских граждан, недавно вырвавшихся из-за железного занавеса на свободу.

В борьбе с коммунизмом В.А. Кравченко делал дело мирового масштаба. Его борьба была борьбой Давида с Голиафом, борьбой *свободного человека* с аппаратом всемогущего тоталитарного государства. Конечно, Кравченко знал, как длинны руки МВД и как беспощадна месть Сталина. Поэтому для его выступления нужны были большое мужество, смелость и воля.

Кто присутствовал на заседаниях суда во Дворце Правосудия, тот воочию видел, какое отчаянное сопротивление Кравченко и его свидетелям оказывали коммунисты. Это убедительнее

всего говорило о том, как расценивал Кремль силу этого удара. Из-за океана и через Ламанш на процесс прилетели мелкие и крупные интернациональные "фирлингеры"; на сцену выпущены были всякие "коммунизирующие снобы" и попросту агенты Коминформа. Обойду молчанием показания всех этих "свидетелей", заслуживающих презрения.

Гораздо интереснее были выступления прилетевшей московской знати. Надо признать — и вовсе не для каламбура — что самыми лучшими свидетелями для Кравченко были бесспорно эти, московские. Вероятно, подготовке их МВД посвятило не один десяток заседаний, дрессируя своих "свидетелей". И что же? Все кончилось полным провалом, признанным всей печатью. Впрочем, этот провал вполне естествен. Прилетевшие в Париж рабы-вельможи были бы великолепными "свидетелями" на любом московском процессе, где запытанное обвиняемое, под их показания, признавались бы во всех заказанных им преступлениях. Но свободный суд демократической Франции привел в замешательство сановников сталинского царства.

Вот перед судом — искушенный в сексотских делах коммунист Колыбалов. Он пересказывает заученный в Москве урок об "изменнике Кравченко". В горячей ответной речи Кравченко кричит Колыбалову, что это именно он, сталинец Колыбалов, загонял в концлагеря невинных людей, что Кравченко только случайно вырвался из лап НКВД на свободу. Речь Кравченко опрокидывает показания Колыбалова. Этого не расскажешь, но в зале суда есть такой, передающийся присутствующим как-бы ветер, по которому все безошибочно чувствуют, где правда. В этом поединке симпатии всего зала были на стороне человека, боровшегося против режима полицейского государства. Страстное обвинение Кравченко сталинского режима вызывает единственную реплику Колыбалова: "Я прошу не оскорблять моего горячо любимого вождя!" Эти слова покрыты смехом публики, и блестящей ответной репликой мэтра Изара: "Не мы, французы, виноваты в том, что ваша фраза вызывает здесь смех!"

Тот же московский урок об "изменнике Кравченко" рассказывает суду и Василенко. Но знатного члена Верховного Совета берет в оборот сам мэтр Изар. Он задает свидетелю вопрос за вопросом. Василенко старается увертываться, не отвечать. А



V.-A. KRAVCHENKO

# J'AI CHOISI LA LIBERTÉ!

LA VIE PUBLIQUE  
ET PRIVÉE D'UN  
HAUT-FONCTIONNAIRE  
SOVIÉTIQUE

TRADUIT DE L'AMÉRICAIN PAR  
JEAN DE KERDÉLAND

ÉDITIONS S E L F  
20, PLACE DAUPHINE — PARIS

*Милой Ольге Андреевне  
На добрую память  
от земляка.*

*С благодарностью и уважением.*

*В. Кравченко*

когда мэтр Изар читает ему список расстрелянных НКВД его товарищей по партии, по службе, его начальников и, наконец, наркомов Украины, после каждого имени спрашивая, знал ли этих людей Василенко, вся публика в зале замирает, это самый патетический момент процесса. С посеревшим, растерянным и злобным лицом Василенко мечется у свидетельского барьера. Он отказывается отвечать, не понимая, какую неоценимую услугу этим он оказывает делу Кравченко. Под конец допроса, раздавленный "вызовом мертвых", Василенко неожиданно вскрикивает: "А почему, собственно, вас так беспокоит судьба всех этих господ!?" В свободном суде демократической страны подобная фраза звучит признанием преступления, и губит свидетеля сталинской диктатуры.

Все московские свидетели дезориентированы в атмосфере свободного суда. Последним появляется генерал Руденко. Его появление, вероятно, тщательно подготавливалось. Генерал вышел не оттуда, откуда выходят все свидетели. К удивлению самого председателя суда Дюркгейма, Руденко появился из двери на эстраде, где заседал суд, и не в штатском костюме, что приличествовало бы моменту, а в полной форме, с регалиями и даже в головном уборе с голубым околышем. С теми же стандартно-волевыми интонациями он дает свои показания об "изменнике Кравченко". Но первые же реплики В.А. Кравченко — "Вы лжете, Руденко!" — "Вы холуй режима!" — "Какое право вы имеете говорить от имени народа?!" — сбивают генерала с тона. Он просит председателя суда оградить его "от давления извне". Вероятно, в представлении этого коммуниста Кравченко должен бы был стоять перед ним со связанными за спиной руками. Но здесь свободная Франция и Кравченко со всей присущей ему страстностью атакует Руденко, вскрывая перед судом биографию этого политического "генерала", не окончившего военной школы. Руденко пытается рассказать суду о том, что советское правительство не помышляет о войне и занято только "борьбой с суховеями и превращением пустынь в оазисы". Кравченко кричит: "Вы бы лучше дали народу свободу, а потом уж занялись суховеями и оазисами!" Генерал пробует убедить французов, рассказывая им о чувстве дружбы, которую питает советское правительство к демократической Франции. Отвечая на это,

Кравченко произносит свою самую сильную речь, захватившую всех присутствующих. Указывая на Руденко, как на представителя сталинского режима, Кравченко приводит суду цифры миллионов тонн боеприпасов, сырья, продовольствия, поставленных Сталиным Гитлеру за полтора года "спаянной кровью" дружбы двух диктаторов. "Вы, Руденко, уверяете Францию в дружбе Сталина? Но ведь вы со Сталиным во время войны своими поставками Гитлеру убивали французов! Вы убивали французских женщин, стариков и детей. Вы политические и уголовные преступники! Это Сталин выдал Европу на растерзание фашизму!" По залу проносится одобрение. Зал с Кравченкой, а не со сталинским "генералом". На эти обвинения Руденко молчит, ему нечего ответить. И обратившись к председателю за разрешением уйти через ту же эстраду, под презрительные крики адвокатов и публики, генерал неожиданно покидает зал. "Куда же вы, Руденко?! Будьте смелее! Оставайтесь! Я вызываю вас! У меня есть, что рассказать о вас на этом суде!" — кричит ему Кравченко. Но генерал ушел. Вероятно, сам Кравченко, ведущий процесс с большой силой и смелостью, не предполагал такого быстрого уничтожения своего главного противника.

В 12-м заседании суда сама защита "Лэттр Франсэз" подтвердила поражение всех своих московских свидетелей, отказавшись от вызова остальных, а их было выставлено до двух десятков!

С самого начала процесса всем присутствующим на нем было ясно, что инициатива атаки всецело в руках В.А. Кравченко, мэтра Изара и его помощника мэтра Гейцмана. Но было бы несправедливо преуменьшать громадную роль, сыгранную на процессе новыми советскими эмигрантами. Этот, имеющий первостепенное политическое значение процесс, надо по справедливости назвать процессом новой эмиграции против коммунизма. И если в обстановке французского суда московские коммунисты оказались побеждены его свободой, то новые эмигранты этой свободой воспользовались чрезвычайно удачно. Всякий русский антибольшевик должен низко поклониться этим свидетелям. У многих из них остались в СССР родные и близкие. И все-таки на суде, не скрывая своих имен, они дали убийственные для сталинского режима показания, проявив тем большое гражданское му-

«А вы были здесь» - сказал он. Вас интересует этот вопрос? Это кажется  
вам то последнее слово...

Да, главный вопрос. ~~а вы были здесь?~~ Ну, как  
вы об этом, критически или предостерегающе?

- Нет. Я не критикан, а я только ее слушаю!

«Это оскорбительные слова?»

«Да, оскорбительные!»

«Вам кажется, мне надо вас и вашего отца, ~~и~~ и друзей, что вы  
делаете с вами вместе. А ребята все добро». «Их друзья  
друзьями. Всегда или критически перед собой как вы отца,  
и тогда только вправо, или, вероятно, вероятно, вероятно  
и никто вам не нужен?»

«Почему? Нет и никому ничего не надо!»

«Я понимаю и понимаю от ужаса и что случилось, вероятно и  
это мой отец, он умел, или вы не знаете?» ~~Или вы не знаете?~~  
~~Или вы не знаете?~~

«И почему же вы, и почему же, кто слышит?»

- Но вы мой отец, вы же знаете, вы же знаете, что вы  
и почему же, вы же знаете, вы же знаете, вы же знаете,  
узнаете вас ~~или~~ или?»

«Я подошел к нему, сработавшие друг». И сказал, вероятно,  
что ему не надо, сработавшие ослепшие и не надо ему не надо  
«Или вы не знаете?»

~~Или вы не знаете?~~  
ваши законные. Я узнаю, что вы не знаете, или  
мне не надо. Я узнаю, что вы не знаете, или  
и только это слово «больше» говорит до конца.  
или вы не знаете? ~~или вы не знаете?~~ Или вы не знаете  
даже как не надо. Или вы не знаете. Или вы не знаете.

жество. В одних показаниях чувствовалась страшная измученность (тюремь, пытки, концлагеря, голод под Сталиным и под Гитлером), в других — жажда беспощадной борьбы. Я жалею, что переполненный разнообразными иностранцами зал (от фабричных рабочих до послов иностранных государств), не зная русского языка, не мог почувствовать по-настоящему глубину этого человеческого протеста против тоталитарного рабства. Но и в переводе эти показания дошли до иностранцев, как предупреждение, как сигнал неминуемой борьбы. Из судебного зала эта тревога проникла в печать всего мира и в этом было громадное значение процесса.

Кравченко ко мне привык. Мне доверял и часто разговаривал со мной *просто по-человечески* обо всем. Иногда, глядя на него, я думал: "*Как он выдерживает страшное нервное напряжение этого процесса?*". Помню, после одного заседания суда, усталый, зная, что на следующем заседании выступят какие-то приехавшие из Москвы "свидетели", он сказал мне: "Я слышал, что они привезут мою первую жену, но это пустяки, а вот если они привезут мою мать, я не выдержу, я знаю, что *я не выдержу*".

Кравченко очень любил свою мать и знал, что говорил. Он всегда возил с собой портрет матери. И застрелился в Нью-Йорке перед ее портретом. Но большевики его мать почему-то не привезли. Умерла? Была в тюрьме?

Бывшую жену, полную "русскую красавицу", блондинку, голубоглазую, с высоким валиком волос и необычайно развитым бюстом — привезли. Этот ее русский бюст в парижских газетах имел успех. Его окрестили "poitrine aggressive" ("агрессивные груди"). Думаю, что эта жена была петая дура и ее "показания" ничего, кроме смеха, у публики не вызвали. Тем не менее от нее ни на шаг не отходила маленькая, худенькая, черненькая женщина еврейского типа, явно приставленная чекистка. Она сопровождала ее даже в уборную. Так что, несмотря на все старания Кравченко и Саши, перехватить ее было нельзя и на полслова. Нежных чувств к ней Кравченко давно не испытывал. Он только хотел ей предложить остаться в свободном мире при его поддержке, но это не удалось.

Помню мое одно неожиданное столкновение с Олечкой из-за Кравченко. И ее победу. Кравченко был потомственный пролетарий, сын железнодорожного рабочего, комсомолец, коммунист, "большевик по нутру", ни в Бога ни в черта не верующий, что он не раз подчеркивал. Когда я собирался ехать к нему в день вызова в суд московских свидетелей, вижу, Олечка с чем-то возится, что-то зашивает. И потом протягивает мне ладанку на шнурке, говоря:

— Вот, Рома, передай это Виктору Андреевичу, у него сегодня трудный день.

Я удивился и говорю:

— Олечка, ну что за чепуха! Атеисту, коммунисту, ни во что не верующему Кравченко я буду давать ладанку?! Ты понимаешь эту нелепость? Нет, я не возьму, да он чего доброго засмеется над этой ладанкой. Если не в глаза, так за глаза.

Но Олечка была настойчива:

— Ведь не ты даешь, а я! Какое ж тебе дело? Так и скажи, что я просила тебя ему передать.

Олечка так упорно настаивала, что, как я не отказывался, а в конце концов взял ладанку и сунул ее в карман.

— Только дай слово, что передашь! Честное слово!

— Хорошо. Даю. Для тебя. Честное слово. Но я считаю это диким и нелепым...

— Это все равно, как ты там считаешь...

Когда я приехал к Кравченко, было еще рано. Он нервничал. Я понимал, что мысль о матери не выходила у него из головы, и я не знал, как же мне эту ладанку дать? Стеснялся: попадешь в глупое и смешное положение. Но я обещал Олечке и перед уходом от Кравченко все-таки решился, полез в карман, вынул завернутую в папиросную бумагу ладанку и, запинаясь, нерешительно пробормотал:

— Виктор Андреевич, вот вам жена прислала, просила обязательно передать.

— Что такое? — удивился Кравченко, разворачивая пакетик, и вдруг лицо его прояснилось.

— Пожалуйста, передайте Ольге Андреевне мою большую благодарность. Большое спасибо!

И он пожал мне руку. А на следующий день опять благода-

рил, говоря: — Какая чудная и чуткая у вас Ольга Андреевна! Мне вчера было так одиноко, и эта ладанка пришла как раз вовремя.

Приехав домой, я увидел на столе грандиозный букет красных роз. Пересчитал: 36 штук!

Вот это гонорар! — засмеялся я.

Ну что, кто оказался прав, я или ты?

Ты и только ты! Он благодарил тебя невероятно!

Благодарности и букеты мне не нужны. Но я рада, что поддержала человека в трудную минуту, — сказала Олечка.

Известно, что несмотря на все ухищрения Москвы с вызовом свидетелей, вплоть до архиепископа Кентерберийского, Кравченко выиграл процесс против "Леттр Франсэз" по обвинению в клевете. Это послужило лишней мировой рекламой для и без того шедшей бестселлером чуть ли не в тридцати странах его книги "Я выбрал свободу". Кравченко стал миллионером. Именно это и привело его к преждевременной смерти — к самоубийству.

В феврале 1950 г. мы с Олечкой приехали в Америку. Здесь, в Нью-Йорке у Елизаветы Львовны Хапгуд и у нее же в Питерсхеме, я часто встречался с В.А. Кравченко. Надо сказать, что Елиз. Львовну Кравченко просто "обожал". Во-первых, она была человеком, который спас его жизнь, когда Рузвельт хотел выдать Кравченку Сталину. Во-вторых, Елиз. Львовна очень помогла ему в создании "Я выбрал свободу". Я пишу — *в создании*, потому что Кравченко был не только не писатель, но человек малокультурный. Он мог вывалить весь душевный материал на бумагу, но организовать его и литературно обработать был не в силах.

И тут на помощь пришел Юджин Лайонс, известный американский журналист, русский еврей по происхождению, блестяще владевший и английским и русским. Он взялся за приведение всего материала Кравченко в литературный вид, сразу же по-английски. Когда этот адюв труд (книга под тысячу страниц!) был окончен, Кравченко, человек невероятно недоверчивый, боясь каких-либо неверностей, изменений и пр., просил Елиз. Львовну перевести ему *устно*, фразу за фразой, всю книгу с английского

на русский. Это была труднейшая работа. Со стороны Е.Л. просто подвиг. Но она его совершила. Правда, после этого заболела от нервного переутомления. Помогала Е.Л. Кравченко и во многих других жизненных делах, ибо английским Кравченко почти не владел (с пята на десята).

Дабы быть ближе к Е.Л., Кравченко в Нью-Йорке снял недалеко от нее небольшую трехкомнатную квартиру, где жил под чужим именем (кажется, Питер Мартен). Я у него бывал, видел на письменном столе хорошо обрамленный портрет его матери — тот, перед которым Кравченко застрелился 25 февраля 1966 г.

Кравченко был человек сильной воли. Много пережил. От чего же он сдался, покончил самоубийством? Он был очень русский, и именно свойственные русскому характеру черты довели его до дула пистолета. В его характере была одна подавляющая все русская черта — самохвальная уверенность, что все кругом дураки, а я умный. Любимой темой его разговоров было: "Да разве американцы умеют работать? Да ни черта не умеют! Вот я им покажу, как надо работать!". И в своей самохвальной уверенности Кравченко был непоколебим.

Вместо того, чтобы на свои миллионы начать какое-нибудь нормальное дело, он сразу бросился "делать из миллионов миллиарды", в полной уверенности, что он их сделает и всем американцам "утрет нос".

Посему он бросил Нью-Йорк и уехал в Перу на разработку серебряных руд. С ним уехал и Саша Зембулатов. Не помню, сколько времени Кравченко разрабатывал эти руды, став компаньоном какого-то большого американского предприятия, но миллионы в миллиарды не превратил. А в одно прекрасное утро "акулы американского капитализма", которым В.А. хотел "утереть нос", проглотили его, как мелкую плотву.

Все произошло просто. Правление постановило, что у каждого члена в предприятие должно быть вложено не менее "энной" суммы денег. У Кравченко этой суммы не оказалось, и ему пришлось покинуть предприятие.

Но русское упрямство и тут ничему Кравченко не научило. Он *один* начал эксплуатировать какой-то небольшой заброшенный рудник, причем занял деньги и у Е.Л. Хапгуд, уверив ее, что это дело "изумительно пойдет". И тут потерял остальное.

После этого Кравченко вернулся в Нью-Йорк. Он был в отчаянии. И от потери собственного капитала, и от потери денег Е.Л. Он почти не выходил от Е.Л., рассказывая ей все подробности своего неожиданного прогара, причем в одном из разговоров Е.Л. впервые услышала: "Остается только пулю пустить в лоб". Е.Л. его успокаивала, но чем и как можно было успокоить?

Помню, при мне как-то Кравченко рассказывал, как его "успокаивал" адвокат: — Вы не отчаивайтесь, Виктор, у вас такое большое имя во всем мире и в Америке, что если вы откроете какое-нибудь дело, оно прекрасно пойдет. Например, ресторан!

От такого совета Кравченко приходил в совершенное бешенство: — Виктор Кравченко открывает ресторан! Этого еще недоставало! Я лучше пулю пушу в лоб!

Отсюда пришло и то, что он стал жить ложными политическими иллюзиями. Он ненавидел Сталина, как только можно было ненавидеть. Но Сталина нет и, будучи долголетним партийцем и психологически совершенно "советским человеком", к Хрущеву он уже никакой ненависти не питал.

— Вы не понимаете Хрущева, — говорил он мне, — а я его знаю, я его понимаю. Никита неплохой, вот вы увидите, он повернет к народу, даст свободную и хорошую жизнь.

Никаких возражений Кравченко не хотел и слушать.

После конца Никиты Кравченко помрачнел. Но вскоре стал строить новые иллюзии: Леня Брежнев. Его Кравченко знал, с ним вместе учился, был на "ты". И вот Леня теперь повернет к народу. Когда же в Москве поставили процесс Синявского-Даниэля, надо было видеть, как это подействовало на Кравченку. — Стало быть, ничто не меняется!? — повторял он.

На него, уже нервно разбитого, находившегося все время в крайне напряженном состоянии, этот процесс подействовал потрясающе. Стало быть, он опять ошибся в своем прогнозе "оттепели"?

Кравченко все мерещилась некая иллюзорная перспектива: СССР пойдет направо, а США немного налево, и вот тогда наступит настоящее дружественное сосуществование двух великих сверхдержав. И он, Кравченко, сыграет тут не последнюю роль,

ибо хорошо знает и СССР и США. И именно он подаст эту "идею". Об этом он и писал куда-то (кажется, в Госдепартамент). Но нелепые его иллюзии рассеивались на глазах и Кравченко впадал в черный пессимизм.

Как-то Е.Л. расстроено сказала мне:

— Был Кравченко и спросил меня: — Знаете, сколько у меня денег в банке? Всего навсего?... 250 долларов! И это все!

Чуя недоброе, Е.Л. просила его пожить эти дни у нее. Кравченко согласился, и каждый день разговоры его кончались — "пулю в висок". Е.Л. пыталась его как-то успокоить. Но разве можно было его успокоить!? Пыталась успокоить его и жившая у Е.Л. Варвара Петровна Булгакова (бывшая актриса МХАТа).

В роковой день самоубийства к Е.Л. приехал Питер (муж ее дочери, профессор Питтсбургского университета). И вдруг Кравченко после обеда говорит, что ему надо пойти к себе на квартиру на час-другой по делам. Все бы это было ничего, но когда он стал прощаться с Е.Л., она почувствовала какую-то странность, до того нежно и долго он целовал ее руки и все благодарил. Потом вдруг сказал: "Давайте поцелуемся!" Поцеловались. То же самое произошло и при прощании с В.П. Булгаковой. Е.Л. почувствовала что-то неладное и попросила Питера проводить Кравченко домой и побыть у него час-другой. Тот, конечно, согласился, и они вдвоем вышли из квартиры Хапгуд.

Как только они вошли к Кравченко, Виктор Андреевич попросил Питера пойти купить ему чистилку для трубки — он забыл ее купить. Ничего не подозревая, Питер пошел купить чистилку, а когда вернулся — перед портретом матери Кравченко лежал на полу мертвый с простреленным виском.

В своем завещании Кравченко просил, без всяких церковных обрядов и без гражданской панихиды, сжечь его тело, а урну с пеплом сохранить и когда будет возможность, отвезти в Россию и бросить в волны любимого им Днепра.

Е.Л. Хапгуд в 1974 г. умерла. Урну она закопала в саду в Питерсхеме. Но дети перепродали усадьбу и урна с пеплом так и осталась закопанной где-то в саду.

*(Продолжение следует)*

*Роман Гуль*

\* \*  
\*

Есть в детях тайное сиянье,  
Иль память, скрытая для нас,  
Несовместимая с познанием  
На землю обращенных глаз.

Не помня ведомого детям,  
Лишь в них мы смутно узнаем  
О сущем, но незримом свете,  
Сокрытом временем и сном.

Чтоб жить, мы лечимся забвеньем,  
Чтоб жить, мы тлением больны  
Не называя сновиденьем  
Все, непохожее на сны.

Мы сами в трудные мгновенья  
Познания вещего полны  
И ужасаясь, раздвоеньем  
Своих сердец удивлены.

*Б. Поплавскому*

Возвратившись ночью однажды,  
Без надежд, без денег, без сил,  
"Что душа, — любовь или жажда,  
Или холод?" — так я спросил.

"Чем живу я, кого люблю я,  
За кого по ночам молюсь,  
Тяжкий грех за кого свершу я,  
Иль проснусь и к жизни вернусь?"

Уж сказал я, то было ночью,  
В час, когда живые во сне,  
И картину души воочью  
Я увидел в пустом окне.

Там во тьме серебрилось поле  
Облаков под белой луной,  
Без конца и без края, доколе  
Простирался холод ночной.

Пустота, провал молчаливый,  
Как во мне, как на дне души,  
Где не радостно и не тоскливо  
Просто холодно — и ни души.

*Борис Закович*

# ПУШКИН В ОДЕССКОМ ТЕАТРЕ

Я жил тогда в Одессе пыльной...  
Там долго ясны небеса,  
Там хлопотливо торг обильный  
Свои подъемлет паруса...

*А. Пушкин*

Южная ночь. Тихо спит Одесса, но не новопостроенный роскошный генерал-губернаторский дворец, из которого сегодня, как и почти каждый вечер, доносится грохот музыки, а в ярко освещенных окнах мелькают силуэты танцующих пар.

Генерал-губернатор Новороссии, он же и наместник Бессарабии граф Михаил Семенович Воронцов умел и работать и веселиться. Сын русского посла в Англии, он, как и все его аристократическое сверстники, был воспитан по системе философа Локка, рекомендовавшего спартанский режим для закалки тела, характера и воли у молодых джентльменов, чтобы они в своей дальнейшей жизни не чувствовали усталости от напряженной работы и легко переносили тяготы бессонной ночи, проведенной на балу или на приятельской пирушке.

У графа была, по словам его современника Б.М. Марковича, "вся английская складка, и так же он сквозь зубы говорил, так же был сдержан и безукоризнен во внешних приемах своих, так же горд, холоден и властелен, как любой из сыновей аристократической Британии. Наружность Воронцова поражала своим

---

\* Глава из книги "Косая Мадонна"

истинно-барским изяществом: высокий, сухой, замечательно благородные черты, словно отточенные резцом, взгляд необыкновенно спокойный, тонкие губы с вечно игравшей на них ласково-коварной улыбкой”.

Граф в Бородинском сражении, будучи 30 лет от роду, уже был генералом. Жуковский в своем “Певце во стане русских воинов” обессмертил графа стихами: “Наш твердый Воронцов — хвала!” В конце Отечественной войны граф командовал корпусом. В опасные моменты боя Воронцов с шутками шел под градом пуль в атаку впереди своих солдат. После тяжелого ранения он отправился в одно из своих имений, взяв с собой пятьдесят офицеров и триста солдат, обеспечив им полное содержание и лечение.

— “Муж в сраженьях изувечен... нас за то ласкает двор”, — могла сказать жена Воронцова — графиня Елизавета Ксаверьевна.

Действительно, Воронцов был “обласкан двором”, который оценил и доблесть графа, и жертвы, принесенные им на алтарь отечества: граф был назначен наместником Бессарабии и генерал-губернатором Новороссии. Набрав себе дельных помощников, он прибыл в Одессу и сразу же начал кипучую деятельность по упорядочению этого недавно присоединенного к России края. С чисто английской деловитостью и практичностью Воронцов трудился для блага России, заставляя работать и всех своих подчиненных, для поощрения которых он удвоил оклады, отказавшись для этого от своего генерал-губернаторского жалованья.

По словам В. Гроссмана, Воронцов пользовался репутацией просвещенного администратора и принес много пользы краю: оживил торговлю, судоходство, приукрасил город, благоустроил порт, окраины, бульвары, приспособил лиманы для лечебных целей. Результаты его неутомимой деятельности сказались очень быстро — Одесса расцвела. Порт ее, объявленный порто-франко, привлекал несчетное количество кораблей, соблазненных беспошлинной торговлей. Вся экзотика Африки, Азии появилась на товарных складах Одессы. Заморские вина, фрукты, пряности, редкостные материи прельщали своей дешевизной. Сам Воронцов ежедневно принимал гостей и жил, как не

живал в то время ни один из владетельных немецких фюрстов.

Богатые помещики, прослышав о дешевизне и о вечном празднике, царившем в Одессе, со своими чадами и домочадцами, покинув свои медвежьи углы, потянулись в этот веселый город. Особенно Одесса оживлялась летом.

Сегодня в воронцовском дворце во время ужина разговор, главным образом, шел о завтрашней премьере в одесском оперном театре: итальянская труппа Буанвольо ставила новую оперу "упоительного Россини" "Итальянка в Алжире". Роль красавца Индоро была отдана баловню одесской публики, тенору ди грация Мольнари, а Эльвиру будет петь Анжелика Каталани, знаменитая певица, итальянка, гастролировавшая тогда в России и приглашенная графом Воронцовым в Одессу. Каталани была украшением сегодняшнего бала в воронцовском дворце и приятным сюрпризом для графских гостей. Хозяйка дома, графиня Воронцова, посадила Пушкина визави Анжелики. Поэт был в восторге и, по обыкновению, краска, этот детский и женский признак сильной впечатлительности, вспыхивала на его лице. Пушкин был в ударе: шутил, блистал остроумием, чем приводил в восторг Каталани, которая к тому же знала, кто был Пушкин.

Анжелика по просьбе присутствующих с блеском спела несколько неаполитанских песен. После Каталани выступил хор таборных цыган. Их привез с собой Воронцов после очередного объезда своего генерал-губернаторства. Впереди хора важно шествовал староста, высокий кряжистый старик в широких шароварах. В левом ухе у него была золотая серьга. За ним легкой походкой, с грацией врожденной балерины плыла его шестнадцатилетняя внучка Стеша. С ними было еще несколько музыкантов-цыган.

Низко поклонившись гостям, Стеша запела. Голос ее был то певуче-нежный, то "шуму вод подобный", а пела она о "резвой воле", о вешнем запахе лугов, о ночи, когда "луна сияет с небесной вышины и тихий табор озаряет", и о том, как воеет буря в молдавнской степи. Не зная цыганского, слушатели не понимали слов песни. Каталани была в восхищении: глазами, в которых блестели слезы, она впилась в певунью; ее артистическое чутье помогло ей понять, о чем пела Стеша. Вдруг Анжелика сор-

валась с места и быстро подошла к Стеше, обняла ее и поцеловала, а потом, снявши с себя дорогую шаль, накинула ее на плечи цыганки. Зал загремел от рукоплесканий. Все с восторгом и умилением смотрели на Анжелику и Стешу, на этих двух сестер по искусству. Только одна блистала в аристократических салонах и роскошных концертных и театральных залах всех европейских столиц, а другая была дитя "дикой воли" и пела в "шатрах изодранных", "под звон походной наковальни", под гул снежной бури в степях Бессарабии.

Нет на свете царицы, краше польской девицы.  
Весела — что котенок у печки —  
И как роза румяна, а бела как сметана;  
Очи светятся будто две свечки!

*А. Мицкевич "Три Бюдриса"*  
(перевод Пушкина)

Но не всех забавляла предстоящая премьера: Воронцову, например, она не предвещала ничего хорошего. Дело в том, что граф, щедро наделенный всякими добродетелями и достоинствами, как раз добродетелями семейными не отличался. По городу давно ходили слухи, в которых имя графа связывалось с именем графини Ольги Станиславовны Потоцкой, которая, как часто в жизни случается, была неразлучной приятельницей жены Воронцова. Граф об этих слухах знал. И вот, чтобы придать своему увлечению более удобную для себя форму, а для общественного мнения — более пристойную, граф решил женить "родню и друга своего" — сорокадевятiletнего генерал-майора Льва Александровича Нарышкина на Ольге Потоцкой. Он принялся уговаривать кузена прекратить холостую скучную жизнь и завести в своем унылом доме жену, грациозную, как кошечка, и жизнерадостную, как бабочка. Ольга Станиславовна была обворожительна со своим врожденным польским легкомыслием и кокетством. Если она желала нравиться, то никто лучше ее в этом не успевал: быстрый нежный взгляд ее лукавых глаз пронзал насквозь, а уста в обольстительной улыбке так и напрашивались на поцелуи.

Хлопоты графа увенчались успехом. Несколько месяцев тому назад Лев и Ольга повенчались. Нарышкин служил в гене-

рал-губернаторской канцелярии и Воронцов часто посылал его в служебные командировки по обширной Новороссии. Ольга в отсутствие своего старого мужа не скучала, ну а о графе Воронцове и говорить не приходится.

Но даже и очень осторожные люди могут запутаться в сетях, которые они расставляют для ближних. Несколько дней тому назад Воронцов, совершенно забыв о предстоящей премьере, послал Нарышкина в долгосрочную командировку, чем поставил себя в тяжелое положение: он очутился теперь с глазу на глаз с женой и Ольгой, которая, надеясь на графа, не позаботилась о билете на завтрашний спектакль, считая, что будет приглашена в генерал-губернаторскую ложу. Графу же не хотелось появиться в театре с женой и Ольгой, что могло весьма развеселить одесскую публику. А не пригласить Ольгу, значило быть готовым к грандиозному скандалу с истерикой, слезами и даже обмороком, на которые она была большая мастерица. Но граф все же решил на премьеру ехать только с женой.

В Ольге закипела ее горячая польская кровь и она, пылая жаром мести, обратилась за помощью к Пушкину:

— Прошу вас, достаньте ложу на премьеру, хоть из-под земли, но достаньте! — А затем, понизив голос, добавила с чуть заметной, но обольстительной улыбкой:

— Я теперь одна, мужа нет дома — Воронцов его послал в командировку.

Ложу пришлось доставать не из-под земли, а заплатив барышнику втридорога.

Но уж темнеет вечер синий,  
Пора нам в оперу скорей:  
Там упоительный Россини  
Европы баловень — Орфей.

*А. Пушкин*

Утром в день спектакля Александр Сергеевич послал своего Никиту на извозчицью биржу с тем, чтобы тот заказал у Ивана Березы (постоянного одесского извозчика Пушкина) карету на сегодняшний вечер. Перед спектаклем Александр Сергеевич заехал за Ольгой и отвез ее в театр.

В первом же антракте Ольга Станиславовна решила отправиться с визитом в ложу к графу Александру Федоровичу Лан-

жерону и просила поэта сопровождать ее. Граф Ланжерон был предшественником Воронцова и в прошлом году вышел в отставку. Сделать визит Ланжерону, игнорируя Воронцова, значило обидеть последнего, это было бы замечено многими присутствующими в театре, чего Ольга и хотела.

Пушкин с большой неохотой шел к Ланжерону. Дело в том, что старый граф писал стихи и уже с месяц назад дал Пушкину целую тетрадку на исправление. Поэт этой галиматши не читал, тетрадку куда-то забросил. Граф, увидев Пушкина в своей ложе, накинулся на него с вопросами: — Как понравилась поэма? Кому из героев поэмы поэт более симпатизирует? И чьи взгляды разделяет?

При этом граф назвал два имени. Пушкин наобум выбрал одно из них.

— Хе, хе, хе..., — засмеялся Ланжерон, — я знал, что он тебе понравится: он тоже республиканец. Меня не проведешь! Я тебя насквозь вижу! — самодовольно добавил граф и погрозил Пушкину пальцем.

Александр Сергеевич не ожидал такого неприятного для себя оборота дела. Ведь он уже давно, желая избавиться от ненавистного ему Воронцова и надоевшей "пыльной" Одессы, мечтал получить амнистию и уехать в одну из столиц. Его мечты об амнистии имели реальные основания: недавно Александр I, прочитав "Кавказского пленника", сказал кн. Аграфене Ивановне Трубецкой: "Пора мне помириться с Пушкиным!". Аграфена Ивановна побежала с радостной весточкой к родителям поэта.

"А теперь этот старый болтун Ланжерон, — с горечью подумал поэт, — будет каждому встречному и поперечному твердить, что я — республиканец. Плохой способ мириться с царями и добиваться амнистии."

Выйдя из ложи Ланжерона, Пушкин в фойе встретился с княгиней Верой Федоровной Вяземской, приехавшей недавно из Москвы с больным сыном на одесский лиман. В связи с ее приходом Пушкин писал своему другу, князю Петру Андреевичу Вяземскому: "Жена твоя приехала сегодня, привезла мне твои письма и мадригал Василия Львовича, в котором он мне говорит: "...ты будешь жить с княгинею прелестной". Не верь ему, душа моя, и не ревнуй!".

Интересно, сдержал ли слово Пушкин? Кто был ближе к правде — дядя ли Василий Львович со своим неуклюжим мадригалом, или племянник со своими заверениями, данными мужу "княгини прелестной"? По крайней мере, приятель Пушкина Нащокин говорил, что "княгиня Вяземская, живя летом в Одессе, увлеклась Пушкиным. Кратковременное увлечение это впоследствии сменилось чувством искренней дружбы".

Во время второго действия произошел маленький инцидент. В ложе, рядом с пушкинской, сидела шумная кампания одесской золотой молодежи. Вели они себя развязно, а главное, демонстративно выступали против Каталани, поощряя громогласным "фора" и оглушительным хлопаньем какую-то второстепенную актрису и приглашая взглядами Пушкина присоединиться к их аплодисментам. Но тот не поддавался. Тогда один из хлопавших, указывая на Пушкина, сказал другому: "А наш сосед или глух, или ничего в пении не понимает". Пушкин не выдержал: "Я тебя отшлепал бы по щекам, но не хочу, чтобы певица подумала, что я ей аплодирую!".

Во время второго антракта Александр Сергеевич отправился с визитом к Каролине Адамовне Собаньской (Эльвире, как он ее называл в письмах), с которой познакомился 2 февраля 1821 года в Киеве, когда ездил на февральскую Контракттовую ярмарку из Каменки. Поэт сразу же воспылал к Эльвире любовной страстью.

Собаньская (урожденная графиня Ржевусская) была старше Пушкина на пять лет. Это ли обстоятельство, или материальная необеспеченность поэта, или недостаток у Эльвиры расположение к нему, но что-то препятствовало ей серьезно отозваться на горячие признания поэта, обвинявшего бессердечную Эльвиру в "лукавстве и иронии", с которыми она относится к его глубокому чувству. Тут же в ложе поэт еще раз с укоризной обратился к Эльвире:

— Искренние слова в вашем присутствии превращаются в пустые шутки. Вы — демон, т.е. тот, кто сомневается и отрицает, как говорится в Писании. Вы смеетесь над моим нетерпением, вам как-будто доставляет удовольствие обманывать мои ожидания... пусть так. Между тем, я могу думать только о вас.

Видеть и слышать вас составляет для меня счастье. Вам я обязан тем, что познал все, что есть самого судорожного и мучительного в любовном опьянении и все, что есть в нем самого ошеломляющего...

Лукавая полячка шутками и смехом отделялась от серьезных предложений поэта, мечтавшего связать ее судьбу со своею. Пройдут годы, а Пушкин все еще будет вспоминать Собаньскую. Как раз 2 февраля, но уже 1830 года, он напишет решительное письмо своей Эльвире:

“Сегодня 9-я годовщина дня, когда я Вас увидел в первый раз. Этот день был решающим в моей жизни. Чем более я об этом думаю, тем более убеждаюсь, что мое существование неразрывно связано с Вашим; я рожден, чтобы любить Вас и следовать за Вами — всякая другая забота с моей стороны — заблуждение или безрассудство; вдали от Вас меня лишь грызет мысль о счастье, которым я не умел насытиться. Рано или поздно мне придется все бросить и пасть к Вашим ногам. Среди моих мрачных сожалений меня прельщает и оживляет одна лишь мысль о том, что когда-нибудь у меня будет клочок земли в Крыму. Там смогу я совершать паломничество, бродить вокруг Вашего дома, встречать Вас, мельком Вас видеть...”

Пушкин на это письмо не получил ответа.

...Ложа, где, красой блистая,  
Негоциантка молодая.  
Самолюбива и томна,  
Толпой рабов окружена.  
Она и внемлет и не внемлет  
И каватине и мольбам,  
И шутке с лестью пополам...

*А. Пушкин*

Тут же в бенуаре была ложа Амалии Ризнич. Разные слухи ходили об этой “негоциантке молодой”. Одни уверяли, что Ризнич была родом из Генуи или Флоренции. Другие говорили, что она дочь венского банкира Риппа — полунемка-полуйтальянка с примесью еврейской крови. Но все соглашались, что она была необыкновенно красива. Амалия была молода, высока ростом, стройна. Особенно привлекательны были ее пламенные

очи, шея и плечи удивительной формы и белизны, и черная коса — более двух аршин длинной. Она ходила в мужской шляпе и носила наряд полуамазонки. Этот наряд, как и другие обстоятельства, были причиной, что она не была принята в высшем кругу одесского общества, хотя молодежь, принятая там, посещала дом Амалии.

Сам Ризнич был прекрасно воспитан и образован: учился в Падуанском и Берлинском университетах. В Одессе он скупал зерно для Италии. В его доме толпился разный народ: купцы, капитаны кораблей, всякие маклеры и агенты, а также и солидные помещики, желавшие продать хлеб по хорошей цене. Но обезоруженные ангельской улыбкой и нежным взглядом пламенных очей Амалии, они быстро мирились с той ценой, какую им называл Ризнич.

Постоянными гостями дома прелестной Амалии были: Пушкин, одесский поэт В. Туманский и немолодой, но богатый помещик князь Яблонский. На стороне Пушкина были молодость и пыл страсти, на стороне князя-помещика — золото.

Ризнич пристально следил за своей женой. К ней был приставлен верный его слуга Филипп, который знал каждый шаг Амалии и обо всем доносил Ризничу. Шептал он ему и о том, как страстно привязан Пушкин к Амалии Ризнич.

...вот кого любил я пламенной душой,  
С таким тяжелым напряженьем,  
С такою нежною, томительной тоской,  
С таким безумством и мученьем!

По выражению Ризнича, Пушкин "увивался около Амалии, как котенок, а она была к нему равнодушна". Не ошибался ли Ризнич?

Или Филипп многого не замечал, или не обо всем докладывал своему господину — это видно из слов Пушкина, обращенных к Амалии:

Но я любим... Наедине со мною  
Ты так нежна! Лобзания твои  
Так пламенны! Слова твоей любви  
Так искренно полны твоей душою!

В Одессе, как и в Вене, Амалия Ризнич вела жизнь на широкую ногу: вечные танцы и карты до утра. Этот ненормальный образ жизни вредно повлиял на ее здоровье и у нее обнаружили признаки чахотки. Она должна была отправиться из суровой России в солнечную Италию. Пушкин горестно переживал расставание с Амалией:

Для берегов отчизны дальней  
Ты покидала край чужой;  
В час незабвенный, в час печальный  
Я долго плакал над тобой.  
Мои хладующие руки  
Тебя старались удержать;  
Томленье страшное разлуки  
Мой стон молил не прерывать.

За корабельной суматохой, за горем расставания поэт не заметил, что вместе с Амалией во Флоренцию следовал и князь Яблонский.

После отъезда г-жи Ризнич Пушкин, томясь, замышлял, кажется, погнаться за нею. Даже сговаривался со своим приятелем — корсаром Морали, шхуна которого находилась в одесском порту. "Взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь... Были бы деньги, но где же мне их взять?"

Часто в своей жизни Пушкин будет повторять эту фразу: "Но где же мне их взять?".

Вскоре Ризнич в Одессе получил от Филиппа известие, что кн. Яблонский, наконец, "добился доверия" от Амалии. Об этом письме Филиппа Пушкин знать не мог, и потому образ Амалии остался в его памяти незапятнанным. Впоследствии он узнал, что Амалия Ризнич скончалась во Флоренции в 1825 году, оставленная всеми, имея от роду 22 года.

Но там, увы, где неба своды  
Сияют в блеске голубом,  
Где тень олив легла на воды,  
Заснула ты последним сном.

Твоя краса, твои страдания  
Исчезли в урне гробовой —  
А с ними поцелуй свиданья...  
Но жду его; он за тобой.

\* \*  
\*

Финал гремит; пустеет зала;  
Шумя торопится разъезд;  
Толпа на площадь побежала  
При свете фонарей и звезд.

*А. Пушкин*

Как только Ольга Станиславовна и Александр Сергеевич вышли из театра, к ним подкатила карета, на козлах которой восседал Иван Береза. Пушкин приказал ему ехать к дому Нарышкиных. Когда карета остановилась, благодарная Ольга пригласила своего верного чичероне на ужин. Береза остался у подъезда ждать барина. Но ужин в нарышкинском доме сегодня продолжался долго!

*М. Дубинин*

## ЖАР — ПТИЦА

*Ренэ Герра*

Красным золотом стали светиться  
В сентябре голубые сады,  
И повадилась ночью Жар-Птица  
Обрывать золотые плоды.

И как только хозяин задремлет  
Совершается сон наяву:  
Словно пламя слетает на землю,  
Опаляя цветы и траву.

И от жара плоды в изобилии  
Наливаются в чаше густой,  
И от взмаха заоблачных крыльев  
Погасает звезда за звездой.

До утра слышен клекот и шорох,  
Опадают со стуком плоды,  
А листва в прихотливых узорах  
Повторяет рисунок звезды.

Поутру, на дорожках, за дверью  
Увидал бы внимательный взгляд  
Что горячие красные перья  
Между сорванных яблок лежат.

*Тамара Величковская*

## ИБЕРИЯ

*Синтра.* В кафетерии музея Гулбенкяна Антонио и Филумена, студенты, отвергшие марксизм, но все еще возмущенные социальной несправедливостью мира, посоветовали мне съездить в Синтру — час езды поездом от Лиссабона. "Это самое эзотерическое место в Португалии", — сказал Антонио. Помимо борьбы за социальную справедливость, Антонио увлекается астрологией. "Португальцы — мечтатели, — говорит Филумена. — Быть может, потому, что Португалия находится под знаком Рыбы. Мы первыми совершали кругосветные путешествия. Мы немного увлеклись коммунизмом. Но теперь это все позади".

Поезд тяжело тащится в гору. По обеим сторонам полотна — пустыри, заросшие маками, лютиками, дикими геранью и сальвией. Унылые массивы обшарпанных многоэтажных домов со стеклянными балконами, как в каком-нибудь городе Гори. Огороды и свалки.

Вокзал Синтры построен до войны 1914 года. Кирпичные башенки, деревянные колонны, крашенные дешевой голубой масляной краской. Холодно. Над городком клочьями ползает туман. Все магазины закрыты — сиеста.

Здесь, в Синтре, Байрон писал "Дон Жуана". В "Чайльд-Гарольде" он назвал Синтру "Славным Эдемом". И с тех пор англичане, отправляющиеся в европейский Гранд Тур — эти университеты богатых молодых людей XVIII — XIX веков — сделали Синтру "must" своего маршрута. Англичане называли Португалию "нашим старейшим союзником и одним из самых цивилизованных мест на земле". Дж. Мичинер вспоминает, как англичане его просили: "Ради Бога, не рассказывайте никому, особенно богатым американцам, как здесь хорошо".

В Синтре, где всегда прохладно, с XIV века спасались от жары португальские короли, сделав ее своей летней резиденцией.

Их дворец на холме, над глубоким оврагом, с двумя гигантскими коническими трубами каминов, издали похож на теплостанцию или цементный завод. На маленькой площади перед дворцом теснятся автобусы дешевых туров "get away". Дворец буквально осажден тем самым туристским плебсом, пришествия которого со страхом ждал Конст. Леонтьев, когда он писал: "Не ужасно ли и не обидно ли думать, что Моисей всходил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи, римляне вели свои Пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арабеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только, чтобы французский, немецкий или русский буржуа в безобразной и комической своей одежде благодушеествовал бы индивидуально и коллективно на развалинах всего этого прошлого величия".

Но если пройти по улице, на которой со времен Байрона не построили ни одного нового дома, миновать церковь Сан Педро с глазурью-ажулежос XVII века (библейские сцены) и идти по шоссе, огибающему лысые, кое-где поросшие платанами и пальмами скалы, то тебя охватывает чувство покоя, сравнимое только с тем, которое испытываешь на дорогах Афона. Здесь в воздухе разлита примиренность с судьбой и миром, аристократически, правда, отгороженная высокими, зацветшими мелкими выродившимися маргаритками и мхом каменными заборами.

Скрипит ржавая калитка. На дорогу выходит старая женщина в стоптанных шлепанцах, в застиранном платье — проверить, нет ли почты. Сейчас она отнесет письмо своей, тоже старой, хозяйке — какой-нибудь герцогине или экс-королеве, живущей за ржавыми воротами в увитом плющом доме, спрятавшемся в густой листве платанов, орехов, эвкалиптов. Вот к воротам другой виллы подъехал микроавтобус с покупками. Из него выскочила девочка в скромном клетчатом платье и белых чулках — открыть ворота. Кто знает, быть может эта маленькая "светлость" или "высочество" родилась и провела всю свою короткую жизнь здесь, в Синтре, с ее несмолкаемым шумом эвкалиптов и сосен, на этом уединенном аристократическом Афоне. И о внешнем мире ей известно только из рассказов бабушки,

сидящей в своем кресле с высокой спинкой вон за тем окном, под портретом пращура кисти Лампи.

Синтра так же стара, как сама Португалия. Серый, в грязных потеках комодистый летний дворец начал строить король Альфонсо Энрике на развалинах взятой им в 1147 г. мавританской крепости. И отсюда, помолившись в розовой, с орнаментом из летящих птиц, часовне, в 1910 г. в английское изгнание уехал король Мануэль II. Стены дворцовых зал облицованы вездесущими ажулежос. Особенно к месту они в мавританском зале с маленьким каменным фонтаном посередине. Из широко распахнутых окон пустого зала видны реющие в голубом мареве развалины арабской крепости на соседней горе. Время останавливается. Со всех сторон тебя обволакивает прохладный пепельно-голубой воздух и ты уходишь от этого мира в высокую, лазурно-молочную вечность неба Синтры, где уже не слышно ни неумолчного шума эвкалиптов, ни разноязыкого говора.

Потолок Сорочьей залы расписан сороками — по числу фрейлин португальской королевы XIV века Филиппы Ланкастер. В этой зале королева застала своего мужа, Жоао I, в объятиях фрейлины. Королева его простила, но ее дамы не переставали сплетничать, и король велел расписать потолок залы сороками — этой болливой птицей.

В молодости король Жоао I был пригож собой, одевался всегда в белое, оттененное красным, с неизменным зеленым крестом св. Георгия у сердца. Он любил свою королеву, англичанку Филиппу, внучку короля Эдуарда III, родившую ему пятерых сыновей. Один из них, Генрих Мореплаватель, стал известен всему миру.

Но ничто не вечно. В этой зале пожилой уже король целовал не Филиппу Ланкастер, принцессу своей юности, а фрейлину Инес Перес, от которой пошел дом герцогов Браганца, ставших впоследствии португальскими королями и императорами Бразилии.

Еще зал. Его плафон расписан лебедями. Стены в сероголубых ажулежос пирамидального рисунка. Окна зала выходят во внутренний дворик — висячий сад, где среди стриженных кустарников расставлены огромные кадки с фиговыми и апельсиновыми деревьями. Из пасти косматого чудища с тихим плес-

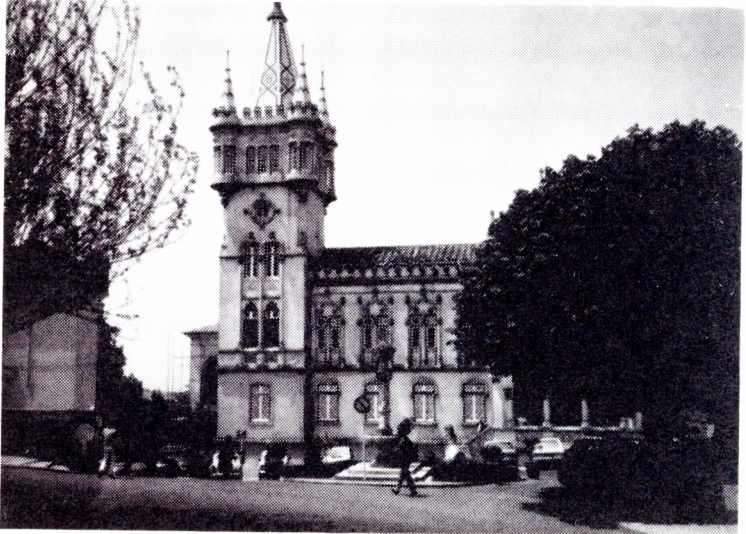
ком падает в маленький бассейн вода. На стене залы — портрет бледного молодого человека, голубоглазого, длиннолицего блондина в черном колете. Это — король Себастьян, вступивший на престол 3-х лет от роду и пропавший без вести в Марокко.

Воспитывавшие короля иезуиты внушили ему, что он избран Богом, чтобы возглавить крестовый поход в Африку и освободить ее от владычества ислама. Дом Себастьян был от природы неуравновешен, подвержен эпилептическим припадкам, частым приступам нервного возбуждения. Он любил лошадей, отказывался жениться, спал на голой земле и все свое время посвящал военным упражнениям. Его характер, как писал в 1569 г. Екатерине Медичи ее посол, "во многом схож с характером покойного принца Испанского (его кузена Дона Карлоса) — он переменчив, страдает головными болями, странен в поведении и невероятно упрям".

В декабре 1576 г. Себастьян встретился в монастыре Гваделупа в Испании со своим дядей, приложившим все возможные усилия, чтобы отговорить экзальтированного племянника от африканской экспедиции. Но Себастьян остался глух к увещаниям, и 25 июня 1578 г. отплыл в Марокко во главе пестрой армии из португальцев, немцев и итальянцев. 4 августа 1578 г. он пропал без вести после трагически кончившейся для новых крестоносцев битвы при Алькасар эль Кебир. То ли был изрублен в гущу сечи в куски, то ли утонул. Во всяком случае, тело его так и не нашли.

Весть об исчезновении короля Себастьяна достигла Лиссабона 17 августа, а через одиннадцать дней его двоюродный дед, кардинал Энрике, был провозглашен королем. Но португальцы долго не хотели верить в смерть Себастьяна. Он остался в их памяти не больным, неуравновешенным юношей, но королем-рыцарем, донкихотом, который в один прекрасный день явится и освободит их от длившегося шестьдесят лет испанского владычества.

В 1592 г. в кастильском городке Мадригал де Лас Алтас Торрес появился король Себастьян — он же кондитер Габриель де Эспиноза — увлекший донью Анну Австрийскую, монахиню местного монастыря, племянницу Филиппа II, незаконную дочь



*Синтра*



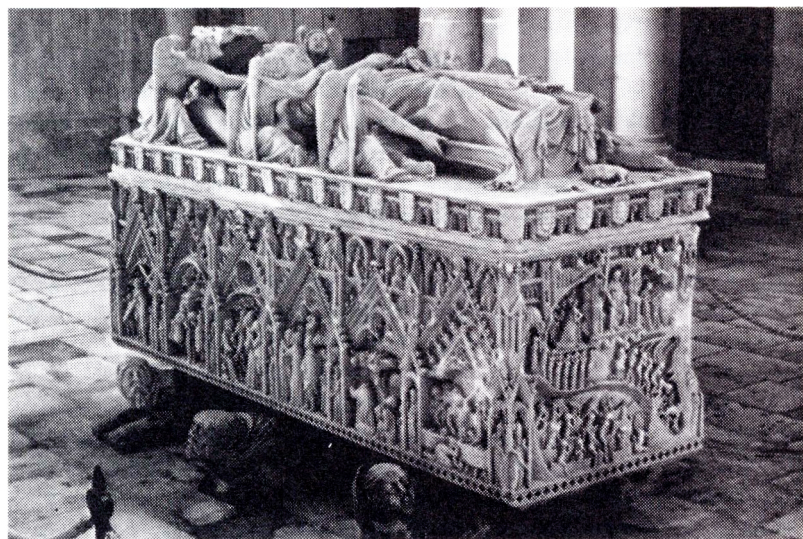
*Алькобаса*



*Алькобаса.*



*Капители клойстера*



*Надгробие Инес де Кастро*

Хуана Австрийского. В 1594 г. он был повешен. История несчастной любви и надежд Габриеля-Себастьяна и доньи Анны заслуживает отдельной главы — или романа. Ее хорошо и подробно описал Дж. Миченер в своей "Иберии". Никто точно так и не знает, кем был кондитер Габриель. Возможно, он был единокровным, незаконным братом безумного короля Себастьяна.

Кто-то из писателей назвал Синтру сказочным уголком, где до своего пробуждения спала Спящая Красавица...

Над *Estados Cabalieros* — железный флюгер: скачущие во весь опор рыцари. Фонарь соседнего дома — рыцарский шлем. Позади, внизу направо остался королевский дворец с его коническими трубами-воронками, пусادا лорда Байрона, вилла марокканского короля. Налево, высоко над белыми скалами, плывут в дымке стены арабской крепости. За ними — дальше и выше — сверкают псевдоренессансные купола похожего на декорации к вагнеровским операм дворца Пена — причудливый каприз кобургского принца, мужа королевы Марии II.

Дорога усыпана сосновыми иглами, по обочинам заросла ожиной, отцветшими ирисами, вечнозеленым кустарником с жесткой глянцевитой листвой. Над торжественными порталами квинт — резные каменные гербы, зеленеющие мхом. Стены увиты дикой виноградной лозой, вьющимися розами. Сырой туман разошелся. Бегут гонимые ветром облака. Солнечные пятна высветляют то один, то другой кусок раскинувшегося внизу холмистого мира — каминны летнего дворца, улицу, которую видел Байрон, дом Семи Вздохов, бесчисленные квинты — здешние аристократические скиты. Неумолчно шумят сосны и эвкалипты, под ногами шуршат иголки и опавшие листья. Мне кажется, что я слышу вздохи всех людей, когда-то здесь живших, потому что Синтра, и правда, таинственное место, которое никогда никого от себя не отпускает.

*Алькобаса.* Автобусная станция, пропахшая мазутом и бензином. На домкратах машины без колес. Ветер несет по невыразительным, современной застройки улицам, песчаную пыль. Выставленная для продажи керамика. Американские видеоплееры в кафе. Бьющиеся на ветру голубые скатерти с белыми петухами. Русские иконы в лавке старьевщика. Скучающая толпа таксистов

на площади. Вездесущая сиеста.

И трудно себе представить, что тут, рядом, за барочным фасадом бывшего цистерианского монастыря Санта Мария нашли свое последнее упокоение два великих любовника — Инес де Кастро и король дом Педро.

Помню, в детстве, в Москве, я листал старую "Ниву" и мое воображение поразила скверно выполненная гравюра — патетическая сцена убийства Инес де Кастро. Мог ли я мечтать тогда, в занесенном сугробами Харитоньевском переулке, что когда-нибудь буду стоять у могилы Инес де Кастро здесь, в Алькобасе, в самом сердце Португалии.

Любовь Инес и Педро была воспета многими поэтами. Их историю рассказывает в своей "Луизиаде" Комознс.

Наследник престола Педро влюбился в фрейлину своей жены — галисийку Инес. Опасаясь возраставшего влияния прекрасной галисийки и ее братьев, отец Педро, король Альфонсо IV, санкционировал ее убийство. Через два года Педро вступил на престол. Он объявил, что был тайно обвенчан с Инес. Он велел вырыть ее останки и посадить их на трон. Португальские дворяне должны были целовать руку разлагающемуся трупу. Затем гроб с телом Инес де Кастро несли, сквозь строй людей с горящими факелами, на руках, целых шестьдесят миль от Коимбры до Алькобасы.

Саркофаги Инес и Педро стоят друг против друга в трансепте романского, в нижней своей половине, собора. Так что, когда в День Страшного Суда Инес де Кастро и король Педро восстанут из мертвых, первыми они увидят друг друга.

В скрещенных мраморных руках Инес — свежие лилии. Ангелы, по трое с каждой стороны, поддерживают тела Инес и Педро. У бедной Инес наполеоновские солдаты-вандалы отбили в 1810 г. нос. Они отбили и крылья у ангелов короля Педро. Саркофаг Педро несут на своих спинах шестеро львов. Мягкие туфли длинноволосого, с эпическим выражением лица короля упираются в туловище пса — символ верности. Пес сложил лапы и задрал кверху тупой нос, блаженно, но бдительно.

На барельефе саркофага Инес де Кастро Верховный Судия отделяет грешников от праведников. Голые грешники немедленно исчезают в пузатом чреве дракона — из его разинутой пасти

вырываются картинные языки пламени. На саркофаге короля Педро — Колесо Фортуны со сценами из земной жизни Педро и Инес. И их последнее "прощай" — "Пока существует эта Земля!"

В ренессансном фонтане-лавабо клойстера короля Дениса плавают черные декоративные рыбки. Любовь португальцев к фонтанам — отголосок мавританского наследия. Капители колонн клойстера населены мифическими существами. Капители иберийских монастырей — подлинная сокровищница звериного стиля средневековья. Какое это увлекательное занятие — переходить от колонны к колонне, разгадывая полустершиеся каменные рельефы! Тебя всегда подстерегает что-нибудь неожиданное.

В Алькобасе особенно хороши грифо-змеи и лошади с крокодильими хвостами, когтистые, в чешуйчатых панцырях, с наивными глазами деревенских коняг. Здесь, в Европе, смотря на памятники романской архитектуры, я всегда вспоминаю соборы Владимира, Спас на Нерли, Чернигов, киевскую Софию, Джвари и Светицховели в Мцхете, Георгиевский собор Юрьева Польского. И это не только внешнее сходство, но и духовное сродство, засвидетельствованное в камне. Подозреваю, что не монгольское нашествие следует винить в изменении архитектурного стиля на Руси, а какие-то более глубокие — *духовные* — процессы. Ведь в Европе XIII-XIV веков не было монголов — но пришла готика. Вероятно, к тому времени *что-то кончилось* в христианском средневековом сознании. *Что-то универсальное и глубокое, связанное с землей и духом. И на смену стало приходить поверхностное.* Почему так случилось — эту задачу разрешать не мне, а философам культуры и историкам.

В соборе Алькобасы, в соответствии с аскетической доктриной цистерцианца Бернарда Клервосского, почти нет витражей. Как писал Виолле ле Дюк, "неистовый Бернард опасался возвращения языческих искусств, он предвидел, что форма возьмет верх над догматом, философия над верой". И форма взяла верх, хотя бы в терракотовой скульптурной группе за хорами, изображающей смерть св. Бернарда. Скульптуры сильно повреждены наполеоновскими солдатами. Св. Бернард почивает в блаженном уснии, а четыре ангела играют ему на музыкальных инструментах. На облаках, над ними, Дева Мария в окружении

пухлых и печальных личиков херувимов. Это создание раннего барокко лишено всякой духовности, здесь не видишь ничего, кроме раскрашенных кукол, прикидывающихся серьезными.

Эта формалистическая бездуховность особенно разительна на фоне исполненной спиритуализма, строгой, прозрачно-ясной романской архитектуры собора, чей просторный центральный неф и узкие боковые крылья, разделенные лаконичными, стройными колоннами, сообщают всему интерьеру ощущение необычайной, головокружительной, уходящей в небо высоты.

И уж совсем безжизненно выглядят терракотовые скульптуры португальских королей, выполненные местными монахи-скульпторами. Они населяют пыльный и холодный зал, стоя на высоко укрепленных на стенах подставках-пьедесталах, а внизу, выложенная голубыми ажулежос, разворачивается летопись их деяний. И тут я признался себе в том, что мне приелся синюшный или бледножелтый цвет барочных ажулежос, что если они не чисто декоративный элемент с фольклорными мотивами, то вызывают, в конце концов, только одну реакцию — скуку.

Цистерианский орден был упразднен в Португалии, наряду с другими монашескими орденами, в 1834 г. В прежние времена он много сделал для просвещения и экономического процветания страны. Так, в Алькобасе была открыта в 1269 г. первая в стране светская школа, где учили теологии, грамматике, логике. Монастырская библиотека, старейшая в Португалии, была основана в 1290 г. Ее в 1810 г. сожгли чада "великой" французской революции — наполеоновские солдаты. Каждый день монастырь раздавал беднякам 25 бушелей хлеба. Его больница лечила бесплатно. Стали ли счастливее местная округа, Португалия, другие европейские страны после того, как просвещенные либералы позакрывали монастыри? Не думаю.

Теперь в монастыре Алькобасы нет школы, нет библиотеки. Там не лечат бесплатно, и не раздают хлеб. За барочным фасадом, за взирающими на городок скульптурными добродетелями Силы, Справедливости, Мудрости, Умеренности теперь сидят одни только маленькие, раздраженные, небритые смотрители, состоящие в социалистическом профсоюзе. Они дрожат от холода и нетерпеливо смотрят на часы, потому что монастырские печи перестали топить 150 лет тому назад.

*Саламанка.* Я расплатился с небритым португальским шофером и, пройдя по ничьей земле с одной полосы мокрого асфальта на другую, пришел в Испанию.

Городок Фуэнтес де Оньоро цепенел в неизбежной сиесте. На маленьком железнодорожном тупиковом вокзале, уныло по-свистывая, маневрировал на ржавых путях допотопный паровоз. Молодые тополя мокли под мелким нудным дождем. У ресторанной стойки пили пиво несколько рабочих с низко надвинутыми на лоб кепками. Единственный поезд в Саламанку отправлялся вечером.

Я вернулся на главную площадь. В магазине сувениров ко мне подошла толстая одышливая сука, лизнула в руку и тяжело плюхнулась рядом, у единственного столика. Я выпил рюмку "Фелипе" и спросил хозяйку, дорого ли берет такси до Саламанки. Она не поняла и спросила старенького священника, сидевшего за столиком с кафе соло. У него были голубые добрые глаза и доверчивая улыбка. На смеси английского и французского он сказал, что недорого. Я понял, что еще час, и я умру в Фуэнтес де Оньоро, поддавшись всеобщему оцепенению. Я вышел на пустынную площадь, в морозящий дождь, сел в такси и поехал в Саламанку.

Пейзаж старого королевства Леон несколько монотонен. Под перламутрово-серым небом — зелень майских бесконечных полей, стада скота, приземистые невзрачные городишки с одной-двумя колокольнями, кроме одного, — обнесенного впечатляющими стенами Сьюдад-Родриго.

Я закрыл глаза и вспомнил, как в душную ташкентскую ночь в летнем театре Дома Офицеров под яркими южными звездами играли перед почти пустым залом "Девушку с кувшином" Лопе де Вега. И на сцене появился человек в эспаньолке, с задорно торчащими вверх усами, со шпагой, в красном мятом бархатном камзоле и зеленых сапогах. "Я — бедный студент из славного города Саламанка!" — вскричал он аффектированным провинциальным актерским голосом.

Позже, на лавочке в аллее парка, подвыпивший, без грима, усов и эспаньолки, он жаловался другу, тоже актеру: "Играем тухлятину, ничего свежего не дадут поставить!". Я сидел на той же лавочке, мальчишка десяти лет, и ему показалось, что я под-

слушиваю (а я всего лишь благоговел перед тайной актерского перевоплощения; через два года, в Москве, я стал ходить в театральный кружок городского дома пионеров — мой дед называл его "обезьянником", — слава Богу, ничего из этого не вышло). — "Чего уши растопырил, щенок?" — сказал обожаемый мною актер уже натуральным голосом. — "Пойдем, Коля! В этой стране высказаться негде!".

Дождь шел, не переставая. И студенты славного города Саламанки сидели в левом кафе Ла Корелло напротив романской церкви Сан Мартин. На стенах кафе висели плакаты вроде "Руки прочь от Никарагуа!", "Поддерживайте Народный Фронт Перу!" (оказывается, есть и такой). Грохотал рок-н-ролл. Кто-то перелистывал записи лекций, кто-то зубрил, кто-то писал стихи, а кто-то просто коротал время за чашкой кофе с холодным куском яблочного пирога. И все были высокомерны и шумливы, как высокомерна и шумлива всегда и везде молодежь, не познавшая еще Экклезиастовой тщеты.

Но строители Саламанкского университета о ней помнили, поместив на великолепной резьбы фасаде не только католических монархов, Фердинанда и Изабеллу, ангелов, гербы и аканты, но и незаметную маленькую лягушку, сидящую на черепе. Впрочем, для саламанкских студентов эта лягушка на черепе — не символ тщеты жизни, а талисман, дотронувшись до которого они успешно сдадут экзамены. Добраться до лягушки довольно трудно, она расположена высоко, почти на уровне второго этажа.

Университет Саламанки был основан в 1218 г. королем Альфонсо и в средние века считался одним из знаменитейших, наряду с Оксфордом, Болоньей и Сорбонной. Студентами Саламанки были покоритель Мексики Эрнан Кортес, поэты Гонгора и Гарсиласо де Ла Вега (учивший Карла V испанскому языку), Сервантес, драматурги Педро Кальдерон, Тирсо де Молина, Лопе де Вега. Экономист Саламанкского университета первым забил тревогу, указав на ту опасность, которую таит в себе поступление огромного количества золота из Нового Света без развития местной промышленности. В ирландском колледже университета учились ирландцы, не желавшие получать образование в протестантской Англии.

В нашем веке ректором Саламанкского университета был дон Мигуэль де Унамуно, профессор греческого, поэт и философ, написавший "Трагический смысл жизни", книгу, в которой он возвышает голос в защиту божественного и вечного права человека на отчаяние: "Дон Кихот не верил до конца в свои фантазии, он был безумен — возможно, — но он не был глуп. В глубине души он был человеком отчаяния, *героического* отчаяния. И поэтому он — вечный образ человека, всякого человека, чья душа — поле битвы "здорового" смысла и желания бессмертия".

На маленькой Пласуэла де ла Универсидад стоит бронзовая фигура фрай Луиса де Леона, великого лирического поэта Испании XVI века. Он тоже преподавал здесь. В "Новом" университете в неприкосновенности сохранилась зала, с кафедры которой Л. де Леон читал свои лекции. Узкие окна, белые стены, сводчатый потолок. Источенные временем узкие деревянные скамьи и столы. Простые деревянные панели вдоль стен, понизу. Свеча на кафедре в высоком подсвечнике. Кафедра под круглым балдахином. Здесь стоял фрай Луис де Леон, когда, после четырехлетнего заточения в тюрьме (он был брошен туда инквизицией за перевод с древнееврейского "Песни Песней"), он начал свою прерванную четыре года назад лекцию невозмутимым замечанием: "Como decíamos ayer..." — "Как мы говорили в прошлый раз...".

Рядом с залой Луиса де Леона (он похоронен тут же, в капелле, чьи двери выходят в университетский патио-дворик) — Зал Ассамблей, в прошлом — зал лекций по каноническому праву. Здесь открывают академический год, заседает Ученый Совет, присуждают степени, чествуют знатных гостей. На покрытом красным потертым ковром подиуме ряды красных бархатных кресел. За ними — брюссельские гобелены XVII века, гризайль с изображением католических королей и портрет Карла IV школы Гойи.

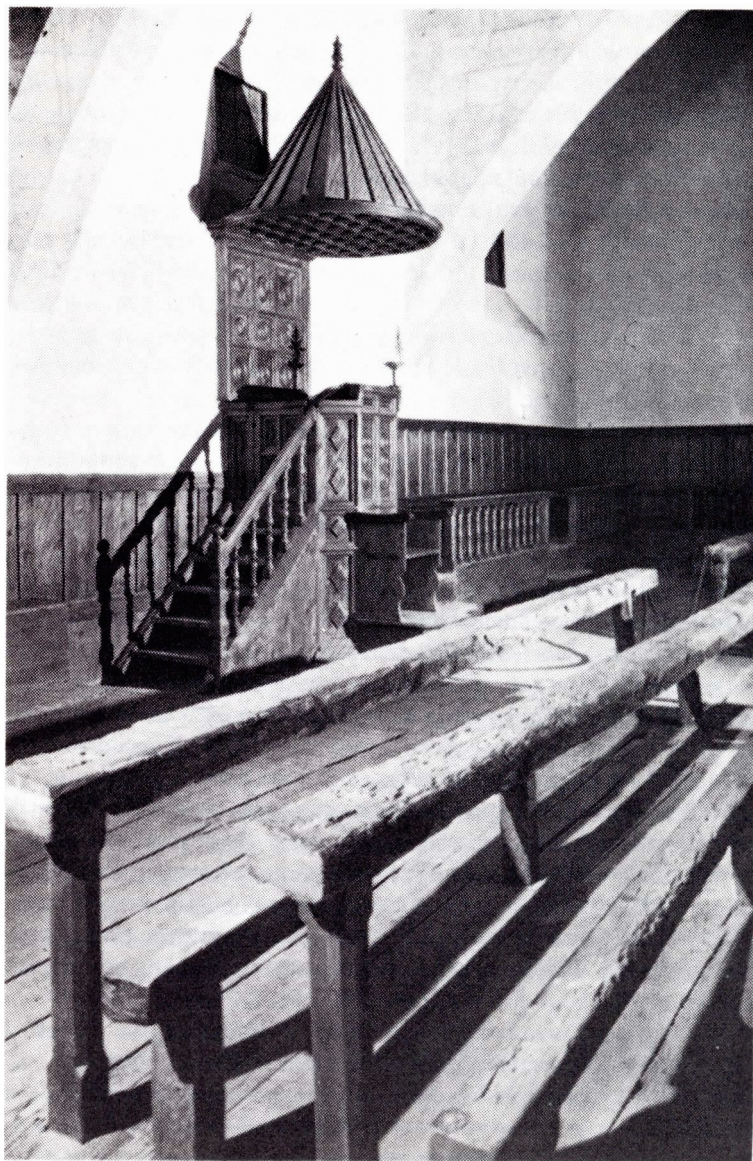
Здесь 2 октября 1936 г. Мигуэль де Унамуно, уже больной и на пороге смерти, вступил в полемику с генералом Астрыя. Генерал, командир Иностранного Легиона, был знаменит своим кличем на поле боя: "Да здравствует смерть!". У генерала не хватало руки и глаза. И с этого подиума он произнес речь, в которой

клеймил интеллектуалов, каталонцев, басков и обещал, что когда новый режим победит во всей Испании, никому из вышеперечисленных пощады не будет. Генерал закончил свою речь кличем: "Да здравствует смерть!". Тогда со своего кресла поднялся Унамуно и сказал: "Я, как вы знаете — баск, родившийся в Бильбао. Наш епископ, нравится ему или нет, — каталонец из Барселоны. Неужели мы должны погибнуть только потому, что он — каталонец, а я — баск? Наш уважаемый генерал, вне всякого сомнения, — герой, но, увы, инвалид и умом и телом и, очевидно, поэтому ему хочется, чтобы вся Испания усвоила его болезненную философию. Людей нельзя объединять под лозунгом: "Да здравствует смерть!". Нужен как раз обратный лозунг — "Да здравствует жизнь!".

Привыкший к беспрекословному повиновению генерал вначале опешил, а потом вскочил и, размахивая единственной рукой, прокричал: "Да здравствует смерть! К черту разум!" — "Нет, — ответил Унамуно — Да здравствует жизнь! И да здравствует разум!"

Унамуно не был правым, но он не был левым, не был атеистом. "У меня средневековая душа, — говорил Унамуно, — и душа моей страны — средневековая". Средневековье для Унамуно не было временем мрака, но — временем духовности, временем веры. Он любил цитировать Тертуллиана: "Христос был погребен и восстал, и это достоверно, потому что невероятно". Унамуно был верным сыном церкви: "Церковь всегда защищает жизнь. Она выступила против Галлилея и была права. Потому что его открытие само по себе, пока оно не было усвоено всеми областями человеческих знаний, могло поколебать веру в то, что Вселенная была создана для человека. Церковь выступила против Дарвина и была права, ибо дарвинизм старается подорвать нашу веру в то, что человек — особенное существо, созданное для Вечности".

Унамуно отстаивал ценности духа и индивидуума. Крайне правые и крайне левые вербуются из одного биологического материала, они поразительно схожи в своем желании власти, в своем презрении к человеку-носителю духа, в своем вульгарном материализме. И неважно, какое идеологическое прикрытие они используют — Господа Бога или "теорию" Маркса-Ленина.



*Лекционная зала Луиса де Леона*



*Саламанка*



Опять говорит Унамуно: "Что сказать о сентенции: "Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать"? Это — порождение нечистого скептицизма тех консерваторов, которые смотрят на религию как на средство правления и которые хотели бы, чтобы на том свете существовал ад для тех, кто противится их земным интересам в этой жизни".

Я поднял жалюзи в окне моей комнаты в небольшом отеле с пышным названием "Эмператрис" и увидел мокнущие под дождем золотистые башни и красно-коричневые черепичные крыши Саламанки, и аиста, свившего гнездо на ближней колокольне. В комнате с мраморными полами и темными панелями было сумрачно и холодно. В испанских отелях прохладно и в жару безо всякого кондиционера. Поэтому, несмотря на дождь, я не усидел в номере, вышел на улицу и забрел в первую открытую церковь монастыря августинков. Здесь меня ждал сюрприз — "Непорочное зачатие" Хосе Рибера, лучшая или одна из его лучших работ с непередаваемым красно-золотистым фоном, подчеркнутым яркоголубым покрывалом Богоматери.

Монастырь августинков основан Мануэлем де Фонсека, графом Монтерей. Он был зятем графа Оливареса (знаменитой модели Веласкеса) и вице-королем Неаполя. Рибера написал свое "Непорочное зачатие" по его заказу в 1635 г. Пребывание в Италии оставило свой след на вкусах основателя монастыря — это единственный образец итало-испанской архитектуры в стиле Виньолы.

Пройдя квартал или два, я вышел под аркады Пласа Майор — самой элегантной площади в Испании, о которой мой любимый писатель-путешественник Мортон сказал, что это — Восемнадцатый век, но не в классицистской тоге, а в сатиновом плаще с нюхательной табакеркой боливийского серебра в руках.

В северном углу площади — кафе "Новелти", старейшее в Саламанке. Его завсегдатаем был Унамуно. Если верить путешводителю, в этом кафе встречаются студенты и профессора "для обмена идеями". Я заглянул внутрь. Студентов и профессоров не было, а сидели достойные пожилые господа с аристократически тонкими лицами, в строгих костюмах и с платочками в карманах пиджаков, сидели немолодые дамы в шляпках, под-

перев щеки, и сидели дети, поглощавшие мороженое со взбитыми сливками. И все они стоически и безучастно, как прирожденные ученики испанца Сенеки, смотрели через старинные зеркальные окна на пузыри нескончаемого дождя, вздувающиеся на каменных плитах Пласа Майор.

А студенты и вообще молодежь сидели в баре "Сервантес" на той же Пласа Майор, где по стенам развешаны гроздья чеснока, бурдюки вина и иллюстрации к бессмертному роману работы Гюстава Дорэ и чуть ли не члена Союза советских художников Кибрика. Из джюк-бокс андрогинно муякал-завывал Майкл Джаксон.

К вечеру, наконец, прояснело и можно было побродить по саламанкским улицам, удивляясь мастерству местных резчиков по камню, претворивших золотистый песчаник (добываемый в близлежащих каменоломнях Вилламайор) в кружевное каменное чудо. Влажный, этот камень податлив резцу, а высохнув, твердеет.

Каса де Лас Кончас ошетинился шипами усеявших его фасад каменных раковин. Со стен Каса де Лас Муертес на прохожих смотрят ренессансные господа и дамы, а вокруг них — черепа, ангелочки, компасы. Над порталом церкви св. Себастьяна — ренессансный Себастьян, томностью похожий на хмельного Вакха. Над входом в романскую церковь св. Мартина святой отдает свой плащ озябшему нищему. Еще где-то Адам с круглым брюшком подсаживает пухленькую Еву — дотянуться до пресловутого яблока.

На Пласа де Лос Бандос — каменные гербы над окном углового дома доньи Марии Ла Брава. Два ее сына были убиты членами соперничающей семьи Мансанос, которые скрылись затем в Португалии. Вдова донья Мария следовала по пятам за убийцами, пока не настигла их в Висео. Отрубленные головы убийц она привезла в Саламанку и бросила на гробницы сыновей в церкви Сан Томе. С тех пор ее стали называть "Ла Брава" — "Храброй".

Кстати, Сан Томе — никто иной, как Томас Бекет, архиепископ Кентерберийский, а в наши дни еще и персонаж пьесы и фильма. Романская церковь была построена между 1175 и 1179 годами, через пять или девять лет после его знаменитого убий-

ства в Кентерберийском соборе и вскоре после того, как убийца, король Генрих II, совершил покаянное паломничество в Кентерберии босым, в мешковине и с веревкой на шее. Церковь была построена английскими поселенцами или, возможно, по обету Элеонор, кастильской королевы, дочери Генриха II.

Река, Мост, Бык — в гербе Саламанки. Я спустился сетью старых улочек к реке Тормес, широкой, мутной и мелкой, с многочисленными отмелями и тихими заводями. У недавно реставрированной кирпичной романо-мудехарского стиля церкви Сантьяго мирно шипали траву ослики. Если бы не эти ослики и не восточный элемент архитектуры арочных полукружий, я бы подумал, что передо мною черниговская церковь Параскевы Пятницы.

У древнего моста стоит вылитый из бронзы мальчишка, уроженец здешних мест Ласарильо, герой пикареского романа "Похождения Ласарильо с Тормеса". О его плечо оперся тощий господин, похожий на Дон Кихота. Надпись на цоколе гласит: "От признательного города Саламанки". Здесь, на мосту, разыгрался знаменитый эпизод плутовского романа.

Испания, наверное, единственная страна, где в наши дни ставят памятники святым и литературным героям. Это свидетельствует о том, что страна обладает духовным здоровьем, утраченным многими т.н. "передовыми" нациями.

На одной из главных площадей Мадрида, площади Испании, всматривается в дальние холмы Гвадаррамы Дон Кихот на своем Россинанте. Рядом с ним трусит на ослике Санчо Панса, а сквер вокруг обсажен коренастыми, приземистыми испанскими оливками. На маленькой площади в Авиле страдает в темнице св. Хуан де Ла Крус, а перед церковью Энкарнасьон отправляется в очередное путешествие с посохом в руке св. Тереза де Авилы. Св. Франциску Ассизскому город Саламанка поставил даже два памятника — на площади перед доминиканским монастырем св. Стефана и другой, более современный, в 1975 г. — в сквере у монастыря урсулинок — птицы летят из его раскрытых рук.

Здесь, у реки, у Ганнибалова брода — историческое ядро Саламанки. Любопытно, что примыкающая к речке Тормес слобода называется Кожевенной. Стоит вспомнить, что, согласно

некоторым историко-лингвистическим изысканиям, древнефинское слово "москва" означало "место выделывателей кож".

Римскому мосту через реку Тормес без малого две тысячи лет. Но он все еще крепок и по нему, пожалуй, могут пройти даже танки. В середине моста на постаменте стоит Того Iberico, гранитный безголовый бык — реликт кельтоиберийской эпохи, характерный для этого полуострова так же, как скифские каменные бабы для наших южных степей.

Поднимаясь вверх по крутым улочкам старой Саламанки мимо ушедших в землю домишек, подозрительного вида кабачков, развешенного на веревках белья, я подумал, что здесь, должно быть, и жила лукавая сводня Селестина, еще одна литературная обитательница Саламанки, и сюда приходил к ней влюбленный юноша Калисто за любовным напитком и житейскими советами. А где-то повыше, ближе к Старому собору, жила "Саламанкская вдова" Сервантеса.

В Саламанке стоят рядом два собора — Старый и Новый. Старый собор со стороны университетской площади скрыт за громадой нового. Но его романскую круглую Петушиную башню — Torre el Gallo с петухом на флюгере можно увидеть, спустившись к реке Тормес. Саламанкский университет ведет свое начало от церковной школы при Старом соборе, заложенном в XI веке графом Раймондом Бургундским. Новый собор был начат постройкой в XVI веке и закончен в XVIII. Он представляет собою эклектическую смесь стилей — готики, Ренессанса, барокко с преобладанием поздней готики. В реликварии собора — наивное романское распятие, принадлежавшее Сиду Кампеадору.

Чтобы попасть в Старый собор, нужно, пройдя под сводами Нового, спуститься по крутым ступенькам вниз. Мощные романские колонны завершаются тонущими в полумраке капителями, заселенными сонмом чертей, птиц, зверей. В центральной апсиде — "Страшный Суд" — фреска флорентинца Делло ди Николо. Всей композиции, написанной на темноголубом фоне, придано движение слева направо, еще более усиленное малиновым омофором Богородицы в верхнем правом углу. Замечательно ритмическое построение фрески. Иоанн Креститель в левом углу и Божья Матерь в правом в мольбе простирают руки к



*М. де Унамуро*



*Саламанка*

Христу. Фигуры ангелов в развевающихся одеждах еще более разбивают пространство, сообщая ему стремительность. Христос в центре не сидит статично на троне, как в других композициях "Страшного Суда": Его правая рука закинута за голову, левая согнута у сердца. На Его руках следы гвоздей и у сердца — рана от копья. Он смотрит не на зрителя, а на толпу грешников, поглощаемых зеленой чешуйчатой пастью.

На примыкающих к собору капеллах и надгробиях буквально лежит пыль веков. Капелла Талавера построена на месте дома капитула XII века. В ее центре — надгробие д-ра Родриго Мальдонадо из Талаверы, советника Фердинанда и Изабеллы, умершего в 1517 г. С потолка свисает полуистлевшее красное знамя комуньерос, бунтовавших против молодого Карла V; кое-кто из Мальдонадо поплатился тогда головой.

В Капелле св. Барбары (1340 г.) в протертом поколениями соискателей кресле, спиной к алтарю и лицом к надгробию епископа Люсера проводили последнюю ночь перед экзаменами кандидаты на докторскую степень, зубря, молясь и ожидая наутро решения своей судьбы. Здесь же в средневековые времена заседал Ученый Совет университета. Провалившийся кандидат выходил в Колымажную дверь (Carros), за которой, на улице, его ждали насмешки и гнилые помидоры.

В капелле св. Каталины заседал испанский суд теологов, в 1316 году оправдавший рыцарский орден Тамплиеров от обвинений, возведенных на него французским королем Филиппом Красивым.

Капелла Аная — место последнего упокоения этой знатной семьи. В центре — алебастровое надгробие епископа Диего де Аная (ум. 1437) с рельефными фигурами в стиле раннего Ренессанса. Епископ Диего участвовал в Констанцском соборе и видел, как жгли Яна Гуса. Вдоль стен мирным сном спят на подложенных под головы каменных подушках члены семьи Аная. Их лица так безмятежны, что кажется, будто ты не в склепе, а в опочивальне.

Поблизости от соборов, под холмом, на маленькой площади с памятником св. Франциску посередине, стоят два монастыря — Лас Дуэньяс и Сан Эстебан. Здание монастыря Лас Дуэньяс, в прошлом дворец контадора Хуана Санчеса, было завещано его

вдовой сестрам-доминиканкам. Здесь останавливалась св. Тереза во время своих наездов в Саламанку. Во время гражданской войны 1936-39 гг. монастырь был сильно разрушен. В 1960-е гг. он был реставрирован по распоряжению генерала Франко. Испании повезло, она пережила всего несколько лет коммунистического господства и, судя по всему, излечилась от коммунизма навсегда. Большая заслуга в этом принадлежит генералу Франсиско Франко. Жаль, что в свое время в России не нашлось такого же генерала Франко. Тогда многое было бы спасено — не только разрушенные ныне до основания монастыри и церкви, но и душа страны. Теперь прошло много лет и, боюсь, никакая реставрация уже ничему не сможет помочь.

Напротив монастыря доминиканок — церковь Сан Эстебан доминиканского мужского монастыря. Ее трехярусный резной западный фасад — подлинный каменный ковер со сценой Распятия работы Челлини в самом верхнем ярусе. Справа от церкви — итальянский десятиколонный портик, прикрывающий здание старой библиотеки.

Доминиканцы славились своей ученостью. Поэтому здесь, в монастыре, по повелению Фердинанда и Изабеллы в 1484 г. был созван симпозиум ученых мужей для обсуждения предложения дона Кристобаля Колона послать морскую экспедицию на Запад, чтобы достичь Индии. Представители Саламанкского университета назвали проект Колумба "непрактичным и покоящимся на столь шатких основаниях, что он едва ли заслуживает внимания и поддержки католических величеств". Однако, доминиканцы во главе с влиятельным фрай Диего де Деса поддержали "мечтателя" и ходатайствовали за него перед королем и королевой. Колумб прожил здесь, обласканный доминиканцами, два года. Впоследствии, в благодарность за поддержку, он прислал им золото Нового Света, пошедшее на украшение алтаря.

Здесь, в церкви св. Эстебана происходило венчание Филиппа II и его первой жены, португальской принцессы. Дружкой на свадьбе был знаменитый герцог Альба, чья гробница находится в этом монастыре. Герцог Альба (ум. 1582 г.), гроза протестантов, был с Карлом V в Тунисе, умирал протестантов во Фландрии и Нидерландских провинциях, он дрался при Мюльберге и

в Венгрии, в Руссильоне, Милане, в Харлеме.

Я возвращался в отель иной дорогой, через Пласа Колон с бронзовой фигурой открывателя Америки. Смеркалось, и вдруг у старинной башни Торре дель Клаверо я увидел группу парней в темных плащах, трико и колетах с белыми воротничками, словно они сошли со страниц средневекового испанского романа. Парни только что покинули один кабачок и направлялись в другой. В руках у них были тамбурины и гитары, бубны, и они пели. Испанская гитара в руках у талантливого исполнителя — замечательно душевный инструмент. Не знаю, откуда пришла гитара в Россию: не с теми ли испанцами, что были в наполеоновской армии, и не от них ли, певших грустные песни, пошли русские сегидильи, которые мы называем романсами.

Глядя на этих парней в средневековых костюмах, поющих на фоне средневековой башни, я подумал (и позавидовал) о той не прервавшейся духовной связи прошлого с настоящим, которая существует в Испании. И опять вспомнил слова Мигуэля де Унамуно — “У меня средневековая душа и душа моей страны средневековая”.

Совсем близко от моего отеля, у монастыря урсулинок, я нашел дом, в котором Унамуно скончался, а напротив стоял памятник — подавшаяся вперед экспрессивная человеческая глыба, чье лицо напряженно прислушивается к внутреннему плачу — или внутренней буре. “Педант спросил Солона, плакавшего о смерти сына: — Зачем ты так плачешь, ведь слезами горю не поможешь. — И мудрец Солон ответил: — Поэтому я и плачу. Его ответ — свидетельство того, что слезы помогают. Я убежден, что мы бы решили многие проблемы, если бы все вместе вышли на улицы, каждый со своим горем, и, обнаружив, что наше горе — одно на всех, — оплакали бы его, взывая к Небесам и Богу. И неважно, услышит нас Господь или нет. Но Он услышит.

Miserere, исполняемое множеством мучимых судьбой голосов, не менее глубоко, чем любая философия. Недостаточно излечиться от чумы — мы должны научиться плакать о ней. Да, мы должны научиться плакать. В этом, должно быть, высшая мудрость. Почему? Спросите Солона”.

Один из персонажей Сервантеса говорит: "Саламанка обладает неизъяснимым очарованием. Всякий, кто насладился ее приятным воздухом, желает вернуться снова". Держа путь в Кастилию и оставив позади мутную речку Тормес, я оглянулся назад, на башни и колокольни Саламанки. И мне захотелось опять вернуться в этот город, пусть даже в проливной дождь, навестить в Старом соборе сладко дремлющих на каменных подушках покойников, посмотреть в Эскуэлас Менорес на выцветшее с XV века саламанкское небо со знаками Зодиака, неспешно подняться по университетской лестнице мимо пляшущих среди акантов и фигов пажей, дам, шутов, выпить кофе соло под грохот рок-н-ролла в кафе Ла Корелло, и рюмку "Фелипе" в "Каравелле", прочесть страницу Унамуно в его любимом кафе "Новелти", и постараться дотянуться до сидящей на черепе каменной лягушки на университетском фасаде. Хотя я давно уже сдал все экзамены, кроме тех, что каждый день предлагает жизнь, но если ты суеверен...

*Эскориал.* Снег падал на цветущие каштаны и кусты сирени, а под ними сидел человек в высокой шляпе без полей и с усталым лицом. За его спиной, за горами Гвадаррамы с еще не ставшими шапками снега на вершинах, догорал закат. Усталый человек смотрел на идущую от Мадрида холодную тучу. И на "даму своей души" — Эскориал, чей строгий светлокоричневый фасад стал розовым в лучах уходящего на Запад солнца.

Усталый человек был Филипп II, самый популярный после ныне царствующего Хуана Карлоса, испанский король. И памятник ему под цветущими каштанами и сиренью был данью признательности испанцев своему Благоразумному королю.

В детстве я, как и многие, наверное, читал "Тилиа Уленшпигеля" Шарля де Костера. И там впервые встретил Филиппа II — кривонногого мрачного изувера, в детстве поджаривавшего маленьких обезьянок, а позже — ведьм и свободолюбивых протестантов. Он был — злодейский паук, сидящий в своем угрюмом логовище-Эскориале и плетущий оттуда мерзкие интриги. В России, кажется, знают только такого Филиппа "черной легенды", начало которой положил его личный секретарь, а потом смертельный враг Антонио Перес и которую довели до совер-

шенства французы, англичане и протестанты. Потом были "Дон Карлос" Шиллера и опера Верди с превосходной, хотя и мрачно-ватой арией Филиппа, которую поют все хорошие басы. И репутация великого инквизитора, семейного тирана и сыноубийцы прочно утвердилась за королем Испании Филиппом II.

На самом деле Филипп не был ни злодеем, ни садистом, ни инквизитором, ни сыноубийцей. Он был глубоко религиозным человеком. И первым современным монархом Европы. Он не сводил в могилу свою жену Изабеллу Валуа. Он не убивал своего сына, полуидиота Дона Карлоса. Он был знатоком искусства, покровителем Тициана, коллекционером Босха, Брейгеля-Старшего, Тинторетто, Веронезе. Он был одиноким человеком меланхолического характера. Его преследовали семейные несчастья — прежде, чем Эскориал был закончен, временный склеп ломился от ждавших своего окончательного пристанища гробов. Он никогда не выказывал на людях свои эмоции — это было его твердым правилом. А так как мы, люди, обычно впечатляемся только внешним и не любим оставаться наедине с самими собой, королю Филиппу ничего не стоило прослыть бесчувственным.

Летом 1562 г. надтреснутые колокола в Авиле, на которые св. Тереза собирала по копейке, возвестили о рождении основанного ею монастыря босоногих кармелиток. С весны 1563 г. св. Тереза стала жить в этом монастыре. Летом 1562 г. король Филипп II велел начать расчистку места для строительства дворца-монастыря неподалеку от маленькой деревушки рудокопов Эскориал в 49 километрах от его новой столицы — Мадрида. И св. Тереза и король Филипп были оба мистики, оба желали вдохнуть новый дух в источенное мирскими язвами тело католической церкви.

Одноглазая принцесса Эболи, романтическая героиня Шиллера и Верди, уговорила св. Терезу дать ей прочесть "Автобиографию". Св. Тереза дала, взяв с принцессы слово, что та никому не покажет рукопись. Но, конечно, очень скоро все во дворце Эболи прочли книгу и издевались за спиной св. Терезы. Кто-то передал копию инквизиции. Судебная коллегия отозвалась о св. Терезе, как о "беспокойной, вечно суетящейся женщине". И только Филипп лично остановил следствие инквизиции и

одобрил реформы св. Терезы.

Принцесса Эболи была возлюбленной надушенного парвеню, королевского секретаря Антонио Переса, предавшего своего короля. Мне, хотя это сегодня и немодно, и в глумлении над св. Терезой, и в предательстве и создании "черной легенды" Пересом видится один и тот же почерк — "серого", отца лжи.

К ночи я вышел из ресторана "Золотой Дублон" с развешанными по стенам испанским желто-голубым фаянсом и охотничьими трофеями, и крутой улочкой спустился вниз, к безлюдной в этот час гранитной эспаланде дворца-монастыря Сан Лоренцо де эль Эскориал.

Над западным порталом горела тусклая электрическая лампочка. Потеплело. Было безветренно. Снег перестал. И я представил себе траурный кортеж у закрытых ворот, холодную ночь, факелы, мулов с мрачной поклажей — покрытым черной парчой гробом. Слабый голос настоятеля из-за дверей: "Кто стучится в нашу обитель в столь поздний час?". И ответ: "Король Испании ищет у вас последнего пристанища".

"Каждый человек таков, каким его сделал Бог, и даже еще хуже", — заметил Санчо Панса. Бог сделал Филиппа II человеком, всегда помнившим о смертном часе и о бренности земного. В этом — его сходство с восточными христианами, празднующими Пасху, смерть и будущее Воскресение, тогда как западные, больше приверженные этому миру, празднуют Рождество — приход Христа в мир.

Умирая, Филипп велел принести гроб и череп. Показав на череп с воодруженной на него золотой короной, король сказал сыну, будущему Филиппу III: "Смотри, чего стоят все царства мира!".

Я думаю, что причина неприязни к Филиппу II, продолжающейся скоро уже четыре столетия — в психологической несовместимости жаждущего земных наслаждений "человека-меры всех вещей", этого самого крикливого буржуа Тиля Уленшпигеля, любителя потасовок, избыточных телес и жратвы, и аскета, родившегося принцем и пытавшегося примирить неприемлимое — христианское подвижничество с королевским ремеслом. Индийский принц Иоасаф ушел в пустыню. Король Фи-

липп построил Эскориал.

В церкви Сан Лоренцо, справа и слева от алтаря, стоят отлитые миланцами Леони из бронзы вечные прихожане — император Карл V с семьей и король Филипп II с тремя из своих четырех жен (вторая, Мария "Кровавая", лежит в Вестминстерском аббатстве) и сыном, пресловутым Доном Карлосом.

Филипп приходил сюда посмотреть, как продвигаются работы по украшению алтаря. Итальянец Федерико Зуккарто только что закончил писать сцену "Рождества". И снабдил одного из волхвов корзиной с яйцами. Филипп долго приглядывался к картине, а потом спросил Зуккарто, не ошибается ли он, действительно ли в корзине — яйца. Так за кем же смотрит пастух — за овцами или курами? Мистик, король любил логику и в политике и в искусстве. Любимым выражением Филиппа было "bien es myrar á todo" — "все должно быть рассмотрено всесторонне".

Эль Греко, желая получить заказ от Филиппа, прислал королю в подарок свою картину "Поклонение Христову Имени", более известную как "Сон короля Филиппа" — ее можно видеть здесь же, в Эскориале. Погруженный в медитацию Филипп в черном не смотрит ни на обитателей неба, ни на насельников земли, ни на грешников ада. Королю что-то понравилось в этой картине, возможно, то, как художник представил его, Филиппа. Он заказал ему "Мученичество Фиванского легиона" ("Мученичество св. Маврикия"). Филипп хорошо заплатил Эль Греко, но больше никогда ничего ему не заказывал. "Мученичество св. Маврикия" не повесили в часовне церкви Сан Лоренцо, картина висит в Зале Капитула.

На переднем плане изящные мученики под надзором изящных мучителей изящно прощаются друг с другом, а собственно мученичество-избиение происходит на далеком заднем плане. Это еще Эль Греко относительно гармоничных времен, с его изумительным желтым цветом, не без оперного визионерства, но и без поздних извивающихся фигур, мучимых, по словам Э. Хаттона, "каким-то невероятным беспокойством, словно они помнят только о пустоте жизни".

Филиппа, возможно, раздражило в Эль Греко отсутствие цельности. Эль Греко кричит, требует внимания к своей правде.



*Тициан. Карл V после битвы при Мюльберге*



*Главный фасад Эскориала*

А у самого — невидящие глаза, и он знает, что не знает — ничего. Оттого в большом количестве Эль Греко утомительно навязчив.

Филипп не любил Рафаэля и не покупал его. Но, как и отец, любил Корреджио и Тициана. Принадлежавшая им корреджиевская "Леда" висит теперь в Берлине, а "Ио, Ганимед и Юпитер" — в Вене (Филипп завещал картину своему любимому племяннику, императору Рудольфу II).

Карл V и Филипп считали Тициана величайшим художником и непрерывно атаквали его заказами. Если для Карла V Тициан писал, в основном, портреты и полотна на религиозные сюжеты, то Филиппу II он посылал из Венеции свои, как художник их называл, "поэзии" — "Данаю", "Венеру и Адониса", "Венеру и Музыканта", "Похищение Европы", "Смерть Актеона", "Тарквиния и Лукрецию".

Ренессансный язычник, Тициан раньше и глубже других почувствовал, сначала в своих портретах, а потом и в "поэзиях", ложь возрожденческой концепции "человека как меры всех вещей". Знаменателен портрет антиквара Якопо Страда, держащего в руках статуэтку Венеры так, словно он сейчас ее забросит в бездну и сам бросится следом из хрупкой, рукотворной гармонии в хаос. Пейзажи "поэзий" Тициана с годами становятся все более угрожающими, чреватými какими-то космическими катастрофами, диссонирующими с передним планом, населенным ренессансной изобильной плотью.

Пожалуй, лучшая вещь, когда-либо написанная Тицианом, висит в Прадо (опошленная в этикетке дорогого испанского коньяка, как и многое опошлено в нашем вульгарно-демократическом веке) — "Карл V после битвы при Мюльберге". Всадник с пурпурной перевязью на латах, с красным плюмажем на шлеме, с копьём наперевес, выехал из таинственного застывшего леса в стылый медовый закат. Движение и нет движения. Всадник, конь, деревья, кусты будто зачарованы, как из волшебного сна. Кажется, что Карл прислушивается к зову оттуда: "Царство Мое не от мира сего". Он победил, но это — его победа и поражение. Он победил своих врагов — теперь осталось победить себя самого.

Было много королей, но император, цезарь был один. И со

времен Диоклетиана мир не помнил, чтобы цезарь отрекся добровольно. Это сделал Карл V в Брюсселе осенью 1556 года. Отречение Карла было вызовом всему Ренессансу, его концепции жизни.

Тициан и Карл хорошо знали друг друга. Они были лично знакомы многие годы. И в "Карле V после Мюльберга" проницательный глаз художника увидел то, что, возможно, еще не до конца сознавала сама модель.

Последний год своей жизни Карл провел в Испании, в монастыре иеронимитов в Юсте, в глухом углу Эстремадуры. Там он размышлял, чинил часы, разводил цветы, репетировал собственные похороны. Самыми важными чинами его двора были кот и попугай. После смерти Карла их доставили на специальных носилках в Вальядолид — умирать на королевской пенсии.

Иногда к Карлу приводили худого тонконового мальчишку с большими карими глазами. Он гладил его каштановые волосы, вспоминал Регенсбург — зеленоватый Дунай и двухэтажный бюргерский домик, где жила мать мальчишки — белокурая Барбара Бломберг.

Перед смертью он просил принести портрет своей покойной жены, королевы Изабеллы, кисти Тициана (теперь эта вещь в Прадо). Потом перед ним поставили тициановского "Ессе Ното" (ныне в Вене). Он так долго смотрел на картину, что доктор забеспокоился: "Вы не должны перенапрягаться!". Вздыхнув, Карл сказал: "Malo me siento". Вскоре он умер. В своем завещании он просил построить для него и жены усыпальницу, а также объявлял, что сын Барбары Бломберг из Регенсбурга — его сын.

Эскориал был задуман как усыпальница Карла V и монастырь иеронимитов, ордена, среди членов которого император провел свои последние дни в Юсте. 10 августа 1557 г., в день св. Лаврентия, испанцы выиграли у французов решающую битву при Сен-Квентине, и Филипп дал обет этому святому построить храм в его честь. И последнее. "Каждое создание счастливо в предлежащем ему месте," — сказал Мейстер Экхард. Филиппу хотелось иметь место уединения рядом с отцовскими гробами и смиренными иеронимитами, неподалеку от своей новой столицы.

Говоря о пантеоне Эскориала, я вспомнил о другом пантеоне, куда меня отвез мадридский племянник в мой первый приезд в Мадрид. Это — "Monumento Nacional a los caídos" — "Памятник Павшим", и находится он недалеко от Эскориала. Почему-то (думаю, не без умысла) этот "Памятник Павшим" не фигурирует в популярном гарвардском студенческом справочнике "Let's go". Мой племянник — разочаровавшийся в коммунизме русский венесуэлец, вполне обуржуазившийся в Испании. Но все же, вероятно, менее либеральный, чем составители гарвардского путеводителя.

"Памятник Павшим" — огромная базилика, вырубленная в скале с гигантским крестом на ее вершине. Был жаркий осенний день, и воздух пах ладаном, вернее, тающей под солнцем смолой. Холмы вокруг базилики были засажены на несколько километров соснами. "Сосны сажали пленные республиканцы!" — с негодованием сказал мой племянник. В самой базилике, в куполе над гигантским алтарем, где находится могила Ф. Франко, я увидел мозаику — справа и слева от Христа к Нему тянутся победители и побежденные, франкисты и республиканцы. В стенах базилики погребены победители и побежденные — республиканцы, умершие во время постройки "Памятника Павшим", а для меня — памятника национального примирения во Христе. Мой племянник, никогда не живший в СССР, продолжал негодовать по поводу "жестокости генерала Франко". А я подумал: какая замечательная идея — объединить в смерти врагов, и насколько счастливее эти возводившие памятник христианской идее и нашедшие здесь свое последнее пристанище пленные республиканцы — тех миллионов, что копали на Колыме золото для советского Молоха, а потом были свалены в общую яму с биркой на шиколотке.

Усыпальница Эскориала — под алтарем церкви Сан Лоренцо, так что гроб Карла V находится непосредственно под ногами священника, служащего мессу. Чтобы пройти в пантеон, надо, выйдя через юго-восточную дверь церкви, спуститься по лестнице из гранита и цветного мрамора. На площадке между двумя пролетами лестницы — дверь в камеру, о назначении которой туристам обычно не говорят. Здесь держали тела королей и королев до тех пор, пока они не приходили в соответствующую

шую кондицию — мумифицировались или редуцировались до костей.

Пантеон королей — круглая зала в стиле раннего испанского барокко, отделанная черной и темнозеленой яшмой и бронзой. Королевские саркофаги стоят в нишах, один под другим: короли — направо, королевы (те, что были матерями королей) — налево. Филипп II не успел закончить строительство пантеона. Филипп III после смерти отца редко бывал в Эскориале, развлекаясь охотой и другими забавами. Но к сорока годам он стал набожен и возобновил строительство усыпальницы. Король проводил там часы, лежа в нише, приготовленной для своего гроба и прислушиваясь к мессе, которую служили наверху, в церкви. Он умер от перегрева: некому было убрать жаровню, стоявшую в покоех, а строгий этикет испанского двора не позволял это сделать самому королю.

Пантеон был завершен Филиппом IV, другом Веласкеса, любителем искусств и еще одним слабым королем. Он тоже спуускался сюда, плакал и молился, глядя на свой будущий гроб.

Карл II, околдованный, как он верил, король, живший на диете из цыплят, которых кормили змеями, последний испанский Габсбург, приходил сюда со своей второй женой, Марией Анной, чтобы открыть гроба своих предков. Его кто-то уверил, что если он увидит их прах, души предков будут усерднее молиться на небесах о его здоровье и помогут снять с него ведьмино заклятие.

Последним испанским королем, похороненным в Эскориале, был Альфонсо XIII, дед нынешнего короля, умерший в изгнании в Риме. Его прах был недавно перевезен в Испанию.

Примыкающий к пантеону королей пантеон инфантов был закончен во второй половине XIX века и являет собою образец дурного вкуса эпохи легкомысленной Изабеллы II. Мраморная двадцатисторонняя башня — усыпальница двадцати маленьких инфантов — похожа на свадебный торт.

В Пантеоне инфантов погребены Дон Карлос и Балтасар Карлос, увековеченный Веласкесом на конном портрете. Надгробие Дона Хуана Австрийского до сих пор исторгает слезы у чувствительных туристов. Мелодраматически изваянный в натуральную величину из каррарского мрамора (я вспомнил сразу

Антокольского и итальянскую оперу), Дон Хуан Австрийский в сумерках склепа выглядит весьма романтично.

Это тот самый мальчик Жеронимо, которого приводили к Карлу V в Юсте. Следуя посмертной воле отца, Филипп II признал сводного брата, дав ему имя — принц Дон Хуан Австрийский. Филипп мечтал, что Дон Хуан станет монахом, но очень скоро выяснилось, что тот предпочитает монашеской жизни поле битвы и удовольствия любви. С годами, особенно после победы испанцев под предводительством Дон Хуана над турецким флотом при Лепанто, он делался все более честолюбив. То он хотел преследовать турок до Босфора, взять Константинополь и основать новую Византийскую империю. Потом стал мечтать о том, чтобы выкroit для себя королевство в Северной Африке. Посланный братом регентом в Нидерланды, он носился с планами высадки в Англии, чтобы свергнуть Елизавету, жениться на Марии Стюарт и вместе с нею править Нидерландами и Соединенным королевством. Осторожный Филипп неизменно сдерживал своего порывистого брата, но никогда и ни в чем не был к нему несправедлив, что бы не писали и не придумывали об их отношениях.

Дон Хуан Австрийский умер от горячки на голубятне во Фландрии, и его тело было доставлено по приказу Филиппа в Испанию. В Эскориале висит портрет Дона Хуана работы Санчеса Коэлло: высокий лоб, быстрый, не без затаенной хитринки взгляд карих глаз, чувственные губы, нервные руки, жезл, повелительно упершийся в загривок притворившегося смиренным льва.

Я поднялся на хоры церкви Сан Лоренцо и увидел место, которое любил занимать Филипп, незаметно приходя к вечерне. В 1568 году церковь не была закончена, но службы уже отправлялись. Среди рабочих прошел слух, что дьявол бродит по переходам Эскориала под личиной большого черного пса; пес воет и волочит за собою цепи. Приор поймал пса и повесил в монастырской галерее. На Крещение из Мадрида прискакал Дон Хуан Австрийский и, поднявшись на хоры, что-то прошептал брату. Филипп дослушал вечерню, а потом спешно выехал в Мадрид.

Дон Хуан привез известие, что Дон Карлос, наследник испанского престола, хочет бежать из страны. Как не трудно было

Филиппу принять решение об аресте своего сына, он это сделал, ибо всегда ставил интересы государства выше своих личных.

В сопровождении герцога Альбы Филипп явился в покои сына и объявил тому, что отныне он находится под арестом. Во время домашнего заточения на Дона Карлоса находили приступы ярости, он катался по полу и отказывался есть. Потом он объедался. Через шесть месяцев Дон Карлос умер, вероятнее всего — подавившись. Филипп не присутствовал на его похоронах, наблюдая за ними из окна. Через несколько дней умерла в преждевременных родах третья жена Филиппа — Изабелла Валуа.

Рождение Дона Карлоса стоило жизни его матери, португальской принцессе. Он был трудный ребенок, бесперывно орал, а когда у него прорезались зубы, норовил укунить своих мамок. Он вырос кривобоким и тщедушным. В 17 лет, направляясь на свидание с дочкой дворника, он упал с лестницы и получил тяжелую травму. А. Везалий сделал ему трепанацию черепа и тем спас жизнь, хотя король Филипп был убежден, что сына исцелили мощи фрай Диего, которые во время болезни Дона Карлоса поместили рядом с его постелью.

Характер Дона Карлоса, и без того раздражительный и причудливый, после болезни заметно ухудшился. Так, рассердившись на своего сапожника, он заставил того съесть сваренные в котле сапоги. В компании пьяных юнцов Дон Карлос слонялся по улицам Мадрида, плюя в прохожих и осыпая площадными ругательствами женщин. Желая приобщить наследника к делам правления, Филипп сделал Дона Карлоса членом Государственного Совета. На заседаниях Совета Карлос бранил и даже бил почтенных мужей. Особенное удовольствие ему доставляло разглашать государственные секреты.

Как видим, реальный Дон Карлос не имел ничего общего с шиллеровским или вердиевским. Что ж, еще раз преклонимся перед силой искусства, заставляющей нас верить в то, чего не было.

Чтобы попасть в апартаменты Филиппа II, надо пройти через анфиладу комнат, декорированных Бурбонами в классицистско-руссоистском стиле второй половины XVIII века. У имп. Марии Федоровны в Павловске было куда больше вкуса, чем у



*Эскориал*



*Тициан. Портрет Филиппа II*

королевы Марии Луизы, жившей здесь со своим толстяком-мужем Карлом IV и любовником, пресловутым Годоем. О Марии Луизе, которую Гойя обессмертил в своих портретах (и в "Каприччос") Наполеон сказал: "Прошлое Марии Луизы и ее характер написаны на ее лице. И это превосходит самое смелое воображение".

Единственное, что обращает на себя внимание в покоях Бурбонов — это гобелены, выполненные по картонам Гойи. Но они — даже не бледное подобие писанных маслом картонов, висящих в Прадо. Свернутые в рулоны, картоны долгие годы пролежали в чуланах королевского дворца в Мадриде.

Для меня подлинный Гойя — не Гойя королевских портретов, герцогини Альбы и "Каприччос", но Гойя — создатель этих картонов, настоящего сюрреалистского кинофильма из жизни Мадрида и пригородов, которому мог бы позавидовать Феллини. Т. Готье сказал о картинах Гойи, что "это комбинация Рембрандта, Ватто и странных фантазий Рабле". Что бы он мог сказать о его картонах?

Здесь, в этих картонах, написанных в темноватой гамме, так, словно солнце всегда за облаками, присутствует какой-то полуденный бес. Махи в сумеречном лесу под Мадридом; сидящий махо — из щели между шляпой и закрывающим лицо платком торчат глаза; горшечник на блеклом пригородном закате, флиртующий с покупательницами и успевающий перехватить взгляд дамы, проезжающей мимо в карете; бой молодых быков — напряженные икры торреадоров, реющие в дымке нечеткие фигуры зрителей; играющие в солдаты ребятишки; махо с гитарой; игроки в карты; красотки, подбрасывающие большую куклу; слепой музыкант; драка в таверне "Вента Нуэва".

Лица и фигуры картонов как-будто индивидуализированны и в то же время похожи общей им всем кукольностью, словно они — марионетки странствующего театра. У красавиц, подбрасывающих в воздух куклу-простофилю, те же глаза, брови, рты, ноги, что и у их игрушки. Еще большую мистичность картонам Гойи придает его обращение со светом: закатное солнце, задумчивость реющих вечерних облаков, а на переднем, прячущемся в сумраке плане, — яркие высветленные пятна шелковых чулок, пестрых жилетов, камзолов, плащей.

Ткачи королевской фабрики гобеленов Санта Барбара жаловались, что они не в состоянии перенести на гобелены цветовую гамму картонов Гойи. И мы не имеем права упрекать их в этом.

Пройдя по комнатам XVIII века, где ты словно слышишь крикливую разногласицу нестройных, неразличимых голосов и дребезжанье брик-а-брак, попадаешь в покои Филиппа II, человека, которому есть что сказать, и чья индивидуальность так сильна, что ее присутствие ощущается в этих комнатах почти физически. Тронная зала — безо всяких украшений, с выбеленными стенами и голубыми керамическими плитками-панелями; трон — походное кресло отца Филиппа — Карла V. Кабинет, модельня и спальня с кроватью, на которой Филипп умер на рассвете 13 сентября 1598 года при первых звуках хора семинаристов, начавших служить мессу.

Окна кабинета Филиппа выходят в дворцовый сад, за которым расстилается долина Гвадаррамы. К вечеру красноватая земля отливает золотом; бесстрастное, цвета тускнеющей стали кастильское небо становится прозрачнее, яснее, смягчая гордое одиночество пейзажа, и кажется, что небеса здесь ближе, чем где-либо еще на земле.

Сад под королевскими покоем ныне разбит на геометрические клумбы с подстриженными боскетами вечнозеленых кустов. А во времена Филиппа, устроившего сады еще до закладки первого камня Эскориала, это было яркое и прихотливое море цветов. "Сад — утешение души, помощь в размышлении, он возвышает мысли о красоте небесной", — писал официальный историограф Эскориала фрай Сигуэнца. Филипп неутомимо пополнял ботаническую коллекцию Эскориала, он устроил там аптеку, где, кроме лекарств и трав, делали благовония из роз, гвоздики, лилий, лаванды. Занятый делами только что присоединенной Португалии, Филипп, тем не менее, находил время, чтобы написать своему секретарю: "Спроси Энрике, моего портного, как называется то дерево, что растет у его дома, и напиши мне".

В кабинете Филиппа нет ничего лишнего, кроме картин кисти немецких и фламандских мастеров. Кирпичный пол, белые стены, светлоголубые изразцовые панели незатейливого рисунка

вдоль стен, портреты отца и матери. Письменный стол со стоящим на нем серебряным распятием школы Челлини в киоте эбенового дерева. Филипп любил эту вещь — подарок Бьянки Капелло, герцогини Тосканской.

Его отец, император Карл V не любил писать писем, а когда раз собрался, то во всем дворце не могли найти клочка писчей бумаги. А его сын, Филипп II, проводил целый день за письменным столом и все равно не успевал, говоря: "Я и часы не ладим друг с другом". Он читал все донесения вице-королей, губернаторов и послов, делая на полях замечания не только по сути, но и о стиле и орфографии. Он обладал неистощимым терпением и самодисциплиной. Живому общению он предпочитал письменное. Он хотел все предусмотреть, он хотел быть справедливым королем и требовал, чтобы к нему обращались лично с просьбами и жалобами. И к нему обращались с чем угодно, вплоть до проблемы уборки мусора в каком-нибудь мексиканском городишке. Филипп был перфекционистом и потому до смешного не мог отделить главное от деталей.

Его отец всегда был в отъезде, а мать, Изабелла, не баловала ласками. Его детство было безрадостным — императрица требовала, чтобы с ее сыном обращались с почтением, подобающим наследнику величайшего императора; поэтому у него не было друзей-сверстников. Молодым он любил пышно одеваться, но с годами стал предпочитать один и тот же костюм — черный камзол с белым воротником и черную бархатную шляпу без полей. Старая, он становился все более меланхоличен и замкнут, редко появлялся на людях и никогда не выказывал своих чувств. Плачущим его видели один только раз, и то — монахи Эскориала, когда, в Страстную Пятницу он стоял, коленапреклоненный, перед Крестом, переживая (слова А. Мальро), трагедию, на которой основываются все наши надежды.

Мы бы никогда не узнали о другой стороне "сурового и недоступного" Филиппа, если бы не случайно обнаруженные — сравнительно недавно в Турине — его письма дочерям из Лиссабона. В этих письмах он подробно описывает обычаи, растения, птиц своего нового королевства; беспокоится о здоровье маленьких сыновей, радуется, что у одного из них, наконец, прорезались зубы — давно пора, мальчишке уже третий год; благодарит



*Филипп II. Портрет работы С. Коэлио*



*Эскориал. Восточный фасад. Покои Филиппа II.*

за присланные персики и жалеет, что они пришли испорченными и поэтому он не мог их отведать, что доставило бы ему большое удовольствие, не потому, что он любит персики (он не любил ни фруктов, ни рыбы), а потому, что они с дерева, которое растет у дочерей под окном.

Он много пишет о своей приятельнице, карлице Магдалене, дурочке и выпивохе. В Прадо висит ее портрет — она выглядит, как маленькая серьезная монашка. Магдалена захотела подняться с королем на борт галеона и заболела морской болезнью, и рассердилась за это на Филиппа. "Магдалена очень любит клубнику, а я — соловьев". "Вчера Магдалена была опять на меня сердита, потому что я не приструнил Луиса Тристана (шута) во время их ссоры. Ей Богу, я даже не слышал этой ссоры, но уверен, что зачинщицей была сама Магдалена. Теперь она ходит и дуется на меня, и говорит, что убежит или убьет Луиса, но я уверен, что назавтра она обо всем забудет".

Одна из адресаток этих писем — принцесса Изабелла Клара Евгения, любимая дочь Филиппа и его третьей жены Изабеллы Валуа. Она прожила рядом с отцом всю свою молодость, пока в год своей смерти, когда принцессе было далеко за 30, Филипп не решился, наконец, расстаться с дочерью, выдав ее замуж за своего племянника, эрцгерцога Альбрехта и сделав обоих правителями Испанских Нидерландов.

Филипп любил музыку и сам играл на гитаре. У него были большой и малый хоры, содержание которых вызывало постоянные нарекания Кортесов. Он пытался, хотя и безуспешно, переманить Орландо Лассо, жившего при дворе баварского герцога.

Филипп был библиофилом, собравшим в Эскориале богатую коллекцию книг и манускриптов, остатки которой сохранились в великолепном зале эскориальской библиотеки: книги стоят в шкафах корешками внутрь, обратив к посетителю свои золотые обрезы. Филипп требовал, чтобы библиотека Эскориала получала "обязательный экземпляр" каждой книги, изданной в Испании. Когда умирал какой-нибудь известный ученый, Филипп незамедлительно отправлял своего агента для покупки книжного собрания покойного.

Он приветствовал книгу Х. де Сан Хуана "Исследование

человеческого разума” — первую медикопсихологическую работу, которую Инквизиция, тем не менее, внесла в индекс запрещенных книг. Филипп был первым в Европе, кто начал собирать арабские рукописи и проявил интерес к исламской культуре — факт, казалось бы странный для архикатолического монарха.

После смерти св. Терезы Филипп приобрел ее рукописи и держал их в ларце (ключи от которого всегда носил при себе) вместе с реликвиями святых и перстнем, присланным ему Марией Стюарт с помоста эшафота.

Но особенно Филипп любил живопись. Он приглашал Тициана работать в Эскориале — великий венецианец отговорился старостью, хотя есть подозрения, что он всегда завышал свой возраст. Под разными предложениями от приглашения в Эскориал уклонился и Веронезе. Филипп пригласил бы и Микельанджело, если бы тот не умер через год после начала строительства Эскориала. Королю пришлось довольствоваться теми второразрядными итальянскими художниками, которые были согласны ехать в Испанию и которых ему рекомендовали его, не обладавшие безупречным вкусом, послы.

Филипп — коллекционер был удачливее. В часовне Сан Лоренцо эль Реал висит Христос на кресте работы Бенвенуто Челлини. Тот самый Христос, видения которого, как Челлини писал в своей “Автобиографии”, он сподобился, будучи в заключении в замке св. Ангела в 1527 г. и которого он изваял таким, каким запомнил.

В Зале Послов стоит стол (копия, оригинал в Прадо), на крышке которого И. Босх изобразил семь смертных грехов. В кабинете Филиппа и в его спальне висят два триптиха Босха (копии, подлинники теперь в Прадо) “Телега сена” и “Сад земных наслаждений”. Он купил их на аукционе.

Центральная панель “Телеги сена” — огромная телега со стогом сена, на верху которого расположилась молодая парочка. За телегой — символом тщеславия — спешат, как безумные, прочь от Рая (правая панель) монахи, горожане, папа, император, князья. Кто прилаживает лестницу — взобраться на стог, кто — попал под колеса. Телегу везут человеческие существа, которые, приближаясь к вратам ада (левая панель), превращаются в неких бестий.

“Сад земных наслаждений” — фатаморгана светлоголубого, бледнорозового, оливкового — тел, птиц, цветов, животных, бабочек. На центральной панели кавалькада обнаженных всадников самозабвенно мчится на лошадях и свиньях по кругу вокруг Фонтана Молодости, в котором плещутся юные негритянки и молочнокорые блондинки, а на их головах сидят лебеди, вороны и павлины.

В Босховском Аду (левая панель) то, что было орудием наслаждения, стало орудием пытки. Гармония органа, мандолины и арфы возникает из страданий нанизанных на струны и запихнутых в органные трубы грешников. На голове белого монстра с лицом смазливового задумчивого идиота — ведьмаки и ведьмы водят хоровод вокруг красной волынки.

Что привлекало Филиппа II в Босхе? Быть может, то, на что указывал фрай Сигуэнца, историограф и современник короля: “Если другие художники писали человека таким, каков он выглядит снаружи, то Босх осмелился изобразить его таким, каков он изнутри”. А любимым выражением Филиппа было: “*bien es mugar á todo*” — “все должно быть рассмотрено всесторонне”.

Вечером, сидя в старинном месон “Ла Куэва”, где к вину подают тортилью и маринованные грибки, я думал о том, что, может быть, “Ла Куэва” ведет свою родословную от одного из тех кабачков, которые предусмотрительный Филипп построил для рабочих Эскориала, чтобы, как писал Сигуэнца, “люди с помощью вина набирались новых сил”. Попивая сангрию, я размышлял о том, как несправедлива молва и как мало мы знаем о подлинной истории чего бы то ни было; жалел, что рядом со мною в Эскориале и Прадо не было моего друга, всю жизнь занимающегося Тицианом и Босхом, но никогда не выезжавшего из Москвы дальше Крыма, замечательного искусствоведа с редкостным пониманием и умением видеть.

Еще я вспоминал, что под Москвой уже время сажать огурцы и картошку, и мой сосед-старик, в прошлом — уездный предводитель дворянства и владелец знаменитой Ахтырки, наверное, уже вынес из подвала свою коллекцию георгин и проветривает клубни под неярким подмосковным солнцем; он напутствовал меня перед отъездом в Вену: “Там офицеры носят замечательную форму, красное с белым. А Кертнерринг! И женщины, са-

мые красивые женщины, конечно, в Вене!"

Я прикидывал, какой теперь может быть час в Нью-Йорке и скоро ли артистические обитатели Ист Вилидж, где я живу, выползут из своих убежищ, шествуя по заплыванным, но полным бурной жизни вечерним улицам с высокомерным видом провинциальных пророков.

И радовался тому, что на пути в Нью-Йорк я посижу с рюмкой коньяку на набережной букинистов, напротив Нотр Дам в Париже, и увижу облака, дома, улицы совсем как на полотнах Утрилло или Вламинка.

В кабачок вошли две пары и сели за соседний столик. Они уже были невеселе и после первых глотков сангрии из глиняного жбана стали петь. У них не было гитары, кавалеры отбивали такт в ладоши; получался звук, похожий на стук кастаньет. Я не понимал слов их песни, но в ней был рефрен, понятный без перевода: "O Libertad, Divina Libertad!".

Я вышел на улицу, сел под стриженным каштаном на маленькой площади, в ушах у меня все еще звучал стук ладоней-кастаньет и рефрен: "O Libertad, Divina Libertad!". Эскориал был рядом, невидимый и всеприсутствующий, как наше прошлое.

Я думал о том, какая мудрая и замечательная вещь свобода и — в который раз — стал мечтать о том дне, когда моя родина перестанет, наконец, быть военным гарнизоном и полицейским околотком, выйдет, наконец, из своего одиночного заключения в большой и прекрасный мир и снова вспомнит, что у нас, людей, и прежде всего, европейцев — общее прошлое.

Испанец Сальвадор де Мадариага писал: "Мы должны любить Европу, ту Европу, где звучал смех Рабле и блистал своим остроумием Вольтер, Европу, на духовном небосводе которой светятся гневные глаза Данте, пронизательные — Шекспира, страдальческие глаза Достоевского, внимательные — Гете. Европу, одарившую нас улыбкой Джоконды, мраморными Моисеем и Давидом, в которых Микельанджело вдохнул вечную жизнь. Ту Европу, где стихийный гений Баха сам себя заключил в интеллектуальные рамки геометрии, где Гамлет хотел найти разгадку своего бездействия, где Дон Жуан искал в каждой женщине ту, которой ему никогда не суждено было найти, где, стремясь преодолеть реальность, мчался с копьём на-

перевес Дон Кихот. Это та Европа, где Ньютон и Лейбниц старались измерить бесконечно малые величины, где соборы, по словам Альфреда Мюссе, молятся, стоя на коленях, в своих каменных одеяниях; где на серебряные нити рек нанизаны драгоценные кристаллы старинных городов, отшлифованные резцом времени”.

Я вспомнил С. де Мадариагу, и мне захотелось, чтобы скорее настал тот день, когда мой дядя, проведший десять лет на Колыме, мог бы, без эскорта скучающего люмпен-пролетарского держиморды, рассматривать рельефы испанских соборов, сравнивая их с рельефами Юрьева-Польского, о которых он много писал. О дне, когда я и мой друг искусствовед стояли бы вместе у полотен Тициана и Босха, и он бы помог мне увидеть то, чего я сам не сумел. О дне, когда еще один мой друг, занимающийся Достоевским, набрел бы каким-нибудь тихим флорентинским вечером на дом против дворца Питти, где были окончены “Бесы”, а потом увидел в Авиле, в Испании, могилу Томаса Торквемады и написал бы мне в Нью-Йорк, что он думает о Великом Инквизиторе и Шигалеве. О том дне, когда я бы мог посидеть со стариком-профессором, лучшим русским знатоком античности, под мягким осенним греческим солнцем где-нибудь на развалинах Асклепиона или Олимпии, смотря на греющихся на солнце длиннохвостых ящериц, а потом проводить его на московский самолет, условившись навестить на Рождество — на Арбате.

И о дне, когда я бы пошел с моей московской племянницей, подросткой без меня, в этот кабачок в Эскориале, и она бы услышала песню, которую пели молодые испанцы — “O Libertad, Divina Libertad!”.

*Юрий Кашкаров*

# ”ТУПИК УСПОКОЕННОГО СЕРДЦА”

## УХОДЯЩИЙ ПАРИЖ

Можно утверждать, что среди всех очаровательных, стареньких переулков и тупичков Парижа нет более заманчивого и интересного, чем этот.

Он очень мал. Так мал, что не ищите его на карте. Он называется романтически — “Тупик Успокоенного Сердца”. Впрочем, это название не соответствует действительности. У людей, населяющих этот тупик, сердце как раз не успокоенное.

В ветхом тупичке всего-навсего два дома, но из них интересен только один, старый дом, на дворе которого стоят древние, старинные ателье. Разумеется, что в Париже, где, вооруженная кистями и палитрами, работает сорокатысячная армия художников, — множество ателье. Но эти двадцать ателье особенные: во всех них вот уже больше года отключены газ и электричество, а несмотря на это жизнь их хозяев бьет ключом.

Тут что ни ателье — новелла Мопассана, рассказ Эдгара По, сонет Бодлера или даже полицейский роман. В двадцать ателье тупичка съехались по железным дорогам, приплыли по морям и океанам, пришли пешком люди множества национальностей из 14 государств. Кого тут нет! Кроме французов — итальянцы, немцы, англичане, голландцы, русские, аргентинцы, бельгийцы, бразильцы, шведы, китайцы, негры, индусы. А самое замечательное то, что все эти разноцветные и разнохарактерные люди живут одним и тем же — мечтами.

Конечно, главным персонажем тупичка “Успокоенного Сердца” является хозяйка всех этих построек, примечательная женщина, мадам Лягарсон. Сколько ей лет, сказать не может никто, но на глаз, вероятно, за семьдесят, хотя мадам Лягарсон чрезвычайно энергична. Она правит этой “республикой” сурово,

ходит по двору, позванивая связкой длинных ключей и отличается неслыханной скупостью, почему, вероятно, и похожа на переодетого женщиной Плюшкина.

Железно правит она своими жильцами. Десятилетия вырабатывали у мадам Лягарсон целую систему. Сначала она неплатящих увещевает, потом укоряет и, наконец, когда ничто не действует, вступает с неплательщиками в бой, начиная кричать так, что жильцы всех ателье, всех национальностей выбегают на двор. Но как ни кричит Лягарсон, в таких случаях дело все-таки кончается "красной розой".

Незнакомые с нравами республики "Успокоенного Сердца" не поймут, при чем тут "красная роза"? Но это древний обычай туземцев этого острова: когда мадам Лягарсон уже не переносит ушедшей далеко за 1000 франков неуплаты за ателье, тогда, после скандала, боясь появления ажанов, жилец ночью, убегая, по традиции оставляет на столе для мадам Лягарсон "красную розу" в стакане или в консервной банке. Этот последний привет означает, что беглец никогда уже не появится на горизонте тупичка "Успокоенного Сердца".

Но было бы преувеличением сказать, что в этой республике состав граждан очень текуч. Вот, например, старожил и одна из самых страстных мечтательниц, модель всех художников тупичка — Лилиан. Когда-то блиставшая, но давно закатившаяся звезда Монпарнаса живет тут, кажется, бесконечно. Ее знают все под названием "гитаны", но никто не говорит с Лилиан без сдерживаемой улыбки потому, что эта испанка принадлежит к особой и удивительной породе мечтателей.

У Лилиан один только костюм — яркокрасная шаль в желтых цветах; в ней "гитана" мелькает по тупичку, выбегает на улицу и все эписьеры знают, что у Лилиан есть страсть рассказывать о себе без конца хотя бы первому встречному. О том, что она дочь испанского гранда, несметного богача Испании, но гранд-отец преследовал Лилиан преступной любовью и шестнадцати лет "гитана" бежала от гранда в Париж на Монпарнас с любовником, конечно, знаменитым испанцем-анархистом. Иногда этот вариант меняется, Лилиан смеется над теми, кто называет ее дочерью испанского гранда. Тогда она становится незаконной дочерью недавно умершего короля и, конечно, знамени-

той испанки-танцовщицы. Тогда Лилиан горюет, что злые придворные не пускают ее приехать в страну, где умер король. Иногда Лилиан бывает и племянницей Муссолини и ждет перевода в несколько десятков тысяч лир.

И к рассказам, и к мечтам, и к экстравагантностям Лилиан все художники, жители тупичка, уже давно привыкли. Никто не удивился даже, когда в душную парижскую ночь, после того, как писал ее художник-индус, из тупичка “Успокоенного Сердца” показалась освещенная луной и фонарями голая женщина в накинутой на плечи испанской шали. Электричество и газ давно не горят в ателье Лилиан, но она этого не замечает и каждый вечер из ее ателье несутся звоны гитары, песни и такты танца. Дочь испанского гранда танцует.

А прямо против ателье Лилиан живет Мора. К этой женщине бегут все обитатели тупика выложить ей свои трудности, перехватить франк на кафе-крем или даже рассказать про любовную неудачу. Мора — “сердце” двадцати ателье. Она — пруссачка из Бранденбурга и в Берлине ее знало все “Романишес Кафе” — и все ночные богемные кабачки. Ее рисовал Гросс, рисовал Дикс. Мора — тоже модель, но в противоположность костлявой брюнетке Лилиан, пухлая немецкая блондинка.

И у Мора, конечно, отключены электричество и газ, но Мора не оставляет “красной розы” несмотря на то, что ей очень трудно — она не одна. У нее в ателье — пять кошек, две собачки “папийон”, и муж, шафранный китаец Мики. В этом ателье цветут самые страстные, самые безудержные мечты всего тупика. Это даже, в сущности, не мечты, а твердая уверенность, что скоро, завтра, быть может, — послезавтра, весь мир узнает, что самым крупным, непревзойденным драматическим актером Европы является актер Мики, высоколобый, с горячими узкими глазами, словно выточенный из желтеющей слоновой кости китаец.

Только для этой мечты и голодают в крошечном ателье Мора, Мики, пять кошек и две собачки “папийон”. Эта мечта привела сюда, в Париж, в тупичок “Успокоенного Сердца” из далекого Индокитая гибкого гуттаперчивого шафранного аннамита. Мики с ранней юности знал, что именно тут, в Париже, его ждет гремящее, необычайное счастье и слава. И вот 10 лет он живет с Морой. И, конечно, завтра, может быть, — послезавтра, почта-

льон принесет то самое письмо, после которого начнутся — лавры, счастье и слава на подмостках "Комеди Франсэз". В это даже, кажется, верит мадам Лягарсон, давшая Море керосиновую лампу после того, как ни во что не верящий "электрический" чиновник наложил в ателье Моря свинцовые пломбы.

В ателье No 5 рядом с Морой день и ночь звенят гитары только что вселившихся художников-мексиканцев. Они так поют песни гаучо, что коллеги по профессии во всех ателье бросают кисти, палитры и, торопясь, выходят на двор, чтобы лучше услышать звонкую музыку Мексики. Мексиканцы — счастливые: полгода они могут жить до дня "красной розы" и полгода петь песни гаучо.

Слушать их выходит и бородатый художник Аркадий Петрович. У себя он тоже поет, но другое — "Бублички" — низким басом. И от его пения сосед, оливковый индус, приходит в нервное состояние, ибо, работая, любит тишину. Ателье индуса — самое живописное изо всех двадцати, потому что, принадлежа к высшей касте браминов, художник вот уже год как не подметает, ибо ему это запрещено религией.

Конечно, в тупичке "Успокоенного Сердца" происходят иногда и несчастья, когда вдруг у кого-нибудь обрываются мечты. Такое несчастье произошло на прошлой неделе с художником-немцем Фогельзангом. О чем мечтал этот полный, приземистый человек в очках, с лысым черепом, годами писавший один и тот же пейзаж — стену соседнего дома в оранжевых плакатах — никто не знал. Фогельзанг был нелюдим, но все-таки его сосед, художник-негр не ожидал, чтобы вдруг из ателье Фогельзанга повалил клубами внезапный дым. Хорошо еще, что мадам Лягарсон оказалась тут же, на дворе. Она стремительно бросилась к Фогельзангу, но, увидев то, что за свои семьдесят лет ни разу не видела, мадам Лягарсон остолбенела на пороге.

В ателье Фогельзанга на каменном полу разгорался костер и возле него полуголый Фогельзанг пританцовывал со странной улыбкой и жестах. При виде мадам Лягарсон, от которой он месяцами прятался, готовя "красную розу", Фогельзанг на этот раз ничуть не смутился, а напротив, улыбаясь и кивая, проговорил:

— Viens, viens, cocotte, будем танцевать вместе, разве ты не

видишь летящих в небо голубых ангелов?

С последними словами Фогельзанг прыгнул к мадам Лягарсон, подхватывая ее и унося в странном танце. Но мадам Лягарсон вырвалась от сумасшедшего художника и, выбежав на двор республики, закричала: — На помощь! На помощь!

Она кричала до тех пор, пока в тупик не явилась полиция и улыбающегося, радостного художника Фогельзанга не увезли в карете в довольно-таки неприятное учреждение.

Второе подобное происшествие было со старухой-скрипачкой, парижанкой мадам Фурмон. Это была злая, согнутая к земле старуха, с художниками она никогда не разговаривала. Только мадам Лягарсон удостаивалась ее рассказов о том, как когда-то в юности мадам Фурмон соперничала с Сесиль Сорель и только пустячный случай, мерзкая интрига сделали так, что Сорель стала знаменитостью, а жизнь мадам Фурмон сорвалась и покатила вниз, под уклон, а ведь жизнь такая короткая и такая быстрая штука, что вот уже мадам Фурмон на старости лет играет по дворам и поет унылые песни, пересчитывая медные су.

В солнечные дни старуха-скрипачка ложилась всегда на циновке посреди двора, выставляя на солнце оголенную, синюю, похожую на телячью тушу большую ногу. А когда три солнечных дня подряд старуха не вышла и не ответила на стук в ее ателье, жильцы взломали двери и нашли отравившуюся старуху мертвой, полусвесившейся с грязной измятой кровати.

Но эти грустные истории сорвавшихся мечтаний — редки. И они не уничтожают общей веселости и привольности тупика. Напротив, что ни день, тут расцветают цветы надежд. И в наше тяжелое время надо бы было просто установить паломничество в этот крохотный тупичок, чтобы люди там научились мечтать о счастье, которое придет совершенно внезапно либо в синем мундире почтальона, либо в виде улыбающегося знакомого.

А пока что несутся песни гаучо и Аркадий Петрович поет «Бублички» и друг к дружке бегают голландцы, немцы, французы, русские, китайцы, негры, чтобы перехватить завалявшийся франк на очередной кафе-крем. Загляните в этот тупичок мечтателей — может быть, вы проходите мимо него каждый день — он в четырнадцатом аррондисмане.

Эрг

(Из собрания Ренэ Герра, 1934 г. Париж)

## ХРИЗАНТЕМЫ

На станции метро Мариенплац подошел поезд, и пассажиры хлынули из вагонов. Навстречу толпе шел очень высокий, пожилой и совершенно седой мужчина с блаженной улыбкой на лице. Его толкали и тянули назад, он не обращал внимания, как мощный буксир в большой волне упорно пробирался вперед и смотрел в хвост толпы. Там шла немолодая, небрежно одетая дама, опустив плечи и голову; казалось, она очень устала.

Маргарита Павловна увидела над толпой седую голову и подумала; "Как похож. Сейчас Остапчук определенно такой же седой. Всюду тебе грезится Остапчук". Опустила голову — нечего засматриваться на незнакомых мужчин.

Она поравнялась с мужчиной, пытаясь его обойти, он загордил дорогу и сказал:

— Ма-а-ра!

Женщина подняла голову и вспыхнула до самых корней курчавых рыжих волос.

— Нет! Остапчук! — женщина отступила назад. Мужчина схватил ее за руки.

— Остапчук! — громко говорила женщина, — Остапчук! Нет! Так не бывает! Ты?

Мужчина пожал плечами: как видишь, и сам не знаю.

Толпа схлынула, опустели скамейки вдоль стены. Они сели на скамейку, минуту глядели друг на друга и, как по команде, вдруг начали хохотать.

Остапчук!

— Он самый! Не поверишь? Я ведь приехал тебя искать.

Да кто бы поверил! Остапчук! Ох-ха-ха-ха!

А ты как здесь? Ты же в Израиле.

Нет, я здесь, — говорила сквозь смех женщина и осторожно, чтоб не размазать косметику, убирала слезы с ресниц.

Проходили поезда один за другим, толпа заполняла перрон и исчезала, их толкали, наступали на ноги, а они хохотали.

Мужчина порылся в бумажнике и показал билет:

Вот, завтра улетел бы! — смеясь, говорил он.

Не вижу без очков. Куда?

В Израиль.

Зачем?

Искать.

Что искать?

Не что, а кого. Тебя.

Ну, комедия! Да как ты узнал, что я здесь?

Я и не знал. Я считал, что ты в Израиле.

Но откуда ты узнал, что я эмигрировала?

Встретил старшего техника Коробейкину.

— Дусю? Как она?

— Да хрен с ней. — Мужчина сжал руку женщины, Больше я тебя не отпущу.

— Ах ты, хохмач с Молдаванки, у меня через полчаса сме-на. Я очень рада, что встретила тебя, Остапчук. Ты третий из наших здесь. Володя Гринбаум в Торонто, женился на дочке фабриканта. Ромка Шкильник...

— Она рада! Да я весь мир объехал за тобой! Мара! Чо ж ты не спрашиваешь, как я.

Да, как ты?

— А я вот как. Я купил путевку в Японию, в Токио напоил своего топгуна, вместе с ним "случайно" попал в посольство ФРГ и попросил политическое убежище. И топтунишка мой тоже. Написал в Вену в ХИАС, узнал, что ты в Израиле. Ждал азила, хотел нагрнуть к тебе сюрпризом.

А как Лида?

А что Лида? Все в своем репертуаре, все двадцать пять лет.

У тебя как будто дочь была?

- Дочь я замуж отдал. Теперь вольный казак.
- Отпусти, пожалуйста, смотрят. Чудак, старую бабу за ручку держит.
- Отпусти тебя, ты снова удерешь.

В этом году правительство оказало связистам большую честь — День Связи им разрешили праздновать во Дворце Съездов и даже кое-кого из связистов посадили в президиум рядом с вождями. Правда, вождей выделили завалящих, ни фамилий их никто не знал, ни физиономий.

Остапчук прятал в кулак зевок: скука, ложь, глупая похвальба. Он с душевной тоской оглядывал зал, людей, портреты, знамена, толстые шеи президиума. Все надоело.

Объявляе нового оратора. К трибуне шла женщина, черный костюм, белый воротник, шла уверенно, темная ткань скрывала полноту.

Что-то показалось знакомым, где-то кольнуло, нахлынуло далекое, забытое, на мгновение пахнуло чем-то счастливым, свежим. Остапчук устало прикрыл глаза. "Где я ее видел?" — подумал он. И сразу забыл, уснул. А что было еще там делать? Все говорят одно и то же.

Передовичка весело читала по бумажке, ей в необходимых местах дружно хлопали. И вдруг Остапчук узнал голос. Да ведь это старший техник Коробейкина! Исчез этот мерзкий дворец, он увидел себя в поле, бесконечном и цветущем, под ногами — ромашки, жарит солнце, звенят жаворонки. И рядом — Мара Павловна.

— Спасибо тебе за ту чистоту отношений! Когда мне говорили: "Все на земле грязь", я думал: "Много вы знаете!" и вспоминал тебя. Связи заводились легко. Партнерши не скрывали, что они замужем. В конце концов я пришел к убеждению, что все женщины лгут и, как кошки, похотливы.

— Пардон-мерси!

— Ты слушай! Но вот, Дуся сказала мне, что ты так и не вышла замуж. Я спросил: "Что, живет, как в монастыре?". "Откуда мне знать?" — ответила старший техник Коробейкина. И я подумал: "Жить без лжи, чтоб тебя не обманывали, чтоб и тебе не было необходимости лгать. И чтоб в этом даже и тени

сомнения не возникало". И вот, мадам, с тех пор вы все время меня преследуете. И я ничего не мог с этим поделать. Тут-то я и начал вынашивать планы измены родине. Я думал: "Жизнь прошла, осталась старость. Старость возле Мары — что может быть лучше!"

Ну и фантазер! Да ты на второй день сбежишь.

Не сбегу. Ручаюсь головой!

Как Лев Николаич скажешь: — "Не она!"

Не скажу. Знаю, что именно *она*.

Да я тебя храпом оглушу.

Кто кого, посмотрим.

Что, хочешь устроить богадельню? Да отпусти руку, я не убегу.

Знаем мы вас.

От звука его голоса, — она его не забыла — у Маргариты Павловны кружилась голова.

Ты все такой же хохмач. Придумал же!

— На том и держимся! Я вполне серьезно, дорогая.

— Я ленива, Остапчук. Я не умею готовить. Я питаюсь одним чаем. Скажешь, грешу против закона Ломоносова? Так я же покупаю к чаю пачку печенья и брикет масла.

А рестораны на что?

— Ну, рестораны слишком дорого.

— Вот, пожалуйста, уже начинает экономить на собственном муже.

— Я не люблю уборку. Я все забываю.

— Эка важность. Найдем пуцфрау. А готовить, так я, например, сам люблю. Таких варэникив тобі смачных наготую, язык проглотышь. Нет? Ну по Молоховцу. У матери был, мы читали в голодное время и ухахатывались. Один раз перед октябрьскими у нас выкрали поросю, остались мы при пиковых интересах, читаем у Молоховца: "если к вам пришли гости, и вам нечем их принять, спуститесь в погреб и возьмите баранью ногу". Ма-а-ра! Все будет о-кей!

— Не смехи, Остапчук! Зубы пластмассовые, глаз стеклянный, парик крашенный. Невеста! Тебе что, жить надоело?

А у меня какой парик?

— У тебя! Вон какая благородная седина.

Тоже краска, чтоб девчатам нравиться. Мара, не дури!  
 У меня характер плохой.  
 Знаем мы, какой плохой.  
 Я примитивна, Остапчук, тебе скучно со мной будет.  
 Давай-давай, набивай цену.

Что ты выдумал, — говорила Маргарита Павловна, — это будет пытка, я буду стесняться каждого своего слова. Под старость-то лет такое. Только и думаешь, как бы поспокойнее прожить. Право, Остапчук, у тебя размягчение мозга.

Маргарита Павловна от волнения раскраснелась, прикладывая к горячим щекам холодную ладонь.

Я боюсь, Остапчук, тебе не угодить.

— Чушь какая!

— Мне жилось просто и легко, все давно утряслось и успокоилось. Я боюсь перемен.

Тебе и коньяк теперь пахнет клопом?

Я не пью коньяк.

Что ты пьешь?

Чай. У меня даже и кастрюли ни одной в доме нет.

Купим.

Я больна, Остапчук. Я, бывает, еле хожу.

Я буду тебя носить.

Ну, девяносто-то килограмм. Надорвешься.

Да с превеликим удовольствием!

Ты все шутишь.

Остапчук смотрит на ее лицо и не видит морщин, думает: ни фальши, ни уловок, ни кокетства.

— Ну, довольно, милая! — его голос груб, а глаза смеются.

— Из-за твоей дури не только твоя жизнь пошла колесом, но и моя. Сколько мы не виделись, ты знаешь?

Ровно четверть века, Остапчук.

— Как же ты жила?

— Как жила... Всяко. Все было. Кажется, много было хорошего, сейчас отсюда все кажется светлым. Все было... Благодарю небо, что не угодила в лагерь. После Мордасова меня устроили в проектный институт сметчиком. На одном из наших объектов был смертный случай, человека убило током. Стали

искать виноватого — посадили молодую проектировщицу, не сделала расчет защиты от токов короткого замыкания, а я по этому проекту считала смету. С перепугу я сразу же уволилась. Год была без работы. Извелась, всю семью измучила. Потом родственники устроили на телецентр, клеила пленку, хоть и числилась инженером. В Израиле, благодаря этому звуку работала на телецентре. А здесь, как у Бога за пазухой, денег много, квартира бесплатная. Только всякий интерес ко всему как-то пропал... Знаешь, кто все эти годы баловал меня вниманием? Помнишь кого называли Зайчиком Ивановичем эрказмовские дети?

— Механик?

— Представь! Каждый год восьмого марта из магазина мне приносили цветы. Я, наконец, не вытерпела, пошла, узнала. Деньги поступают из Мордасова от Льва Ивановича Белова, — сказали мне.

— Ай, Зайчик!

Мужчина вскочил, бросил через плечо: "Извини" и кинулся к проходившему в толпе молодому японцу. Вернулся:

— Ну, продолжай.

— Да что же... Нет ничего интересного, нечего продолжать. Мужчина взял обеими руками руку женщины и приложил к щеке.

Ма-а-ра! Да ведь нам снова по двадцать лет!

Смешной ты, Остапчук. Зачем я тебе, старая бабушка. Как будто я не дедушка.

Мне старики в трамвае место уступают.

Они просто молодятся.

Я вся седая.

Вот те раз! А я какой? Да какая же ты седая?

Косметика, мой милый.

Не дури, Мара Павловна! Меня старший техник Коробейкина просветила. Я ведь думал, что я тебе до лампочки. Никакой бы Лиды не было. Вся жизнь прошла впустую. А мы могли бы быть вместе.

— Не надо, Остапчук, — прошептала Маргарита Павловна, опустив голову.

— Так что довольно, милая, вставай, пойдем решать семей-

ные дела. Добром не пойдешь — понесу, схвачу в охапку, вот так.

Женщина подняла счастливые глаза.

Не фокусничай, Остапчук! Ты вспоминал меня хоть изредка?

Нет! Не вспоминал. Я давно привык, что я тебе не нужен. Я же тебе говорю, полгода назад Дуся раскрыла мне все твои военные хитрости. А ты-то была хороша! Ну и артистка!

— А я, пока жила в Одессе, все надеялась, вот где-нибудь встречу Остапчука. Когда в Ташкенте было землетрясение, Витька Пузик переполошил Одессу, сказал, что ты на монтаже в Ташкенте. Все за тебя волновались. Я звонила в министерство, говорят: ничего не знаем, среди связистов жертв нет. Володя Гринбаум потом рассказывал, что видел тебя на совещании.

— По-омню это совещание. Мы с Володей Давидовичем хорошо тогда отметились, оба ночевали в московском вытрезвителе. Он тебе не говорил?

Нет.

Я тогда страшно пил.

Почему, Остапчук?

Почему? А я знаю, почему? А что было делать? Нет, родная, в землетрус я не попал, далеко от Ташкента работал. А вот в железнодорожной катастрофе побывал. И знаешь, что меня спасло? Достижения нашей цивилизации. Да, да! Не веришь? Поезд летел кувыркком под гору, по крутому склону, я видел в окно, перед моим носом то небо мелькает, то земля. На той линии еще ходили старые вагоны, думаю, что у них большой запас прочности, современные раскололись бы сразу, как орех. Может, помнишь, в старых вагонах верхняя и нижняя полки соединялись металлической штангой. Вот я за нее и ухватился, и меня крутило, как на турнике, пока вагон летел к чертям. Из всего поезда я один вышел живой, правда, поцарапанный.

Показался японец с большой, как чемодан, сумкой через плечо. Он нес охапку хризантем, лиловых и желтых, больших, как подсолнухи.

Остапчук глазами показал, и японец положил цветы Маргарите Павловне на колени. Она оторопело смотрела на цветы, на собеседника. Наклонила голову, прижалась ухом к букету и

стала читать:

Просила я судьбу с злопамятного дня  
Храни его усердней, чем меня...

Как-это-как-это-как-это-как-эт-то?

А дальше?

Нет уж!.. Такому-то насмешнику...

Мара Павловна, да вы никак у нас поэт?

Станешь поэтом.

Как это: храни его, а не меня? Ма-а-ра, только ты одна способна на такое. Какой я был дурак! Больше уж я тебя не отпу-щу-у!

— Не отпускай, пожалуйста, Остапчук! — сказала женщина тихо, жалобным тоном, — только дай слово — надоест богадельня, ты уйдешь. Мне невыносимо думать, что я буду тебе в тягость.

— Я предлагаю такой план-минимум: ужин в аэропорту, а дальше видно будет, будут билеты — летим в Америку. В каком там у них штате женят женатиков?

Мужчина старомодно взял женщину под руку, она прижалась к нему плечом, и они затерялись в толпе подошедшего поезда.

*Э. Абросим*

## ПОБЕГ

Когда-то давно я написал рассказ о пережитом в немецком плену, тогда еще близком и недавнем: о мытарствах, голоде, холоде и побоях, выпавших на мою долю. Но, прочитав у Солженицына и других о том, как страдали миллионы людей там, в советских лагерях и на "воле" во время войны и после, у меня пропало желание жаловаться на свою судьбу. Я был счастливее многих.

Теперь я смотрю на вещи иначе. Мой рассказ о пережитом — капля в море русской судьбы.

Должен извиниться за поступки героев моего рассказа. Они были именно такими малогероическими и нетипичными.

Глубокой осенью 1942 года нас, группу советских военнопленных человек в тридцать, выгрузили на товарной станции небольшого немецкого городка Больхен. Было раннее утро. Дождь, шедший всю ночь, перестал. Холодный ветер, дувший сразу со всех сторон, качал хлипкие фигуры пленных. Простучав колодками по мокрой булыжной мостовой, мы вышли за городскую черту. Отсюда было рукой подать до большого литейного завода, дымившего высокой кирпичной трубой прямо в гонимые ветром серые облака.

За почерневшими от дыма зданиями и цехами завода, на заброшенной свалке мы увидели наше будущее жилище — зеленый дощатый барак, огороженный тщательно окруженными проволокой высокими столбами. На фоне краснокирпичного городка с острой спицей церкви и темной зеленью елочек, сбегавших с холма, пустырь и лагерь, по которому бродили человекообразные фигуры, производили впечатление злого, нечистого места. Не одна, наверное, немка пугала свое строптивое дитя этим зловещим обиталищем.

Барак вмещал более ста человек, но сейчас на двухъярусных

нарах лежало не более десяти человек из ночной смены, да бродило несколько больных. Наш приезд не вызвал ни оживления, ни вопросов. Мы с Петром заняли свободные места на верхних нарах. Мой сосед справа не спал. Он глухо кашлял и вытирал тряпкой лицо, покрытое крупными каплями пота.

В этом лагере я был новичком. А для Петра круг замкнулся: полгода тому назад из этого же лагеря он попал в лазарет, а затем — в пересыльный лагерь. Там мы оказались соседями по нарам и, будучи оба нрава тихого, небойкого, стали держаться друг за друга, развлекаясь нескончаемыми разговорами о прошлом. Вместе, не рассчитав, попали в этот лагерь чугуна, дыма и на редкость злых немцев.

А ведь могли и не попасть! Из пересыльного лагеря брали на разные работы, но мы упорно ждали своей мечты — бауэра. Крестьянская работа хотя и тяжела, но зато с голоду не околеешь. Просчитались! Оставшихся пленных погнали не к бауэру, а на литейный завод, в пополнение тающей рабсилы. Завод выжимал из пленного все возможное и выбрасывал, как шлак. Следующим этапом, нередко этапом последним, был лазарет.

Однако, как рассказал Петр, не все команды были одинаково плохи. Команды, работавшие вне завода, на станции или в лесу, могли теми или иными путями пополнить недостаточное питание. По тяжести работы не были равны и заводские команды. Для нас, новоприбывших, все решит завтрашний день.

После пересыльного лагеря еда показалась даже достаточной. Утром — теплый эрзацкофе и фунтовый кирпичик хлеба на четверых, плюс кусочек маргарина или колбасы. В обед — большой черпак брюквенного супа и 3-4 картофелины. Вечером, как обычно, пустое кофе. Ночная смена в полночь получала еще черпак супа.

Вначале нам как-будто повезло. Благодаря Петру, знавшему рабочие команды и мастеров, мы пристроились на сносную работу: подбрасывать песок формовщику. Тут можно было и постоять, опершись на лопату, когда отсутствовал мастер или наиболее злобный немец. Работать приходилось по двенадцать часов, но расход сил был терпимым.

Полоса удачи внезапно оборвалась. Не прошло и недели, как появился главный мастер и, ткнув пальцем в меня и Петра,

сказал: "Ты и ты — пойдем!". Идти было недалеко — к мастеру команды разбивальщиков, работавших ночью в том же цеху. Команда пользовалась дурной славой. Ночная нормированная работа. Мастер легко пускал в ход лопату по спинам пленных. Работа начиналась после ухода дневной смены с переворачивания тяжелых, еще дымившихся форм. Глухо ударившись о цементный пол, форма разваливалась на раму, пышащую жаром отливку, спекшийся, почерневший песок. В цеху стояло облако душливого сернистого газа.

Чугунные детали крюками стаскивались в один угол цеха, железные рамы — в другой, а песок дробился на специальных машинах, похожих на наши веялки для очистки зерна.

Работали парами. У каждой пары было свое задание. Если пара не успевала кончить со своей частью песка, — она лишалась обеда. Норма заедала, песок приходилось кидать непрерывно. К полуночи полагался долгожданный получасовой перерыв и черпак брюквенного супа.

Утром, пошатываясь, мы брели в бараки и, проглотив пайку хлеба, не раздеваясь, падали на нары. А в девять часов лагерный полицейский истошным голосом орал: "Подъем!" и дергал пленных за ноги. Ночной смене полагалось, кроме того, убирать барак, уборную и двор. Пока вымоешь пол, подметешь посыпанный бурым шлаком двор — подходило время обеда. Съешь обед — и можно поспать. В пять часов надо вставать, собираться на работу. И так — шесть дней в неделю. В воскресенье сами немцы не работали, но пленным давали отдыхать только до обеда. После обеда гнали на станцию разгружать вагоны с песком.

Если в воскресенье была хорошая погода, сидели рядком у барака. Дремали, смотрели через проволоку на недалекий лес. Говорили о фронтах, о событиях на родине, о жизни немцев. Иногда вспыхивали споры, но и быстро обрывались. Усталость брала свое.

Охраняли нас посменно двое солдат. Один — молодой, с нашивками обер-ефрейтора, ходил, тяжело припадая на правую ногу. Он был ранен, по слухам, на Восточном фронте. Его опасались. Второй был мал ростом и немолод. Ходил, переваливаясь с ноги на ногу, походкой потомственного пахаря. Его одолевали несложные, но близкие всякому человеческому сердцу

мысли о хозяйстве, жене и детях. Когда вблизи не было других немцев, он останавливал первого попавшегося пленного и, расплываясь в улыбке, показывал карточки жены и детей. Этот немец считал нас за людей.

Кончался 1942-й год. Черный диск на стене цеха, хрипло откашливаясь и играя стальными нотками голоса, уверенно подводил итог: Сталинград — капут. Но скоро, опережая сводки, среди пленных поползли слухи — в Сталинграде немцам капут. Русские не радовались: кончится война, французы и англичане поедут домой героями, а нас к ответу — землю-то топчем незаконно. Пленному Ивану положено лежать в сырой земле. На этом Сталин и Гитлер сошлись.

Немцы тяжело переживали неудачи на фронте. Бегали с каменными лицами к громкоговорителю слушать сводки. А в тот день, когда сообщили о конце боев в Сталинграде и заиграл траурный марш, никто не работал.

Днем и ночью все чаще выла сирена. Союзники бомбили фабрики и заводы, а еще чаще — жилые городские кварталы. Многие немецкие рабочие замкнулись в себе, перестали замечать пленных. Некоторые озлобились и старались всеми способами нам досадить. Но были и такие, кто вдруг заметил, что пленные — тоже люди.

Борясь с усталостью и сном, я продолжал учить немецкий язык. Я уже мог разбирать разговорную речь, еще легче было читать подобранные обрывки газет и журналов. Но с немцами разговаривать опасался, потому что не хотел стать переводчиком. В условиях лагерной жизни — бесправия пленных и всемогущества любого немецкого солдата — переводчик слишком часто превращался в прислужника немцев, а не защитника своих товарищей.

Тяжелая работа и скудное питание медленно, но верно истощали организм. Каждое движение, особенно под утро, становилось безмерно тяжелым. Хорошо было французам. Французский пленный получал немецкий паек, помощь от Красного Креста и посылки из дому. У нас в ночной смене был такой. Он работал играючи: подденет лопатой песок, подбросит высоко в воздух и, лихо перехватив на лету, сильным броском отправит в кучу. Мы смотрели на француза почти с ужасом: какая трата сил, сколько

лишних движений!

Мой напарник Петя стал сдавать. В начале смены он еще бросал песок в обычном темпе, но скоро его движения замедлились, он начинал покачиваться, а затем тяжело валился на пол. Звать немцев было бесполезно. Их интересовал только песок. Я оттаскивал Петра в сторону, в укромное место. Прележав полчаса, он приходил в себя. Становился на колени, упираясь руками в пол, тяжело поднимался на слабых своих ногах. В конце-концов Петя попал в лазарет. Снимая со станка тяжелую форму, он уронил ее себе на ногу. Корчась от боли, сел на пол и схватился за ногу. Собравшиеся вокруг немцы стали кричать на Петра, а потом бить. Но Петр не вставал. Один из немцев сказал: "Подождите, он сейчас у меня побежит!" — Достал бутерброд, отошел на несколько шагов и позвал: "Комм, Иван, комм!". Петру от боли было даже не до хлеба. За ночь ногу разнесло, как бревно, и его отправили в лазарет, где он долго лежал — заживала треснувшая кость.

Рабочие команды таяли за счет ослабевших и больных. Самый большой отсев был в нашей ночной смене. Мне стало ясно — рано или поздно очередь за мной. Был только один выход: попасть в лазарет еще не доходягой. Там отдохнуть, набраться сил. Нужен был несчастный случай, вроде Петиного.

Сначала решил поранить левую руку. Вбил в столб нар гвоздь без шляпки. План был прост: слезая с нар, зацепиться мягкой частью руки за гвоздь. Большая рваная рана, наверняка пошлют в лазарет. Но почти тотчас же стали одолевать сомнения. Поверят ли немцы в несчастный случай? Ведь за умышленное самоубийство вместо лазарета легко попасть в концлагерь. Гораздо вернее пораниться на глазах у немцев в цеху.

Новый план составился сам собою. Начал с того, что камнем расколочил колодку на левой ноге, а потом связал ее тряпкой. При ходьбе половинки колодки разъезжались, я картинно хромал и спотыкался. Вечером, медленно прихрамывая, я шел по цеху вдоль крайнего ряда форм. Вот немец залил расплавленный чугун в формы. Чугун быстро темнел, но форма еще дышала жаром. Я сказал себе: "падай на форму!" Прощел мимо раз, другой, третий. Трудно решиться! Наконец, стиснув зубы, прижал к груди левую руку и упал на форму. Что-то зашипело, вспыхнуло

пламя, по руке резанула острая боль. Не помню, кричал или нет; сбежались немцы и пленные, меня подняли, повели в перевязочную. Рукав пиджака сгорел, у кисти был глубокий ожог; черная кровь ручейками сбежала по пальцам и капала на пол.

В перевязочную пришел сменный мастер — пожилой немец в бархатном пиджаке и с трубкой в зубах. Как будто все шло по плану. Но вдруг один из немцев сказал:

— Это он, швайн, нарочно, чтобы не работать. Я видел, как он вертелся вокруг формы!

Мастер нахмурился, мельком глянул мне в глаза и чуть дернул плечом. В его взгляде, как мне сначала показалось, я прочел глубоко запрятанное сочувствие. Вынув трубку изо рта, он сказал:

— Ах так! Что же, будешь работать две смены подряд, а там посмотрим!

Сначала, очевидно, от шока, кидать песок показалось не так трудно. Работал, налегая на правую руку. Но скоро стало хуже. Ожог нестерпимо болел. После двух смен мне дали отдыхать трое суток.

Перевязки делали ежедневно. Через две недели рана подсохла и зарубцевалась. Теперь мои помыслы переключились на побег. Однажды по дороге в барак я сказал Петру:

— Надо бежать, Петя, иначе пропадем! — Петр вздохнул и сказал, как-то нехотя:

— Да, бежать надо!

Но на следующий день передумал:

— Знаешь, не могу я бежать, нет у меня сил решиться. Да и куда бежать-то? В снег, в холод! Здесь хоть доползешь до нар, отдохнешь, отогреешься!

Я не стал его уговаривать. В таком деле человек сам должен решать. Может быть, он и прав. Но я уже загорелся, будь что будет!

Куда бежать, мне было совершенно ясно. О России нечего и думать — чтобы туда пробраться, надо пройти всю Германию и Польшу. Зато до французской границы — рукой подать, какая-нибудь сотня километров, а то и меньше. А там французы помогут добраться до партизан-маки, о которых мы слышали от французских рабочих и военнопленных.

Теперь надо было найти товарища. Одному в бегах трудно.

Стал приглядываться к пленным ночной смены. Остановил свой выбор на среднего роста пареньке, на вид не старше семнадцати, хотя было ему уже за девятнадцать. Москвич. Звали Виктором. Отец — инженер-строитель; ту же профессию мечтал выбрать и Виктор. Когда немцы подходили к Москве, Виктора записали в ополчение. Оружия не дали, не нашлось. Уже на фронте, под Москвой, политрук, проходя мимо, бросил:

— Убьешь немца, возьмешь винтовку!

Чем убить, не уточнил, а Виктор не спросил. Видимо, лопатой, которой копал окопчик.

Немецкая артиллерия постреляла немного, и на горизонте показались танки. Виктор сел на дно окопчика и закрыл голову руками. Сидел до тех пор, пока не встал над ним немец и не рявкнул: "Раус!"

В плену Виктору пришлось туго. Уже опухшего, вместе с многими, пережившими страшную зиму 41 года, его привезли в Германию на работы.

Я долго прикидывал, как начать разговор. И однажды догнал Виктора после работы, по дороге в лагерь, когда пленные шли как попало, а мастер ночной смены оказался позади. Тихо спросил:

— Устал, небось Виктор? Хочешь, поищем выхода вдвоем?

Виктор мельком глянул на меня:

— Я что, я могу. Как решишь, так и будет!

Мы прекрасно поняли друг друга.

Английские самолеты пролетали над городом почти регулярно, около полуночи. Тоскливо, протяжно выла сирена. Городок замирал, прижимался к земле. Гасли все огни. Входы и выходы наружу запирались. Немцы и пленные собирались у доменной печи, где было достаточно света и тепла. Немцы смотрели в потолок, качали головами, ели свои бутерброды. Пленные хлебали суп, загодя принесенный в бачке.

В единственной уборной, которой нам разрешалось пользоваться, было большое окно, выходившее в заводской двор. Форточка всегда была открыта, ее не закрывала наружная решетка. До форточки можно было дотянуться, встав на подоконник. Через эту форточку мы и решили бежать. Сторож и заводской за-

бор нас не пугали. Сторож, глубокий старик, ночью запирает ворота и уходил дремать в свою сторожку. Забор был в рост человека, сетчатый, через него легко можно было перелезть.

Стояли безлунные ночи, самое подходящее время для побега. Вечером я попрощался с Петром. Пошел на работу, но было уже не до работы. В полночь, как по расписанию, завывла сирена, погас свет. Сели есть. Против воли пробирала нервная дрожь. Глянул на Виктора, а он мне глазами говорит: "Иди, я не подведу!" Попросил у немца разрешения помыть миску. Тот был занят разговором, безразлично махнул рукой.

Через темный цех, ощупью, я пробрался в уборную.

Осмотрелся, прислушался — никого. Осторожно, чтобы не разбить оконное стекло, просунулся в форточку и упал в неглубокий снег.

Не прошло и трех минут, как из форточки вывалился Виктор. Пригнувшись, мы побежали к забору. Перелезли. На дороге — ни души. С полчаса бежали по краю леса, пока не выскочили на вспаханное поле. Вдруг ясно услышали собачий лай. Всполошились было, думали, что ищейка. Но это в соседней деревне лаяла собака.

Привалы делали короткие, хотели уйти как можно дальше. Откуда только брались силы! Глотали снежные комья и — дальше, дальше! Хотелось дойти до настоящего леса, там теплее. Бежали мы без шинелей, побоялись одевать, когда шли в уборную. Пока бежишь — тепло, а остановишься — под тонкий военный, выдавший виды пиджак начинает забираться холод.

На востоке высоко стояла яркая утренняя звезда. Посветлело. Пора было искать убежище. Проскочив еще одну шоссеиную дорогу, мы поднялись на небольшой вспаханный холмик. Там стоял сарайчик и вокруг валялся какой-то инвентарь. В сарайчике, вероятно, солома или сено, там можно спрятаться и передневать.

Подошли, потрогали дверь — открыто. Вошли. Показалось даже слишком тепло. И вдруг в двух шагах от нас кто-то спросил по-немецки:

— Франц, это ты?

Мы застыли. Тот же голос, но уже с ноткой страха повторил:

— Франц?

Нам бы следовало бежать, но ноги так и приросли к полу. Хлопнул затвор винтовки, и тут же зажегся свет. Мы оказались в солдатском бараке..

Солдаты повскакали с коек, обыскали нас, посмеялись над нашей "удачей". Минут через двадцать пришел конвоир и забрал нас.

Уже рассвело. Конвоир вел нас по шоссе. Он был зол, что-то бормотал себе под нос и то и дело старался наступить сапогом на пятку или ударить по щиколотке. Так, подпрыгивая, как испуганные куры, мы дотащились до какой-то деревни. Там нас посадили в грузовик и привезли в лагерь военнопленных в незнакомом городе. Посадили в закуток без окон. Есть не давали. Ночь была холодной. Чтобы развлечься и досадить, стороживший нас солдат заставлял делать приседания. Но это занятие ему быстро надоедало, и он садился дремать на своем стуле. Мы тоже дремали, сидя на полу и прижавшись друг к другу спинами. Очнувшись, солдат вставал, просовывал через решетку штык и снова заставлял нас делать приседания.

Утром конвоир привел нас в какое-то учреждение. Из обстановки здесь были только большой письменный стол, шкаф с бумагами и два стула. Над столом висел большой портрет Гитлера. Фюрер взирал на нас самодовольно, будто говорил: "Ага, попались!" У нашего фюрера взгляд был кошачий, подкрадывающийся.

Отворилась дверь и вкатился быстрый в движениях, пухлый чиновник. Он сел за стол, положил перед собой чистый лист бумаги и начал допрос:

— Как звать?

Мы сказали.

— Откуда бежали? Почему?

На эти вопросы у нас был один ответ:

— Не понимаем!

Чиновник отворил дверь, приказал:

— Позвать переводчика!

Минут через двадцать пришла миловидная девушка в белом шерстяном платке и потертом черном ширпотребовском паль-

то. Держалась она сухо и с достоинством. Чиновник, секунду подумав, указал ей на стул. Девушка села, спустила на плечи платок, поправила волосы. На вид ей было года двадцать два-три.

Время от времени она украдкой смотрела на нас. Глаза у нее были серые, жалостливые.

Снова начался допрос.

— Почему бежали? Как бежали? Кто помогал?

Девушка переводила не совсем так, как мы отвечали. И повторяла нам: — Вы не бойтесь, я знаю, что им говорить!

Так, вопрос, почему бежали, она перевела:

— Были голодны и шли жаловаться на плохое обращение!

Эти слова произвели подобие улыбки на лице чиновника: шел ягненок жаловаться волку...

Когда немец на минуту вышел за бумагой, девушка снова стала нас утешать, повторяя:

— Все будет хорошо, все уладится!

Но когда немец вернулся, запас мужества у девушки иссяк. Она плакала. Слезы лились так, что скоро промок рукав пальто, которым она их вытирала. Эти неутешные слезы, казалось, могли растопить каменное сердце. Виктор моргал глазами, по его щеке покатилась первая слеза. Чиновник завертелся на стуле и прекратил допрос. На лице его было написано глубокое презрение к плачущим унтерменшам. Он дописал что-то и ушел. Теперь мы стали утешать переводчицу. Я спросил ее имя.

— Аня... Киевская.

Когда чиновник вернулся, Аня бросилась к нему и, унижаясь, стала просить разрешения покормить нас. Чиновник подумал и отказал. На прощанье мы сказали Ане только одно слово: "Спасибо!"

Когда нас привезли в наш городок, я сказал Виктору:

— Ну, Виктор, теперь держись!

Но, как оказалось, держаться пришлось мне.

Встречали нас оба охранника в полном вооружении. Обер при револьвере и со штыком у пояса. Повели лесной дорогой. Как только вошли в лес, обер накинулся на меня с криками и руганью. Ему не терпелось свести со мной счеты:

— Я тебя, подлеца, давно приметил! Думаешь, не знаю, что

ты был комиссаром! Работать не хочешь, только мутишь других!

Он ударил меня ладонью по уху, потом по голове. Я закрыл голову руками. Скоро обер выдохся, побледнел и покрылся потом. Виктору повезло, ему только показали кулак.

В лагере нас заперли в кладовую в конце барака. Уходя, обер пообещал:

— Будете сидеть, пока не подохнете с голоду!

Наутро, с колодками на ногах, нас гнали на вокзал...

*Н. Скад*

В аду кромешном злоюки злобствуют  
(Мы улыбнулись равнодушно),  
Льстецы и подлецы там рабствуют.  
Темно и холодно и душно.

А кто в чистилище — раскаиваются,  
Так огорчаются бессильно,  
Всё вспоминают и расстраиваются,  
Приносит ветер снег обильный.

А наверху, на райском облаке,  
Два праведника почивают:  
Врачи и сестры в райском облике  
Наш теплый сон оберегают.

Увы и ах! Мы просыпаемся:  
Загробный мир нам только снился.  
Он не такой. Пора, прощаемся:  
За нами проводник явился.

И лодочнику — привидению  
Мы дали медную монету,  
Когда в обратном направлении  
Переправлялись через Лету.

*Игорь Чиннов*

## ИГОРЬ ЧИННОВ — ДЖОН ГЛЭД ИНТЕРВЬЮ

*Игорь Владимирович, я думаю, мы начнем с вопроса о том, как Вы начали увлекаться поэзией и писать стихи.*

— Я увлекся поэзией и начал писать стихи еще студентом юридического факультета в Риге, но первый мой сборник "Монолог" вышел в Париже в 1950 году в издательстве "Рифма". "Рифмой" этой заведовал Сергей Маковский, в прошлом — редактор знаменитого журнала "Аполлон". Когда эта моя книжка вышла, Объединение русских писателей в Париже устроило обсуждение, на котором выступали Георгий Адамович, друг и ученик Гумилева, член "Цеха Поэтов", а также Георгий Иванов и еще целый ряд людей. И сам Сергей Константинович Маковский, который потом этот свой доклад напечатал в ньюйоркском журнале "Опыты", в первом его номере.

Я запомнил и другой вечер в Париже посвященный Пушкину. Выступали Иван Алексеевич Бунин, Алексей Михайлович Ремизов, Борис Константинович Зайцев (потом он был председателем другого вечера, моего вечера, когда я приехал в Париж спустя восемнадцать лет после вот этого, пушкинского). Я прочел стихотворение о Пушкине, специально написанное.

Мой следующий вечер в Париже состоялся в 1970 году. Доклады о моих стихах читали Георгий Адамович и Владимир Вейдле, тоже человек "Серебряного века". Выступила со словом обо мне Ирина Одоевцева, ученица Гумилева, член "Цеха Поэтов", говорил Юрий Константинович Терапиано, который постоянно писал обо всех моих книгах в газете "Русская Мысль". Когда я вернулся в Париж в 1971 году, через год, не было в живых ни Адамовича, ни Зайцева. Мне было грустно. В Париже я прожил очень долго, примерно 10 лет. Париж до сих пор для меня почти родной город.

*Так что Вас следует считать поэтом послевоенного периода?*

— Да, мои довоенные, стихи, собственно, значения не имеют. Кое-что я напечатал в парижском журнале "Числа", очень передовом журнале. Это случилось так: еще в Риге меня нашел Георгий Иванов и почему-то ему понравились мои стихи, даже и статья моя — это все было напечатано в "Числах". Но только с первой моей книги "Монолог" начался, если угодно, настоящий Чиннов. Тогда я писал в стиле так называемой Парижской ноты. Это было течение, руководимое Георгием Адамовичем. Идея этой Парижской ноты состояла в простоте, в очень ограниченном словаре, который был сведен к самым главным, незаменимым словом. Настолько хотели общего в ущерб частному, что говорили "птица" вместо, скажем, "чайка", "жаворонок" или "соловей"; "дерево" вместо "береза", "ива" или "дуб". Мы считали, что надо писать как бы последние стихи, что мы заканчиваем русскую поэзию здесь, в эмиграции, и не нужно ее никак украшать, не нужно никаких орнаментов, ничего лишнего. Мы искали именно бедного словаря, так сказать, самое основное, неустрашимое:

Порой замрет, сожмется сердце  
И мысли те же все и те —  
О черной яме, "мирной смерти",  
О темноте и немоте.

И мнится: смутный, тайный признак,  
Какой-то луч, какой-то звук  
Нездешней, невозможной жизни  
Почти улавливаешь вдруг.

Здесь есть слова, очень существенные для Парижской ноты: "какой-то луч", "какой-то звук" — так сказать, световое, зрительное — и слуховое: слова, означающие то, что как бы нашу жизнь пронизывает — луч и звук — вместе с темой "нездешней, невозможной жизни".

*Меня удивляет, что Вы, как Вы сами говорите, представитель Парижской ноты, начали писать стихи после Второй мировой войны. Обычно принято считать, что Парижская нота — явление довоенное.*

— Совершенно верно. Я как бы довесок, запоздалый отклик на эту Парижскую ноту.

Парижская нота пошла довольно далеко по пути продолжения акмеизма, но дальше всех пошел, как писал Владимир Вейдле, будто бы я. И он уверяет, что я исчерпал эти возможности, что самые простые стихи уже написаны, писать дальше в этом духе было бы только повторением пройденного, и что я как бы уткнулся в стену — и начал нечто другое.

В первой книге "Монолог" и в книге "Линии" нет стихов обогаченных, нет стихов с какими-то орнаментами. А начиная с третьей книги ("Метафоры"), я начал писать более свободно. Там некоторые стихи написаны свободным размером, но все-таки они очень ритмичны. Я всегда хотел музыкальности. Это не все делали. Другой представитель Парижской ноты, Анатолий Штейгер, прелестный поэт, писал несколько сухоовато, не музыкально и безо всякой орнаментики. Правда, это звучало даже более горько, чем мои стихи, за исключением моих стихов в книге "Партитура". В "Партитуре" есть очень грустные стихи и есть гротески.

Вейдле и Г. Адамович отмечали, что при всей "пышности одежд", в моих новых стихах все-таки осталось главное — сосредоточенность на человеческой судьбе, на безысходности человеческого удела, всякого, на смерти. Они указывали, что там есть все-таки верность Парижской ноте в ее главном — в ее серьезности.

Голубая Офелия, дама Камелия!  
 О, в какой мы стране?  
 Мы в холодной Печалии,  
 Ну, в Корее, Карелии,  
 Ну, в Португалии.  
 Мы на севере Грустии,  
 В южной Унынии.  
 Не в Инонии, нет,  
 Не в Госкане, в Госкании.  
 И гуляет, качаясь, ночная красавица,  
 И большая купава над нею качается,  
 И ночной господин за кустом дожидается.  
 По аллее магнолий Офелия шляется.

А Луна прилетела из южной Мечтании,  
И стоит, как лунатик, на куполе здания,  
Где живет, где лежит полудева Феврония.  
Не совсем-то живет: во блаженном уснии.  
Там в нетопленном зале валяются пыльные  
Голубые надежды, мечты и желания,  
И лежит в облаках, в лебеде, в чернобыльнике  
Мировая душа, упоительно пьяная,  
Лизавета Смердящая, глупо несчастная.  
Или нет, Василиса, нет — Васька Прекрасная.

В этом гротеске много звука "л", который любил Лермонтов. Здесь есть то, против чего в свое время восставал Сергей Есенин — глагольные рифмы. Он упрекал Осипа Мандельштама за глагольные рифмы. Потом я отошел от глагольных рифм, решил, что это все-таки слишком легко, и начал подыскивать к глаголам какие-то существительные.

Кстати, стоит отметить, что все мои книги названы словами латинского или греческого корня — всегда одно слово.

*Это потому, что Вы себя считаете космополитом?*

— Совершенно верно. Я подчеркиваю, так сказать, традицию человеческой культуры, в частности, традицию, идущую от античности. Для меня это существенно — отсюда моя верность греко-латинской европейской традиции. Я — русский поэт, люблю Россию, но я, вместе с тем, люблю нашу общеевропейскую цивилизацию и культуру.

*Многое из того, что Вы говорите, напоминает мне манифест Мандельштама — "Утро акмеизма", где высказываются как раз эти мысли. Ведь акмеизм обычно считается предшественником Парижской ноты.*

— Я от нее ушел, но я чуть ли не последний ее представитель. Самый типичный был именно Анатолий Штейгер. Еще было несколько человек, в том числе Юрий Терапиано, хороший поэт, недостаточно оцененный. А в Америке, я думаю, только я один и близок Парижской ноте. Но нельзя все время повторяться. Теперь я стремлюсь как раз не к бедности, не к упрощению, а наоборот, к усложнению словаря. В частности, хочу вводить в стихи слова, которые в стихах до сих пор не употреблялись. Седь-

мая моя книга называется "Антитеза" в смысле ее противоположения предыдущей, названной "Пасторали". В "Пасторалиях" нет никаких гротесков, никаких совершенно. Там есть красота мира, горькое чувство обреченности и краткости нашей земной жизни. Иностранные слова использованы в большом количестве в "Композиции" и "Антитезе", где я возвращаюсь к гротескному, сатирическому, даже сардоническому тону. Этого нет вовсе в "Пасторалиях".

*Я считаю совершенно замечательным то, что хотя Вы человек уже немолодой, Ваше творчество развивается такими, как говорится, "бурными темпами". О Вас написано, если я не ошибаюсь, около шестидесяти критических работ.*

— Мне кажется, что многие критики, пожалуй, не отметили самого главного — моего стремления дать интонацию музыкальную и вместе с тем совершенно обыденную, житейскую. У меня есть стихотворение, которое начинается очень по-житейски — "то то, то другое". Я повторил дважды — и вышла стихотворная строка. Это короткое стихотворение созвучно теме моей шестой книги — "Пасторали":

То то, то другое, то то, то другое,  
 А хочется озера, сосен, покоя.  
 Среди ежевики, синики, черники.  
 И голос души, словно тень Евридики.  
 И больше не прибыль, не убыль, не гибель,  
 А лист пожелтый в надводном изгибе.  
 И жук, малахитовый брат скарабея,  
 Жужжавший в траве, от нее голубея.  
 Там, словно под сенью священного лавра,  
 Корова лежит с головой минотавра.  
 Египетским богом там кажется дятел  
 И ты наблюдаешь, простой наблюдатель,  
 За уткой, которая в реку влетела,  
 Как в небо душа — только более смело.

Как видите, здесь есть образ обратный: мы всегда говорили о минотавре с головой быка, а у меня корова с головой минотавра. И там же жук — "малахитовый брат скарабея". Все знают,

что скараabei — египетские каменные жуки из драгоценных камней, священные. Но были и настоящие, живые скараabei лазурного цвета. Их египтяне тоже считали священными.

В какой-то степени я имажинист. У меня очень много предметов. Моя поэзия очень вещественная. Вместе с тем, у меня есть стихотворения, где предметы почти отсутствуют. В моей первой книге "Монолог" были стихи именно в тоне Парижской ноты, где я ограничивался немногими словами, такими, как "небо", "снег", "ветер", "свет", "темнота", "луч", "закат", иногда "море", и иногда "дерево", тоже без уточнения, что это — дуб, береза или что-либо другое.

Потом, понемногу, вещи приобрели у меня свои индивидуальные черты, не общие. Я ушел, так сказать, от общего, придя к частному.

*Скажите, кто из иностранных поэтов на Вас повлиял?*

— Я не уверен, что кто-то на меня повлиял, но у меня есть любимые стихи. И меньше любимых поэтов. Из любимых поэтов я бы назвал, если говорить о немцах, Готфрида Бенна его последнего периода. Затем — Райнер Мария Рильке, Эдуард Мёрике из романтиков, потом даже Карл Кролло, но я не сторонник немецких модернистов, их стихи как-то неприятно звучат, они немзыкальны. Из французских поэтов я очень ценю Жюль Лафорга, такого лунного поэта. Он отчасти похож на Аполлинера. Гийом Аполлинер и Жюль Лафорг принадлежат к моим любимым. Затем, из современных поэтов, это Жюль Сюпервьэль. Еще несколько.

Я никогда не восхищался сюрреалистами, не потому, что не люблю их странной образности, их странных видений. Нет, очень люблю, но некоторый беспорядок, звуковой беспорядок... Они как-то забывают о том, что каждое стихотворение есть все-таки звуковая структура.

*Из современных поэтов, живущих в СССР, кого Вы выделяете и кто, по-вашему, пользуется незаслуженной репутацией?*

— Там есть ряд поэтов очень талантливых. Я ценю Новеллу Матвееву. Я люблю, конечно, Беллу Ахмадулину. Мне очень интересен Леонид Мартынов. Он пишет не в моем духе, но у него столько изобретательности, в частности, звуковой, такая богатая образность. Интересен Евгений Винокуров. Между про-

чим, одно из его стихотворений написано явно под влиянием Георгия Адамовича, а другое — под влиянием Анатолия Штейгера, то есть в обоих случаях это Парижская нота.

*Знают ли Адамовича и Штейгера в СССР? Они там упоминаются?*

— Нет, они там не упоминаются. Но ясно, что Винокуров их читал. Современной русской поэзии мешает то, что она мало знакома с поэзией иностранной. Это бывало и раньше. Русские поэты, например, 60-х и 70-х годов прошлого века варились в собственном соку, и это очень обрезало их крылья, ограничивало кругозор. Я боюсь, что в России теперь поэты не имеют доступа не только к эмигрантской, но и вообще к современной мировой поэзии.

Евтушенко очень талантливый поэт, но пишет он очень быстро, небрежно и публицистически. Такие его стихи, как "Бабий Яр", "Наследники Сталина", а до того "Станция Зима", по существу, не имеющие отношения к поэтическому качеству стихов, конечно, помогли его славе.

Вознесенский тоже помог себе тем, что написал сборник "Меня пугают формализмом". Свое новаторство он оправдывал ссылкой на революционность Ленина, который, конечно, отверг бы его стихи с негодованием. Это совершенно очевидно. Вознесенский очень много взял у Марины Цветаевой и хорошо сделал. Еще Пушкин говорил: "... где свое нахожу — там его и беру". Андрей Вознесенский очень прославился. Я не уверен, что поэтическое качество его стихов соответствует этой его известности.

*А из поэтов-эмигрантов кого бы Вы назвали?*

— Я всегда очень любил Георгия Иванова, даже его ранние, петербургские стихи времени "Цеха Поэтов" и журнала "Аполлон". Это были стихи эстетские, стихи сноба. Георгий Иванов всегда был снобом и эстетом и им остался. В этом ничего плохого я не вижу. Есть снобизм умный и есть снобизм глупый. Георгий Иванов всегда писал не то что женственно, но и не мужественно. Это были прелестные стихи, и вовсе не декадентские. Вы чувствуете, что поэт поставил перед собой задачу написать красивые стихи.

Слово "красота" теперь, конечно, скомпрометированно и все

избегают его, пытаются как-то иначе определить его сущность. Но, по существу, красота — это все-таки то, о чем мы все время думаем, когда пишем стихи, или чем мы как-то проникнуты. Так вот, Георгий Иванов был одним из моих любимых поэтов и им остается.

Я с ним встретился, он взял мои стихи и статьи, сказав про статьи: "Это каша, но это творческая каша". И устроил их в парижском журнале "Числа", который издавал ученик Гумилева Николай Оцуп, тоже член "Цеха Поэтов". Оттуда, так сказать, и идет мой творческий путь.

Некоторые считают, что мы, эмигрантские поэты, лишены России, как бы уже не говорим от ее имени. А я все-таки думаю, что мы говорим имени вечной России, хотя там, может быть, и едва слышны.

## «РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе

Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти

Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré,  
75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

	3 мес.	6 ием.	12 мес.
Франция	45	85	150
Заграница	54	95	170
<b>Авиапочтой:</b>			
США, Канада, Южн. Америка, Южн. и Центр. Африка	76	140	250

# О ПРОСТОТЕ И СЛОЖНОСТИ РОССИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

Меня долго пугала легкость и произвольность столкновения предметов изображения в стихе, ответственность, которую берет на себя поэт, соединяя разноплановые реалии. Так, вероятно, ужасается химик, впервые осознавший, что может разъять все. А вдруг сведенные мною предметы не соединимы по природе своей? Со временем пришла мысль: сочетается всё. В каждом явлении существует зазор, за который может зацепиться следующее звено. Во всем есть общее зерно, заложенное Создателем.

Задача поэта — найти это зерно, дать истинное имя реалии. Миссия поэзии, ее специфическая (никому и ничему более не доступная) часть в работе по созданию вневременного духовного бытия — творение словесной модели объединения нашего разобщенного мира.

\* \*  
\*

Поэт дает метафизические имена явлениям эмпирического мира. Точное поэтическое слово — путь к имени, этап творчества. Имя — всегда слово, но слово далеко не всегда — имя.

Попробую условно расчлнить творческий процесс. Первая задача поэта — найти для обозначения реалии точнее, только ей принадлежащее слово. Это — поэтическая техника. Называние — предтворчество, хотя это уже искусство. Назвать вещь точно

\* Из самиздатского "Нового Русского Сборника". Москва, 1980 г. Печатается без ведома и разрешения автора. — *Ред.*

способен лишь художник, но творец не может ограничиться одним названием.

На этом этапе происходит убийство действительности (хотя оно не реализуется ни в одной временной точке). Бытие предстает верным, но мертвым словом. Вот здесь-то и возникают толки об аморализме поэта: "Поэт — самый страшный из палачей живого" (Мариенгоф). Здесь расходятся пути творчества и модернизма. Для модернизма это высшая точка. Пути дальше нет. Только одна возможность — совершенствовать, истончать, рафинировать слово. А собственно творчество еще и не начиналось.

В поэтическом контексте слова очищаются от повседневной шелухи, сталкиваются и скрещиваются друг с другом. Столкновения эти рвут старые мирские "материальные" смыслы слов. Рождается слово поэтическое. Оно-то и дает умерщвленному бытию крылья феникса, возрождает мир из пепла слова, вдыхает то, что дано поэту от Бога. Идет перелив дыхания, *слияние материи и духа, именование.*

Мир воскресает, но уже не тот, что существует вне творчества. Он обрел свое единственное имя.

Модернист пишет стихотворение, творец — создает частицу гармонического бытия.

\* \*  
\*

Зачем нужен отрыв привычного названия от предмета? Ведь явлениям когда-то уже были даны имена. Почему они не удовлетворяют поэта? Психологи языка достаточно точно выяснили механизм первоначального именованя: предметы назывались по какому-то одному, самому очевидному признаку. В слове "корова" отразилось только понятие "рогатая". Остальные признаки отпали. Таким образом, в названии не объята вся сущность предмета, нарушена его цельность: "... мы знаем некоторые его (предмета) признаки; по сим признакам мы даем ему имя, или, лучше сказать, тем или другим словом мы выражаем лишь те или другие свойства предмета, его части, но не весь предмет... Следственно, наш язык неполон и неверен, и мы обманываем самих себя, когда предмету даем имя, — его имя

нам неизвестно” (кн. В. Ф. Одоевский “Психологические заметки”).

Нарушая связь между предметом и его привычным названием, поэт в новом имени воплощает целостность предмета, очищает слово от самодовления одного признака. В имени проявляется метафизическая сущность реалий.

Поэтому слова в стихе имеют, частично или совсем, иные значения, чем те, которые мы знали ранее. Реалия, как щенок, должна привыкнуть к новому имени и откликаться на него.

Расшатывание старых связей, столкновение *разных* слов для рождения *одного* имени и объясняет то, что имя состоит, как правило, из нескольких слов. Имя живет. Это — истинно названная частица сущего. Атомы её — слова. Имя может быть целым стихотворением, если весь стих назвал одну частицу мира (самое частое и естественное явление). Может быть одной строкой — “Печаль моя жива” — тогда в стихе несколько названных реалий, несколько имен. Может быть группой стихов — некоторые циклы, поэмы. В частном случае имя бывает одним словом.

Хочу сделать вывод, не имеющий прямого отношения к теме, но прямо вытекающий из предшествующих рассуждений. Речь пойдет об иерархии искусств.

В живописи действительность умерщвляется. Сколько бы мы ни говорили: “Он как живой на холсте” — это метафора. Он — мертвый. Воскресение если и происходит, то не в самом произведении, а в сознании воспринимающего. Поэтому изобразительное искусство — самое модернистское в ряду других. Дух присутствует лишь в момент восприятия художником мира и во время отлития его в форму. Духовно не само произведение, но человеческие акты творения и восприятия.

На следующей ступени духовности стоит поэзия. Действительность умерщвляется в точном слове и воскресает в имени. Отличие поэзии от живописи в том, что мир оживает не в восприятии, а в самом произведении.

Наиболее духовное искусство — музыка. Мир ни на минуту не предстает мертвым, он сразу становится духовной гармонией.

Думаю, однако, что поэзия есть самое *Христовое* искусство. Духовное бытие поэзии не есть данность. Поэзия проходит через закание в слове, через распятие. На белом листе

написано одно слово — Голгофа. Поэт распинает себя и земную реальность на кресте слова и воскресает сам и воскрешает ее в имени.

\* \*  
\*

Марина Цветаева сказала, что есть только один Поэт, и все мы, поэты, лишь разные его стихотворения.

Каждый поэт называет свою, лишь ему доступную частицу мира, но все мы — участники общего дела именованья. Мы не плотничья артель, которой дано задание построить дом. Проименовать *всё* не может быть целью поэзии. Эстетически самозаключен каждый воскрешенный уголок мира, творчество каждого поэта. Восхищайтесь поэтами, но не забывайте, что в этическом смысле мы — один поэт. Только совокупность проименованных реалий, совокупность творчеств всех поэтов явится частью свершения, которое сделает человека достойным Бога, достойным иного, истинного Бытия.

\* \*  
\*

XVIII век в России — мука слова, *предслово*. Вся могучая плеяда поэтов XVIII века училась говорить. Не было слов. Нечем было называть. Поэзия была не сложна, но косноязычна.

Заслуга Пушкина в том, что он — первый именованье. Даже у Батюшкова слова еще прогибаются под тяжестью имен. Батюшков — первый испытатель русского слова на поэтическую прочность. И вот пришел Пушкин. Он пришел в тот момент, когда русская поэзия, достигнув годовалого возраста, захотела сказать: "мама". И сказала африканскими губами Пушкина. Ребенок спрашивал: "А это — что?". И сам себе отвечал.

Гениальность Пушкина не только в том, что он начал называть — он сумел проименовать колоссальную часть видимого, внешнего слоя бытия (зримыми, конечно, могут быть и внутренние чувства человека). Пушкин именовал все, что видно невооруженным, но широко раскрытым глазом. Поэтому и только поэтому Пушкин — прост.

\* \* \*

\*

Существует ложное и вредное мнение, что поэты различаются по тому, *как* они говорят. "Говори о том же, что и N, но по-своему, и ты — поэт". Но поэзия — путь к истинному существованию, к истине. А двух истин не бывает. Если двое говорят разное о том же, то один из них лжет. А если двое по-разному высказывают одну и ту же истину, то один из них в поэзии не обязателен. По-разному говорят все люди, поэты тут не представляют ничего исключительного. Поэты различаются по тому, *что и о чем* они говорят.

Другое дело, что бытие многослойно — реалии и предметы представлены в нем на разных уровнях. На этих разных уровнях можно о них и говорить.

*Что и как* — еще одно различие между творчеством и модернизмом. Художник — *что* создает, модернист — *как*.

Модернизм единожды проявился в России — в футуризме. И сразу жертвой простенького противопоставления *что — как* пал большой русский поэт — Владимир Маяковский.

Помните? — Споры с Бурлюком. — Первый стих. — "Вы гениальный поэт!" — Стихи, стихи.

О чем шли споры? О жизни? О творчестве? Нет, конечно, — о том, *как* писать, *как* удивить, *как* заставить обратить внимание. Умный и расчетливый Бурлюк хладнокровно создавал поэта по всем правилам модернизма. Маяковский родился из приема, из установки на прием. Установка дана Маяковскому Бурлюком, но талант необузданный — Богом.

Талант естественно и неизбежно вдыхает воздух культуры, родившей его. А тут — Илью Муромца начинают обучать итальянским словесам. Он и рад — все лучше, чем сидеть на печи, да вот с плечами беда: во фрак не влезают. Неужто всю жизнь с дырами и ходить?

Раньше духовную христианскую основу русский поэт получал как нечто естественное, впитывал с молоком матери. Матерью Маяковского-поэта была установка на технический прием. Дух при сем не присутствовал. Но уже на следующий день предъявил свои права.

Здесь истоки величайшей трагедии Маяковского. Гения, конечно, никаким фраком не прикроешь, но человеку-то какво с дырами! Именно от этого — трагический, надорванный звук его лиры. Впервые русский поэт запросил не эстетической, а этической прививки. Просил, кричал, клюкой в двери бил...

Потрясающа по драматизму тема Бога у Маяковского. Религиозное чувство необыкновенной силы требовало удовлетворения. Не получало и не получило. Не получило и тогда, когда место Бога заняла Революция. Поэму "Владимир Ильич Ленин" поэт строит по библейскому канону: 1-я часть (до Ульянова) — Ветхий Завет; 2-я часть (Ульянов, вера в "революцию и сына и отца") — Новый Завет; 3-я часть ("Стала величайшим коммунистом-организатором даже сама Ильичева смерть") — Деяния Апостолов. *Но боги оказались идолами.* Ввести поэту этическую вакцину они не могли, т. к. сами были глубоко антидуховны. Фрак не был зашит. В прореху вошла пуля 1930 года. Этим (да еще мертворожденным имажинизмом) кончилось вторжение модернизма в русскую поэзию.

\* \* \*

\*

Бытие для поэзии подобно многокожурной луковице. Пушкинианцы использовали (суть проименовали) самую верхнюю кожуру. Но использовали ее почти полностью. И уже Лермонтов взялся за следующую.

Правда, все происходило не так уж синхронно. Вместе с Лермонтовым и позже него работал Фет — Брут пушкинской плеяды. Улыбаясь пушкинской улыбкой, он иногда тупил глаза и украдкой косился куда-то. Это "куда-то" — уже иной слой, иная кожурка.

Особняком стоит одинокий, никем не услышанный Тютчев. Будущее в прошлом. Он, за неинтересностью для себя, отвернул целую стопку кожурок и остановился только, когда слезу прошибло. Если Фет — поздний пушкинианец, то Тютчев — ранний символист. Не потому, что "символист", а потому, что работал в том же слое. Никто до Тютчева так глубоко не заглядывал в глаза бытию. Достаточно сравнить глубину "прокола" Баратын-

ского и Тютчева: "дистанция огромного размера".

Дело не в том, что Тютчев лучше Баратынского или Пушкина. Просто он не мог заниматься тем, что уже выполнили Пушкин и Баратынский. Лучше тот поэт, чей поэтический мир точнее в приближении к истине — вот критерий. Проникновение же в более глубинный слой бытия — не столько заслуга, сколько исторический терновый венец поэта. Тютчеву выпало терновое счастье родиться после Пушкина, а Блоку — после Тютчева.

\* \*

\*

Но Тютчева не слышали. Вернее, не видели, уж больно глубокий был. Тем временем на пушкинском столе, да и на соседних, уже не осталось ни крошки. Это и был кризис русской поэзии второй половины XIX века. (Сходное явление можно наблюдать и в середине века двадцатого).

Так подошла русская поэзия к XX веку. К именованию принципиально нового глубинного слоя. Только самостоятельно повторив путь Тютчева, спустившись в подземелье, обнаружили там тютчевский флаг.

К началу XX века количество (пройденных уровней) перешло в качество. Поэзия "серебряного века" качественно отличается от "золотой" лиры. Поэты "декаданса" начали разрабатывать внутренний слой — *именование реалий изнутри*.

\* \*

\*

Поэзии чужда инерция. По инерции работают лишь третьеразрядные стихотворцы. Но инерция восприятия сопряжена читателю. К XX веку пути писателя и читателя разошлись. Вернее, они были розны всегда, но к этому времени различия вышли на свет. Пушкинская плеяда именвала зримый пласт бытия. Видимый каждому. Этим она задала инерцию читателю. *Он временное принял за вечное*. И обманулся, сделав вывод, что поэзия всегда должна быть похожа на то, что читатель видит каждый день. И даже превратил это в критерий: чем больше похожа, тем лучше. На пушкинском этапе такое заблуждение читателя даже

помогало задаче поэта. Читатель находил в стихе мир, похожий на реальный, но очищенный от случайности, от скверны, от временной примеси — мир надбытийный. Лучшие из читателей, отождествляя эти два мира, переносили на свою "мирскую" жизнь черты духовного бытия, *вводили имя в самую жизнь*.

Но, выполняя эту важную миссию, поэзия приоткрыла свою ахиллесову пятау — возможность и удобность воспринимать стихотворение в бытийственном, "идеологическом" плане. Первыми это заметили политиканы и потребовали: "Поэзия должна влиять! воспитывать! учить! внушать благородное!" (то есть то, что им, политиканам, в данный момент выгоднее считать "благородным"). Чем же сие кончилось? Два-три истинных поэта поддались агитации и пали поэтическими жертвами. В целом поэзия вроде бы и прислушивалась к голосам, орущим вокруг, но врожденная интуиция не давала ей сбиться с дороги. Она шла вглубь по пути именованья.

\* \*

\*

В XX веке поэзия стала называть очень глубинный слой бытия, то, что простым глазом не видно, то, о чем читатель никогда не слышал, никогда не знал. И больной, зараженный читатель обвинил поэзию во лживости, а когда сам стал понемногу прозревать и выздоравливать — в сложности. В XX веке образованный читатель сетовал на отсутствие хороших поэтов, в XX веке поэт закричал: "Читателя! Советчика! Врача!..."

\* \*

\*

Итак, поэзия проста или сложна в зависимости от того, более или менее глубинный пласт сущего она именует: "...много метафор и у людей, желающих выразить мысль новую, девственную; чем глубже... эта мысль, тем труднее ее выразить... недостаточен язык обыкновенный" (*кн. В. Ф. Одоевский*).

Как только открывался принципиально иной по глубине пласт, для его "освоения" требовалось сразу много поэтов. Создалась возможность проиеновать видимую реальность — поя-

вились пушкинианцы. Все они просты для восприятия. Достигли внутреннего пласта мироздания — пришла плеяда "серебряного века". Все эти поэты по-своему сложны. А читатель и критики всё кричали о гениальной пушкинской простоте, о том, что их ничему не учат...

Из-за этого расхождения поэтов и читателей, на глазах изумленной публики, потеряли само понятие о том, что есть поэзия. Поэтам-пушкинианцам вполне хватало интуитивного осязания критерия. Уже в конце XIX века столкновение писателей и читателей потребовало от пиитов высказаться по этому поводу. И тут обнаружилось, что сами творцы не могут внятно сказать, что такое поэзия. Начались поиски утраченного имени. Шла выработка поэтического самосознания. Мучительные странствия и находки всех привели к тому, что явился поэт, создавший общую модель поэзии, ее выжимку — Велемир Хлебников.

\* \* \*

\*

У Хлебникова два лица. Во-первых, он оригинальный лирический поэт, именовавший особую область сущего, и потому может сравниваться с другими стихотворцами. Во-вторых, он теоретик в поэзии. И тут некого поставить с ним рядом. Я буду преимущественно говорить о втором его лице.

Говоря упрощенно, Хлебников сделал следующее. Копнув бытие до основания, он обнаружил слой, который уже ничего общего не имеет с тем, что мы видим на поверхности. Да и слов для именования этого слоя не находилось (вот переключка с XVIII веком). Но именовать мир — необузданная физическая страсть Хлебникова: "Я истекаю степью и именем". Хлебников стал искать и изготавливать слова для обозначения нового слоя. Он стер иллюзию, созданную во времена Пушкина. Ставить во главу угла сопоставление поэзии с видимой реальностью после Хлебникова стало невозможно:

Волхоба волхобного вира.

Звеноба немобного яра.

Ты все удалила, ты все умилила.

О, тайная сила!  
О, кровная мара!

Следующая ступень хлебниковской системы. После Пушкина говорили: поэзия — только *это*. Хлебников доказал: поэзия — и *то* и *это*. Когда он называл явления других, более внешних (чем найденная им) оболочек, то именовал их "классически":

И только шум ночной осоки,  
И только дрожь речного злака,  
И кто-то бледный и высокий  
Стоит с дубравой одинаков.

Если все поэты горизонтальны — каждый работает в своем слое, то Хлебников — вертикален: *он пронизал много слоев. Как теоретик, Хлебников прошел пути нескольких поэтов. Он именовал и проименовал по-разному сразу несколько пластов бытия.* Этим удалось доказать, что поэзия не локальна, не ограничивается каким-нибудь одним участком — она охватывает все бытие. *Единственной постоянной величиной, а значит и определяющей чертой поэзии во всей многоплановости сущего, является именование.* Опыт Хлебникова показал, как меняется лик стиха в зависимости от глубины слоя, который он именует. Вот почему творчество Хлебникова суть модель, квинтэссенция поэзии. Так открылся секрет простоты и сложности.

Только одну ошибку допустил Хлебников в своей системе. Чувствуя огромный запас сил и движимый благородным поэтическим тщеславием, он задумал еще один опыт — создать имя из одного слова. И создал. Так появились "смехачи" и "снежоги". Но обнаружилась оборотная сторона медали. Вместо того, чтобы сказать: имя *может быть* одним словом, — он в запале сказал: имя *есть* одно слово. И в обобщенную конструкцию закрался частный случай, примешался индивидуальный привкус. Собачьим чутьем обыватель уловил эту слабину. Придумали "заумное словотворчество", Хлебникова представили заговаривающимся одиночкой, и пошло... Не заметили, что Хлебников не просто изобрел "заумь", а скрестил "заумное" слово с "классическим", сопоставил разные слои. А это ведь и составляет суть системы Хлебникова.

В разглагольствованиях о "заумной" поэзии просмотрели тот факт, что *поэзия проименовала самое себя в ряду прочих явлений.*

\*   \*   \*

\*

Итак, поэзия становится сложна для восприятия, когда именуется более глубокий и тем самым более сложный пласт мироздания. Глубина не дается наитием. Приходится пробираться, буквально проламываться сквозь предшествующие пласты. Это "проламывание" в форме некоторого косноязычия сказывается в раннем творчестве любого поэта. Видимая простота в позднем творчестве не есть приход от дурного к хорошему, а лишь окончательное достижение поэтом своего объекта именованья. Ранний период может не уступать "поздней простоте" ни поэтически, ни, тем более, этически: это и есть те крестные муки, через которые проходит истинный поэт.

*Г. Архангельский*

# ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ

## ЦЕПЬ ЦИТАТ

Не только судьба Петра Яковлевича Чаадаева (27 мая 1794 14 апреля 1856), но и участь его литературного наследия трагичны. Из главного произведения Чаадаева — *“Философических писем”* — письма второе, третье, четвертое, пятое и восьмое (последнее) были впервые опубликованы более чем через сто лет после их написания, в 1935 г., в томе 22-24 *“Литературного Наследства”*. Но и после этого чуть ли не половина произведений и писем Чаадаева остается все еще неопубликованной. Да и после опубликования кн. Д. Шаховским считавшихся навсегда утраченными пяти *“Философических писем”*, Чаадаев все-таки остался для подавляющего числа читателей загадочной фигурой.

Герцен, тоже москвич и тоже барин, подчеркивал гордую осанку и независимость московского любомудра и в самом воспевании Чаадаевым европейского католицизма (вернее, католического европеизма) усматривал революционное начало: русского свободолюбца влекли к *“революционному католицизму”* *“строгий чин и гордая независимость Западной Церкви, ее оконченная ограниченность... и мнимое снятие всех противуречий своим высшим единством, своей вечной фатаморганой, своим urbi et orbi, своим презрением светской власти”*.

В Чаадаеве было что-то неотразимо большое, то, что и до появления его первого *“Философического письма”* заставляло чтить его. Пушкин писал:

Он высшей волею небес  
Рожден в оковах службы царской,  
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,  
А здесь — он офицер гусарской.

После опубликования первого "Философического письма" (в русском переводе) в "Телескопе" в 1836 году, опубликования, по словам Герцена, ставшего "выстрелом, раздавшимся в темную ночь", и до самого 1905 года публикация произведений Чаадаева было под запретом. Большая их часть считалась безвозвратно потерянной. Когда неутомимому М.Я. Гершензону удалось найти, собрать и издать около половины сочинений и писем Чаадаева (1913-1914), а до этого — свою знаменитую работу о нем (1908), мыслитель предстал перед читателями в облике социального мистика, даже не шеллингианца, а в какой-то мере последователя Штиллинга-Юнга.

У Гершензона вышел великолепный в своем роде портрет социального мистика, далекого от всякой суеты, этакое раннего предшественника русских религиозных мыслителей, группировавшихся вокруг философского издательства Маргариты Морозовой, московского "Пути". Но и те, кто представлял Чаадаева неким родоначальником и идеологом русского освободительного движения\*, и те, кто видел в нем сурового мистика и уединенного мыслителя-анахорета, все они, как и молодой О.Э. Мандельштам, утверждали, что "след, оставленный Чаадаевым в сознании русского общества — такой глубокий и неизгладимый, что невольно возникает вопрос: уж не алмазом ли проведен он по стеклу? ...Уроженец равнины захотел дышать воздухом альпийских вершин и, как мы видим, нашел его в своей груди"\*\*\*.

Попытаюсь дать философский портрет П.Я. Чаадаева, опираясь преимущественно на цитаты из его произведений и писем, лишь связывая их необходимыми вставками.

Думается, что в психологической подоснове мировоззрения Чаадаева (как через три четверти века после него и у о. Павла Флоренского) лежит *отчаяние*. Отчаяние у Чаадаева жгуче-хо-

\* См. даже не революционную, а просто либеральную "Историю русской интеллигенции" Д.И. Овсяннико-Куликовского.

\*\* Собр. соч. т. 2. Нью-Йорк, 1971, стр. 284-285.

лодное, интеллектуальное, потрясшее его, вероятнее всего, в годы длительного пребывания за рубежом, в 1823-1826 гг., когда в Италии Чаадаева, влюбленного в *эстетику отражения* (в понимании К. Н. Леонтьева), эстетику не природы, не жизни, а искусства, "озарило" "понятие об истине". "Я, — пишет Чаадаев, — не противился ни одному из выводов, которые из него вытекали, но принял их все тотчас же без уверток".

Новая философия, в особенности с Канта, предваряет построение своих систем тем, что она считает основоположным для всякого исследования: теорией познания. Но, говорит Чаадаев, "всякая философия... по необходимости заключена в роковом круге без исхода. В области нравственности она сначала предписывает сама себе закон, а затем начинает ему подчиняться, неизвестно ни как, ни почему; в области метафизики она всегда предварительно устанавливает какое-то начало, из которого затем, по ее воле, вытекает целый ряд вещей, ею же созданный. Это — вечное *petitio principii* и при этом оно неизбежно; иначе все участие разума в этом деле свелось бы к нулю. Вот, например, как поступает самая положительная, самая строгая философия нашего времени. Она начинает с установления факта, что орудием познания является наш разум, а поэтому необходимо прежде всего научиться его познать; без этого, утверждает она, мы не сможем использовать его должным образом. ...Но при помощи чего производит она эту необходимую предварительную работу, эту анатомию сознания? Не посредством ли этого самого разума? Итак, вынужденная в этой своей наипервейшей и главной операции взяться за орудие, каким она, по собственному признанию, не умеет еще владеть, как может она прийти к искомому познанию? Этого понять нельзя. Но это еще не всё ...Закон тождества, будучи одним природе и разуму, позволяет всем одинаково обращаться и с нею, и с ним. На основании ряда тождественных явлений материального порядка вы выводите заключение об общем явлении; что же мешает вам из ряда одинаковых фактов заключать к всеобщему факту и в порядке умственном? Как вы в состоянии заранее предвидеть факт физический, с одинаковой уверенностью можете предвидеть и факт духовный; смело можно в психологии поступать так, как в физике. Такова эмпирическая философия" (*Пятое письмо*).

Формами, предоснованиями каждого опыта, всякой эмпирии являются время и пространство. Но к миру духовному пространство неприменимо. А время? Но "откуда почерпнул я самую идею времени? — Из памяти о прошедших событиях. Но что же такое эта самая память? — Не что иное, как действие воли: это видно из того, что мы помним не более того, что желаем вспомнить... я воспринимаю лишь воспоминания, связанные (каждый раз) с данным состоянием души, с волнующим меня чувством, с занимающей меня мыслью. Мы строим образы прошлого точно также, как и образы будущего ...Все времена мы создаем себе сами, в этом нет сомнения. Бог времени не создал; Он дозволил его создать человеку. Но в таком случае, куда делось бы время, эта пагубная мысль, обступающая и гнетущая меня отовсюду? Не исчезнет ли оно совершенно из моего сознания, не рассеется ли без остатка мнимая его реальность, столь жестоко меня подавляющая?" (*Третье письмо*).

Не только опыт, но и логика (ибо одного опыта недостаточно для построения естественной науки) создали великую естественную науку и технику. "Всякое естественное явление можно рассматривать как силлогизм; но можно его рассматривать как число ...Необходимо только иметь в виду, что количества, собственно говоря, в природе не существуют; если бы они там были, то аналитический вывод был бы равнозначен творчеству ...Ибо совершенная достоверность его не была бы ничем ограничена и, следовательно, была бы всемогуществом ...Действительные количества, то есть абсолютные единицы, имеются лишь в нашем уме; во вселенной находятся лишь числовые видимости. Эти видимости, в которых материальность открывается нашим взором, они-то и дают нам понятия о числах: вот основа математического восприятия" (*Четвертое письмо*).

Так что и в основе точных наук — не опыт только, но и некая видимость, обрабатываемая нашим сознанием. "Если бы в математике заключалась совершенная достоверность, число было бы чем-то реальным". Но это — реальность больше нашего сознания, чем бытия. "Математическая достоверность ...имеет свой предел; будем остерегаться упустить это из виду".

К миру духовному, нравственному, который мы отнюдь не мыслим конечным, а следовательно, измеримым, эти математи-

ческие достоверности никак не применимы. Науки естественные, так называемые точные знания, также, в общем, покоящиеся на наших никак не доказуемых постулатах, потому и точны, что имеют дело с конечным и ограниченным. Но можно ли применить их принципы "к познаниям другого рода? Абсолютная форма познанного предмета, каков бы последний ни был, должна быть непременно формой чего-то конечного... место его в познаваемой области должно находиться вне нас. Ведь именно таковы естественные условия достоверности. А в каком положении на основании этого мы окажемся к предметам в области духовной? Прежде всего, где предел данных, входящих в область психологии и морали? Предела нет. Затем, где совершается моральное действие? В нас самих". Поэтому мы никак не можем применять метод естественных и математических наук к миру духовному, психологическому, моральному. Ведь "в порядке нравственном известно ли... что-нибудь, что бы совершалось в силу постоянного, неотвратимого закона, по которому вы могли бы заключить, как там (в естествознании), от одного факта к другому и предугадывать таким образом с уверенностью последующее на основании предшествующего? Ни в коем случае. Напротив, здесь совершается всё в силу свободных актов воли, не связанных между собою, не подчиненных другому закону, кроме своей прихоти; одним словом, всё сводится здесь к действию хотения и свободы человека. К чему послужил бы здесь метод опытный? Ровно ни к чему (*Четвертое письмо*).

Мир внешний — и его достоверность и обязательность — даны нам в нашем сознании, где наша воля, наша прихоть, наконец, играют столь основополагающую роль. Как же нам вывести на основе нашего внешнего ли, внутреннего ли опыта, то есть чего-то весьма конечного и ограниченного, тот основной принцип, тот основной закон, который упорядочил бы наше восприятие мира внешнего, и особенно внутреннего? Ведь мы не можем ни подняться над своим разумом, ни выйти за его пределы: "закон не может быть дан человеческим разумом самому себе, точно так же, как разум этот не в силах предписать закон любой другой созданной вещи" (*Пятое письмо*).

Ведь конечный наш, лишь мгновение существующий разум (а эту свою мгновенность мы сознаем хорошо) не может создать

сам по себе, сам из себя нечто непреложное, вращаясь в самом себе, обращаясь к самому себе. И все наши постулаты, включая декартовское "cogito ergo sum" — лишь произвольные допущения. Мы все время вращаемся в порочном кругу, все время стремимся опереться на что-то непреложное, неоспоримое, что-то само по себе существующее, на истину самоочевидную. Но наш разум несвободен, связан нашей волей, нашими устремлениями: "нет иного разума, кроме разума подчиненного... но это еще не все. Взгляните на человека; всю жизнь он только и делает, что ищет, чему бы подчиниться..."\* Он убеждается, что [внутренняя его] сила не безгранична; он ощущает собственное ничтожество; тогда он замечает, что вне его стоящая сила над ним властвует и что он вынужден ей подчиняться, в этом его жизнь. С самого первого пробуждения разума эти два рода познания, одно — силы, внутри нас находящейся и несовершенной, другое — силы, вне нас стоящей и совершенной, — сами собою проникают в сознание человека" (*Третье письмо*).

Это сознание нашей обреченности вращаться в заколдованном кругу нашей мысли, нашей философии (от которой мы отказаться не в силах, да и не должны), в порочном кругу эмпирии и силлогистики приводит к холодному интеллектуальному (да и эмоциональному тоже) отчаянью: где же непреложная, самоочевидная истина? И приводит — к религиозному Откровению. А Откровение ведет к христианству.

Только в Откровении незыблемая истина для нас. И оно нам дано — не столько книгой, будь то Библия или Новый Завет, но преданием, исторической памятью, *историей*. Отчаянье в своих силах, сознание неизбывной конечности и ограниченности разума приводит к мистическому *всецелому* опыту — 'Откровению. Ибо жизнь человека, как "духовного существа, обнимает два мира, из которых только один (короткий отрезок нашего земного существования) нам ведом" (*Второе письмо*). Истина, как истина-бытие — "едина: Царствие Божие, небо на земле... прозрение и осуществление соединения всех мыслей человечества в единой мысли; и эта единая мысль есть мысль самого Бога, иначе говоря, — *осуществленный нравственный закон*. Вся

---

\* Вспомним "Великого Инквизитора" Ивана Карамазова.

работа сознательных поколений предназначена вызвать это окончательное действие, которое есть предел и цель всего, последняя фаза человеческой природы, разрешение мировой драмы, великий апокалиптический синтез” (*Второе письмо*). Но ”слово писанное не улетучивается, как слово произнесенное. Оно кладет свою печать на разум. Оно его сурово подчиняет себе своею нерушимостью и длительным признанием святости. Но вместе с тем, кодифицируя дух, слово лишает его подвижности, оно гнетет его, втесняя его в узкие рамки писания и всячески его сковывает. Ничто так не задерживает религиозную мысль в ее высоком порыве, в ее беспредельном шествии вперед, как книга... В религиозной жизни все теперь основано на букве, и подлинный голос воплощенного разума пребывает немым. С амвонов истины раздаются только лишённые силы и авторитета слова ...А между тем, надо же, наконец, прямо признать это — проповедь, переданная нам в Писании, была, само собой разумеется, обращена к одним присутствовавшим слушателям. Она не может быть одинаково понятна для людей всех времен и всех стран. По необходимости она должна была принять известную местную и современную ей окраску, а это замыкает ее в такие пределы, вырваться из которых она может лишь с помощью толкования, более или менее произвольного и вполне человеческого. Так может ли это древнее слово всегда вещать миру с той же силой, как в то время, когда оно было подлинной речью своего века... Не должен ли раздаться в мире новый голос, связанный с ходом истории... Воображают, что стоит только распространить эту книгу [Новый Завет — *Б. Ф.*] по всей земле, и земля обратится к истине; жалкая мечта, которой так страстно предаются отпавшие” (*Восьмое письмо*).

По Чаадаеву, христианство живет в основном не в Евангелии, а в величайшем, ”странном” — на позитивный взгляд — Святом Таинстве всегдашнего, постоянного Боговоплощения — в Евхаристии. Живет в предании, следовательно, — *в истории*. Ибо в Церкви, как бытии Богочеловеческом, есть много человеческого, то-есть изменяющегося, и Божественного — неизменного. В этом и двуединый процесс истории, как Боговоплощения. ”Слово, — обращенный ко всем векам глагол, — это не одна только речь Спасителя, это весь Его небесный образ, увен-

чанный Его сиянием, покрытый Его кровью, с распятием на Кресте” (*Восьмое письмо*).

И грех отпадения от истории, как Боговоплощения, грех протестантизма, по Чаадаеву, в следовании не духу, а букве Книги — букве Священного Писания. Грех православия — тоже в археологизировании христианства, в отпадении от вселенскости, в *буквальном* следовании словам Писания. Смирение перед Всевышним заменяется смирением перед вышестоящими. “Рабы, повинуйтесь господам своим”, — слова, сказанные в древнем мире, не понимавшем, что мир вообще возможен без невольничества, считавшим рабство чем-то непреложным, принимались православием, как заповедь на все времена и сроки. Чаадаев ужасался: “Почему ...русский народ подвергся рабству лишь после того, как он стал христианским, а именно в царствование Годунова и Шуйского? Пусть православная церковь объяснит это явление” (*Второе письмо*).

Дело не в ошибочности или неточности исторических примеров у Чаадаева. Дело в том, что преступно, по Чаадаеву, принимать букву Священного Писания за самую суть религиозной истины. А в известном буквопоклонничестве, смешивающем в Священном Писании Божеское и человеческое (*не-вечное*), повинны, конечно, и православие, и католицизм, а особенно — протестантизм.

“Его [Христа] Божественный разум живет в людях... а вовсе не в составленной Церковью книге” (*Восьмое письмо*). “Совершенно не понимает христианства тот, кто не видит, что в нем есть чисто историческая сторона, которая является одним из самых существенных элементов догмата и которая включает в себе, можно сказать, всю философию христианства, так как показывает, что оно дало людям и что даст им в будущем. С этой точки зрения христианская религия является не только нравственной системою, *заключенной в преходящие формы человеческого ума*, но вечной божественной силой, действующей универсально в духовном мире... Именно таков подлинный смысл догмата о вере в Единую Церковь, включенного в Символ веры” (*Первое письмо*. Курсив мой — Б.Ф.).

Соединение в Единую Церковь предполагает идею *всединства* и материального и духовного. Это отнюдь не материализм,

не пантеизм (неизбежно логически разлагающийся и переходящий либо в поглощение Бога миром — атеизм, либо в уничтожение в Боге мира — акосмизм); это и не гилозоизм недоумков, вроде марксистов-ленинистов, наделяющих материю — на высших ступенях ее развития — психическими атрибутами. Это всеединство, в котором невольные аналогии нашего сознания с миром вещественным находят свое оправдание в мире вне нас. "Подобно тому, как в природе всякая вещь связана со всем, что ей предшествует и что за нею следует, так и всякий отдельный человек и всякая мысль людей связаны со всеми людьми и со всеми человеческими мыслями, предшествующими и последующими: и как едина природа, так, по образному выражению Паскаля, и *вся последовательная смена людей есть один человек, пребывающий вечно*, и каждый из нас — участник работы сознания, которая совершается на протяжении веков ... И если я постигаю всю осязаемую материю, как целое, то я должен одинаково воспринимать и всю совокупность сознаний, как единое и единственное сознание"\* (*Письмо пятое*). Итак *целое* первее своих частей. Человечество в целом, как всеединство, уже не чисто шеллингианское, а близкое к софиологии Восточной Церкви — это и есть предмет истории.

"А что такое то мировое сознание, которое соответствует мировой материи и на лоне которого протекают явления духовного порядка подобно тому, как явления порядка физического протекают на лоне материальности? Это не что иное, как совокупность всех идей, которые живут в памяти людей. Для того, чтобы стать достоянием человечества, идея должна пройти через известное число поколений; другими словами, идея становится достоянием всеобщего разума лишь в качестве традиции". А "идеи эти, возникающие посредством взаимного соприкосновения душ и в силу таинственного начала, которое увековечивает в сознании действие сознания верховного, поддерживают жизнь природы духовной таким же порядком, как сходное соприкосновение и аналогичное начало поддерживают жизнь природы материальной. Так продолжается во всем первичное воздействие; так оно выливается окончательно в некое провидение,

\* Ср. с "Grand' Être" О. Конта, с учением о Св. Софии Вл. Соловьева, о П. Флоренского, о С. Булгакова и др.

постоянное и непосредственное, простирающее свое действие на всю совокупность существа” (*Пятое письмо*).

Человек — не существо обособленное, таков он лишь “в отвлечении”, а в реальности, то-есть *в истории*, он дан как часть всеединства. И здесь — трагическое и неизбывное противоречие Чаадаева. Как уже говорилось выше, мир духовный, мир нравственный лежит вне законов естественных. В нем царствует свобода, даже прихоть. Человек тяготеет этой свободой, но она дана ему Всевышним. Но где же тогда закон истории? И где же тогда Божественное Предопределение? А ведь человек живет в истории, и “всюду примечает он эти всеисильные и неизгладимые идеи, нисшедшие с Неба на землю, без которых человек давно бы запутался в своей свободе”, от которой, как мы увидим, человек стремится — и должен стремиться — как-то освободиться. Ведь человек “стремится лишь как можно лучше постигнуть пути Господни во всемирной истории человечества. Он влечется к одной только небесной традиции; искажения, внесенные в нее людьми, для него дело второстепенное. И тогда он поймет, что есть надежное правило, как среди всего необъятного моря человеческих мнений отыскать корабль спасения, неизбежно направляющий путь по звезде, данной ему для руководства... И если только ему единожды доказано, что весь распорядок духовного мира есть следствие удивительного сочетания первоначальных понятий, брошенных самим Богом в нашу душу, с воздействием нашего разума на эти идеи (то есть, опять-таки, Богочеловеческий процесс, то есть Церковь есть сочетание изменчивого и могущего быть отмененным и замененным *человеческого* с вечным Божественным — *Б.Ф.*), ему станет также ясно, что сохранение этих основ, их передача из века в век, от поколения к поколению определяется особыми законами и что есть, конечно, некоторые видимые признаки, по которым можно распознать среди всех святых, рассеянных по земле, ту, в которой, как в Святом Ковчеге, содержится непреложный залог истины” (*Второе письмо*).

Эта непреложная Истина — сам Иисус Христос, сама Божественная Личность Его. История воистину началась лишь с христианством, ибо только тогда обожился весь ее процесс. Ибо “христианское учение рассматривает совокупность всего на ос-

нове возможного и необходимого перерождения всего нашего существа, и именно к этому должны быть направлены все наши усилия” (*Третье письмо*). Церковь отнюдь не “не от мира сего”, ибо дело ее на земле — дело историческое, *социальное*: “в христианском мире всё необходимо должно способствовать — и действительно способствует — установлению совершенного строя на земле; иначе не оправдалось бы слово Господа, что Он пребудет в Церкви своей до скончания века” (*Первое письмо*).

Итак, история — это Богочеловеческий процесс, целенаправленный и — поскольку Бог вездесущ и всемогущ — предопределенный. Чаадаев повторяет слова Монтеня, вполне с ним соглашаясь, что “повиновение есть истинный долг души разумной, признающей Небесного Владыку и Победителя”. Ибо “нет иного разума, кроме разума подчиненного”; человек должен признать *свободно* “главенство подчиненности над свободой и зависимость устанавливаемого нами для себя закона — от общего закона мирового”. Следовательно, мы должны, “принимая свободу, как данную реальность, признавать зависимость подлинную реальностью духовного порядка, совершенно так же, как мы это делаем по отношению к порядку физическому” (*Третье письмо*). Как это напоминает суровый детерминизм Константина Леонтьева! Только взамен ярко-пестрого, богатого разнообразием добра и зла, красоты и безобразия, человечески более чем несовершенного и всё-таки прекрасного мира Леонтьева, — в конечной исторической Осанне Чаадаева это — “жизнь совершенной подчиненности; жизнь, которой... [человек] некогда обладал [до грехопадения — *Б.Ф.*], но которая ему обещана и в будущем... ..Это Небо: и другого неба помимо этого нет\* ...Ведь это ничто иное, как полное обновление нашей природы в данных условиях, последняя грань усилий разумного существа, конечное предназначение духа в мире” (*Третье письмо*).

А как же быть со свободой? И что остается от нашей человеческой, личной самодеятельности, к которой так решительно призывает Чаадаев? Над нами, по его словам, “безраздельно господствует, определяет всякое наше действие... нравственный

---

\* Не напоминает ли этот будущий рай человечества — рай “Великого Инквизитора” Ивана Карамазова?

закон”, “но, вместе с тем, сохраняя в нас посредством какого-то дивного сочетания, *через непрерывно являющееся чудо* сознание нашей самодеятельности, он налагает на нас грозную ответственность за все, что мы делаем ...даже за каждую нашу мимолетную мысль (*Третье письмо. Курсив мой — Б.Ф.*). Так в чем же, рассуждая более ясно и просто, при таком чаадаевском, почти кальвинистски непреложном (увы, у многих православных, католических и протестантских богословов тоже) предопределении и неукоснительном подчинении — эта самодеятельность, эта свобода воли? А в том, что я как-то все-таки *сознаю* свою свободу. “А сознавать — значит действовать. Стало быть, я на самом деле постоянно действую, хотя в то же время подчиняюсь чему-то, что гораздо сильнее меня — *я сознаю*”. Так как я не знаю, не могу осознать точно, что ожидает от нас Бог, то я относительно свободен, ибо, “покоряясь Божественной силе, *мы никогда не имеем полного сознания этой силы*; поэтому она никак не может попирать нашей свободы. Итак, наша свобода заключается лишь в том, что мы не ощущаем нашей зависимости: этого достаточно, чтобы почесть себя совершенно свободными и солидарными со всем, что мы делаем, со всем, что мы думаем. К несчастью, человек понимает свободу иначе” (*Четвертое письмо. Курсив мой — Б.Ф.*). Да *так* понимать свободу человеку трудно, если и невозможно. Разве это рассуждение Чаадаева не явный софизм? Более того, весьма иезуитское разрешение неразрешимого противоречия!

Итак, человек — и именно со дня Боговоплощения — живет в истории. Чаадаев при этом говорит, в сущности, лишь о Европе. И, вдобавок, о Европе Западной. Он предвидит и возражение. “Однако, скажете вы, — обращается он к своей русской корреспондентке, — разве мы не христиане? и разве немислима иная цивилизация, кроме европейской? — Без сомнения, мы [русские] христиане, но не христиане ли и абиссинцы? Конечно, возможна и образованность, отличная от европейской; разве Япония не образованна...? Но неужто вы думаете, что тот порядок вещей... который является конечным предназначением человечества, может быть осуществлен абиссинским христианством и японской культурой? Неужто вы думаете, что Небо сведут на землю эти нелепые уклонения от божеских и человеческих истин?” (*Первое*

письмо).

Чаадаеву исторический процесс всеединый процесс истории человечества и истории мироздания — интересен лишь в его конечной стадии — стадии христианского Запада. Но при всем своем детерминизме Чаадаев считает, что далеко не весь христианский Запад спасен для вечной жизни актом Искупления. Не всем даровано и бессмертие. Оно — удел лишь избранных, немногих, тех, кто заслужил его той или иной степенью святости. Бессмертие всякого человека, как имеющего искру Духа Божьего в душе, это, по мнению Чаадаева, ложная идея, пришедшая в историческое христианство откуда-то с языческого Востока, "между тем, всякому известно, что христианская религия рассматривает бессмертие, как награду за жизнь совершенно святой; итак, если вечную жизнь приходится еще заслужить, то заранее обладать ею, очевидно, нельзя" (*Пятое письмо*). Таким образом, мировое всеединство *целого* оборачивается весьма строгим *избранничеством* для отдельных личностей, в это всеединство входящих. Совершенно непонятно, как примирить предопределение — и свободу выбора, как сопрячь предопределение с существованием в мире зла? Значит, и Бог как-то сопрячен злу?

Ответа у Чаадаева мы на этот вопрос не найдем. Он обходит его стороной. "Мы то и дело вовлекаемся в произвольные действия (как же они возможны, если все предопределено? — *Б. Ф.*), и всякий раз мы потрясаем мироздание ...Таково зрелище, которое мы представляем Всевышнему. Почему же Он терпит все это? Почему не выметет из пространства этот мир возмутившихся тварей? И еще удивительнее — зачем наделил Он их этой страшной силой? Он так восхотел (как же возникло зло в мире? — *Б. Ф.*). *Сотворим человека по Нашему образу и подобию*, — сказал Он. Этот образ Божий и Его подобие — это наша свобода" (*Четвертое письмо*). Чаадаев не может выбраться из заколдованного круга. Признать, что Бог, сотворив человека свободным, тем самым, оставаясь потенциально всемогущим и всеведущим, сам ограничил всемогущество свое нашей, дарованной Им самим, свободой — этого признать Чаадаев не решился. И тем самым впал в кальвинистский и *традиционно*-католический, и *традиционно*-православный крайний детерминизм и против-

речия.

Итак, Богочеловеческий исторический всеединый процесс целенаправлен и строго закономерен, предопределен. Законы его аналогичны законам мира материального, как бы составляющего другую сторону двуединого процесса — истории всечеловечества и истории мироздания. "Эти законы — едины, ибо всегда человеческий "ум по природе своей стремится к единству". Единству, предопределенному и Божественным Промыслом и законами тварного мира. Этих основных законов — два, и оба являются производными от основного принципа бытия — и материи, и духа — от движения, изменения, как основы всего. Это — "Притяжение или Всемирное Тяготение", и "Начальный толчок". Начальный акт истории — и ее предел, ее конечная Осанна — Божественный акт творения, Божественный день.

Из признания Всеединства следует и признание единого пути, и признание, что отпадение от единого пути и единого центра и возглавления Церкви, как Тела Христова — есть отпадение от единого пути истории римско-католического Запада. "Конечное может раздробляться, бесконечное никогда. Мысль раздробления соединяется в уме моем с мыслью уничтожения; мысль о единстве — с вечностью". Церковь Христова, история — вечны и бесконечны. Следовательно, отрыв от Рима и Единой Церкви — смерть, выпадение из Богочеловеческого процесса — из истории.

"Что такое христианство? — Наука о жизни и смерти ...Что был бы мир, если б не явился Христос? — Ничто" (*Отрывки. Соч. т. 1, стр. 149, 153*). Рим, католичество — "учение, основанное на верховном принципе *единства* и прямой передачи истины в непрерывном ряду его служителей, конечно, всего более отвечает истинному духу религии, ибо он всецело сводится к идее слияния всех существующих на свете сил в одно чувство, и к постепенному установлению такой социальной системы или *Церкви*, которая должна водворить царство истины среди людей. Всякое другое учение уже самым фактом своего отпадения от первоначальной доктрины заранее отвергает действие высокого завета Спасителя: *Отче Святой, соблюди их, да будут едино, яко и Мы, и не стремятся к водворению Царства Божия на земле*" (*Первое письмо*).

Россия, отпавшая от Рима, принявшая христианство от Восточной Римской империи, от Византии, с самого начала была обречена на отсутствие "определенной сферы существования", на трагический отрыв от подлинной христианской европейской культуры, органически, неразрывно связанной с Римом и Наместником Христа на земле. Нет у нас, по Чаадаеву, ничего, что бы делало нас народом историческим; "ни для чего не выработано хороших привычек, ни для чего нет правил; нет даже домашнего очага; нет ничего, что привязывало бы, что пробуждало бы в вас симпатию или любовь, ничего прочного, ничего постоянного; всё протекает, всё уходит, не оставляя следа ни вне, ни внутри нас. В своих домах мы как будто на постое, в семье имеем вид чужестранцев, в городах кажемся кочевниками" (*Первое письмо*).

При этом Чаадаев не призывает к одним только традициям религиозной высокой духовности. Его трудно назвать "социальным мистиком"-аскетом, как это был склонен делать М.Я. Гершензон. Чаадаев отлично понимает, что в христианстве, говорящем *о воскресении во плоти*, нет и не может быть презрения к плоти мира, к его красоте. "Очень прошу вас не пренебрегать этими внешними мелочами, — пишет он во *Втором письме* своей корреспондентке. — Мы живем в стране, столь бедной проявлениями идеального, что если мы не окружим себя в домашней жизни некоторой долей поэзии и хорошего вкуса, то легко можем утратить всякую утонченность чувства, всякое понятие об изящном". Не одни только античные мыслители, пишет Чаадаев, философствовали в красивой обстановке, но и христианские святые. Отцы Церкви, "святые мужи не думали, что унижают свое достоинство, отдаваясь заботам о таких предметах, наполняющих значительную часть жизни. В этом безразличии к жизненным благам, которое иные из нас вменяют себе в заслугу, есть поистине нечто циничное. Одна из главных причин, замедляющих у нас прогресс, состоит в отсутствии всякого отражения искусства в нашей домашней жизни" (*Второе письмо*).

Но, может статься, отсутствие внешней культуры, стремления к красоте и комфорту быта искупается расцветом культуры духовной, культуры мысли? Увы, Чаадаев так не думает: "Во Франции на что нужна мысль? — пишет он. — Чтоб ее выска-

зять. — В Англии? — чтоб привести ее в исполнение. — В Германии? — чтоб ее обдумать. — У нас? — Ни на что!” (*Отрывки. Соч. т. 1, стр. 153*).

“У каждого народа, — говорит Чаадаев, — бывает период бурного волнения, страстного беспокойства, деятельности необдуманной и бесцельной. В это время люди становятся скитальцами в мире, физически и духовно. Это — эпоха сильных ощущений, широких замыслов, великих страстей народных. ...Через такой период прошли все общества. Ему обязаны они самыми яркими своими воспоминаниями, героическим элементом своей истории, своей поэзией, всеми наиболее сильными и плодотворными своими идеями. Это — необходимая основа всякого общества”.

Но есть ли у нас такой период? — спрашивает Чаадаев — и отвечает категорически: нет. “Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту, была заполнена тусклым и мрачным существованием, лишенным силы и энергии, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. Ни пленительных воспоминаний, ни грандиозных образов в памяти народа, на мощных поучений в предании... Мы живем только настоящим, в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя. И если мы иногда волнуемся, то отнюдь не в надежде или расчете на какое-нибудь общее благо, а из легкомыслия, с каким ребенок силится встать и протягивает руки к погремушке, которую показывает ему няня” (*Первое письмо*).

Чаадаев, конечно, неправ, когда сверх всякой меры идеализирует историческое развитие Запада и противопоставляет ему выпавшую из всемирно-исторического процесса Россию. Но нельзя и не согласиться с некоторыми его положениями, вытекающими из оторванности России от Рима и средиземноморской культуры, по крайней мере, в Московский период русской истории. “Все народы Европы имеют общую физиономию, — продолжает Чаадаев, — некоторое семейное сходство. Вопреки огульному разделению их на латинскую и тевтонскую расы, на южан и северян — всё же есть общая связь, соединяющая их в одно целое и хорошо видимая всякому, кто поглубже вник в их общую историю” (*Первое письмо*). Это — если их не тепереш-

нее, то общее прошлое — прошлое римско-католического христианства.

Россия, по Чаадаеву, оторвавшись от этой материнской пуповины, от этого всеединства, выпала из истории вообще, а "народы в такой же мере существа нравственные, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как отдельных людей воспитывают годы". Нас, русских, "если бы мы не раскинулись от Берингова пролива до Одера, нас и не заметили бы ...В нашей крови есть нечто, враждебное всякому истинному прогрессу. И в общем мы жили и продолжаем жить лишь для того, чтобы послужить каким-то важным уроком для отдаленных поколений, которые сумеют его понять" (*Первое письмо*). Западное христианство универсально, и, оторвавшись от него, мы платим за это по счету.

Христианский мир един, но не единообразен: "отрицать всякую индивидуальность и всякую свободу в духовной сфере" нельзя, не искажая всецелости, всеединства в многообразии христианского мира. Тут Чаадаев опять впадает в противоречие, ибо вопрос о предопределении и свободе, полнейшем всеединстве и многообразии им никак не решен. Поэтому мы так подробно и остановились на этом вопросе, не боясь многочисленных повторений и постоянных возвращений к теме, ибо здесь и таится попытка Чаадаева создать стройную, из единого принципа исходящую философию истории, — здесь тот заколдованный круг, в котором вращается его историософия — и не может найти выхода. Как мы уже говорили, психологическим стимулом, побудившим Чаадаева прийти к Откровению, как единственно возможному "Столпу и Утверждению Истины", было *отчаяние*, полнейшее разочарование в чисто интеллектуальном философствовании.

И хотя произошли революции, трагический отпад протестантского Севера от Рима, хотя и наступили времена секуляризма, безбожия, московский мыслитель полагает, что "сущность вещей... остается все той же, что и прежде, и Европа все еще тождественна с христианством, что бы она ни делала и что бы ни говорила. Конечно, она не вернется больше к тому состоянию, в котором находилась в эпоху своей юности и роста, но нельзя также сомневаться, что наступит день, когда границы, разделяющие христианские народы, снова изгладятся, и перво-

начальный принцип нового общества еще раз проявится в новой форме и с новой силой, чем когда бы то ни было. Для христианина это предмет веры; ему... не позволено сомневаться в этом будущем" (*Шестое письмо*).

Но вскоре после написания этих слов у Чаадаева начинается разочарование в западном христианстве. Этому способствовали и июльская революция, растущая сила европейского буржуа, и предчувствие грядущей социально-культурной катастрофы, и кризис религиозности в Европе — "религиозные чувства ...более не могут овладеть массами". Его вера в огромную социальную силу католичества окончательно пошатнулась. Уже в письме к А.С. Пушкину от 18 сентября 1831 года он не скрывает своего разочарования: "Еще недавно, с год тому назад, мир жил в полном спокойствии за свое настоящее и будущее и в молчании проверял свое прошлое, поучаясь на нем. Ум возрождался в мире, человеческая память обновлялась, мнения сглаживались, страсть была подавлена, гнев не находил себе пищи, тщеславие находило себе удовлетворение в прекрасных трудах... и все интересы людей сводились мало-помалу к единственному интересу прогресса вселенского разума. Во мне это было верой, было легковерием бесконечным. В этом счастливом покое мира, в этом будущем я находил мой покой, мое будущее. И вдруг нагрязнула глупость человека, одного из тех людей, которые бывают призваны, без из согласия, к управлению людскими делами. И мир, безопасность, будущее — все разом обратилось в ничто. Подумайте только: не какое-либо из тех великих событий, которые неспровергают царства и несут гибель народам, а нелепая глупость одного человека сделала всё это!" Человек, реакционные поступки которого так возмутили Чаадаева — король Франции Карл X. Но конечно, не поступки этого короля были причиной разразившихся в Европе событий.

Для Чаадаева с его моноцентризмом наличие единого Пастыря и духовного владыки Европы, а следовательно, и всего христианского мира, делало ненужными и даже вредными троны светских монархов. Едва ли не этим можно объяснить, например, случайно найденную кн. Д.И. Шаховским политическую прокламацию 1848 года, обращенную Чаадаевым к русским крестьянам. Это — черновик, написанный искусственным, неуме-

лым русским, якобы мужицким, языком, призывающий крестьян к восстанию против монархии, ибо — “братья ваши, разных племен, на своих царей-государей поднялись все до одного чело- века. ... Не хотим царя другого, окромя Царя Небесного!” Конечно, этот черновик так и остался черновиком, никому Чаадаев его не передавал, прокламацию эту не распространял. Но для его те- ократического умонстроения эта неумело составленная прокла- мация характерна. Она перекликается с “Православным катехиз- зисом” 1825 г. декабриста Сергея Муравьева-Апостола: “Да бу- дет один царь на небеси и на земли — Иисус Христос!”

И все-таки Чаадаев верит, или старается поверить, что при- дет некий спаситель, если не римско-католический, то другой. В том же письме к А.С. Пушкину читаем: “Но смутное сознание говорит мне, что скоро придет человек, имеющий принести нам истину времени. Быть может, на первых порах это будет нечто, подобное той политической религии, которую в настоящее вре- мя проповедует Сен-Симон в Париже, или тому католицизму нового рода, который несколько смелых священников пытаются поставить на место прежнего, освященного временем. Почему бы и не так? Не все ли равно, так или иначе будет пущено в ход движение, имеющее завершить судьбы рода человеческого?”

Но умный, наблюдательный Чаадаев не слишком-то верил ни в фантастический социализм Сен-Симона, ни в христианский социализм. Он видел, что социализм — в историческом плане, — уже у дверей. В одном из неопубликованных отрывков Ча- адаев вдруг бросает вещие слова: “Социализм победит: *не пото- му, что он прав*, а потому что мы неправы ” (курсив мой — Б.Ф.). Ибо “бедняк, стремящийся к малой доле достатка, кото- рого вам девать некуда, бывает иногда жесток, это верно, но ни- когда не будет так жесток, как жестоки были ваши отцы, те именно, кто сделал из вас то, что вы есть, кто наделил вас тем, чем вы владеете”. Чаадаев лишь ошибся в степени жестокости, ибо социальные революции в нашем веке показали такой звери- ный лик, о каком никто во времена московского мыслителя и не помышлял.

Растущее разочарование в Западе все более сближало Ча- адаева со славянофильским лагерем. Он видел теперь в отрыве России от общеевропейского пути развития не трагическое выпа-

дение ее из истории, а даже некое преимущество. 1 мая 1835 г. он пишет А.И. Тургеневу: "Я держусь того взгляда, что Россия призвана к необъятному умственному делу: ее задача дать в свое время разрешение всем вопросам, возбуждающим споры в Европе. Поставленная вне того стремительного движения, которое уносит там умы, имея возможность спокойно и с полным беспристрастием взирать на то, что волнует там души и возбуждает страсти, она, на мой взгляд, получила в удел задачу дать в свое время разгадку человеческой загадки ...Мне, который любил в своей стране лишь ее будущее, что прикажете тогда делать с ней? Этой точке зрения, свободной от всяких предрассудков, от всяких эгоизмов, замедляющих еще в старом обществе конечное развитие разума, точке зрения, к которой понуждает нас сама природа вещей; этому могучему порыву, который должен был перенести нас одним скачком туда, куда другие народы могли придти лишь путем неслыханных усилий и пройдя через страшные бедствия, этой широкой мысли, которая у других могла быть лишь результатом духовной работы, поглотившей целые века и поколения, предпочитают узкую идею, отвергнутую в настоящее время всеми нациями и повсюду исчезающую. Ну что ж, пусть будет так; я больше вмешиваться не стану. Я громко высказал свою мысль, остальное будет делом Бога ...*Да придет царствие Твое*". "Если угодно, — пишет Чаадаев А.И. Тургеневу в том же 1835 году, — мы — публика, а там (в Европе — Б.Ф.) актеры, нам и принадлежит право судить пьесу".

Несомненно, здесь больше страстного желания видеть Россию молодой, способной сказать новое слово, чем умного скептицизма и холодной констатации историка и философа. Уже в 1845 Чаадаев писал графу Сиркуру: "Ошибки, в которые вы (западноевропейцы — Б.Ф.) так часто впадаете на наш счет, объясняются отчасти тем, что пока мы принимали еще очень мало участия в общем умственном движении человечества. Но, я надеюсь, недалек тот день, когда мы займем ожидающее нас место в ряду народов-просветителей мира ...Вам стоит лишь спроситься об этом у молодой школы, красоты России, чей вдохновенный жар и высокую важность вы сами имели случай оценить ...Как видите, я несколько ославянился."

Да, если десять лет назад, признавая во многом правоту

славянофилов, мысль их Чаадаев считал все-таки узкой, то сейчас эту "молодую школу" он именует "красой России"... В том же письме Сиркуру умный скептик не может не усмехнуться, говоря о лекциях по русской литературе националиста Шевырева: "курс ...возбуждающий все национальные страсти и поднимающий всю национальную пыль. Просто голова кругом идет. Ученый профессор поистине творит чудеса. Вы не можете себе представить, сколько дивных заключений он извлек из ничтожного числа литературных памятников, рассеянных по необъятным степям нашей истории, сколько могучих сил он откапывает в нашем прошлом. Затем он сопоставляет с этим благородным прошлым жалкое прошлое католической Европы и стыдит ее с такой мощью и высокомерием, что вы не поверите".

В письме к кн. П.А. Вяземскому от 29 апреля 1847 г., вполне признавая огромное дарование Гоголя, но весьма скептически относясь к его "Выбранным местам из переписки с друзьями", Чаадаев опять иронизирует: "Но знаете ли, откуда взялось у нас на Москве это безусловно поклонение даровитому писателю? Оно произошло оттого, что нам понадобился писатель, которого бы мы могли поставить наряду со всеми великанами духа человеческого, с Гомерами, Данте, Шекспиром, и выше иных писателей настоящего времени и прошлого. Это странно, но это сушая правда. Этих поклонников я знаю коротко, я их люблю и уважаю, они люди умные, хорошие; но им надо во что бы то ни стало возвысить нашу скромную, богомольную Русь над всеми народами в мире, им непременно захотелось себя и всех других уверить, что мы призваны быть какими-то наставниками народов".

В "Апологии сумасшедшего" (1837 г.), оправдывая свой скептицизм своей горячей, но и зрячей любовью к родине, Чаадаев опять повторил свои старые доводы, слегка смягченные годами раздумий, разочарований и наблюдений. Высоко оценивая деятельность Петра Великого, он, тем не менее, оговаривается: "Не знаю, может быть, лучше было пройти через все испытания, какими шли остальные христианские народы, и черпать в них, подобно этим народам, новые силы, новую энергию и новые методы: и может быть, наше обособленное положение предохранило бы нас от невзгод, которые сопровождали долгое

и многотрудное воспитание этих народов". Где наш выстраданный и порожденный *нашей* историей социальный порядок и быт? "Присмотритесь хорошенько, и вы увидите, что каждый важный факт нашей истории пришел извне, каждая новая идея почти всегда заимствована". "Самой глубокой чертой нашего исторического облика является отсутствие свободного почина в нашем социальном развитии". Не к подражанию Западу призывает Чаадаев, а к самобытности, когда пишет: "Я люблю мое отечество, как Петр Великий научил меня любить его. Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм лени, который приспособляется все видеть в розовом свете и носиться со своими иллюзиями, и которым, к сожалению, страдают теперь у нас многие дельные умы. Я полагаю, что мы пришли после других для того, чтобы делать лучше их, чтобы не впасть в их ошибки, в их заблуждения и суеверия. Тот обнаружил бы, по-моему, глубокое непонимание роли, выпавшей нам на долю, кто стал бы утверждать, что мы обречены кое-как повторять весь длинный ряд безумств, совершенных народами, которые находились в менее благоприятном положении, чем мы, и снова пройти через все бедствия, пережитые ими. Я считаю наше положение счастливым, *если только мы сумеем правильно оценить его*" (*Апология сумасшедшего*).

В учении Чаадаева было, пожалуй, все-таки значительно больше соприкосновения с религиозно-философскими идеями славянофильства, чем со всегда склонным к позитивизму западничеством. И это — не взирая на, так сказать, "западный костюм" взглядов московского любомудра.

Некий излишне настойчивый "моноисторизм" и "моноцентризм" взглядов Чаадаева отмечал уже А.С. Пушкин. В письме к автору "Философических писем" от 6 июля 1831 г. поэт писал: "Вы видите единство христианства в католицизме, то есть в папе. Не заключается ли оно в идее Христа, которую мы находим также и в протестантизме? Первоначально эта идея была монархической, потом она стала республиканской".

В письме к Чаадаеву от 19 октября 1836 г. Пушкин писал: "...я далеко не во всем согласен с вами. Нет сомнения, что схизма (разделение церквей) отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий,

которые ее потрясали, но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие ...и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех. Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была достойна презрения и презираема и т.п. Ах, мой друг, разве сам Иисус Христос не родился евреем и разве Иерусалим не был притчею во языцех? Евангелие от этого разве менее изумительно? ...Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы — разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? ...А Петр Великий, который один есть целая всемирная история! ...А Александр, который привел нас в Париж? ...я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя... но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал ...Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь ...Вы хорошо сделали, что сказали это громко. Но боюсь, как бы ваши исторические воззрения вам не повредили”.

Пушкин оказался пророком. Публикация первого “Философического письма” оказалась роковой для Чаадаева.

Пушкин сказал в своих возражениях Чаадаеву немало правды. Но гениальность Чаадаева — в тех зернах исторических прозрений, хотя и внутренне противоречивых, которые оплодотворили историсософскую мысль, пусть даже одной лишь России. И прав М.Я. Гершензон, сказавший, что “Чаадаев, немолчно твердивший о высших задачах духа, создавший одно из глубочайших исторических обобщений, до каких додумался человек, без сомнения, достоин памяти потомства”.

*Борис Филиппов*

## ГЕОРГИЙ ИВАНОВ В ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ 1910 - 1913 ГОДОВ

Первая книга Г. Иванова "Отплытье на о. Цитеру" с подзаголовком "Поэзы" и с издательской маркой "Его" на титульном листе была памятником связи поэта с эгофутуризмом. Но это влияние не следует преувеличивать. Мечтательные романтические элегии с осенними закатами, туманами, меланхолией, преобладание зрительных впечатлений, привязанность к поэтическим сюжетам на манер 18-го века — все это говорило о более разнообразных влияниях, чем только Северянин или Кузмин. Главные компоненты творческой манеры в "Отплытьи": декоративность, стилизация, ретроспективность, грациозный, но и наивно-простодушный вкус, напоминавший некоторых художников "Мира искусства", например, Борисова-Мусатова:

В зелени грустит мраморный купидон  
О том, что у него каменная плоть.  
Девушка к платью спешит приколоть  
Полураспустившийся розовый бутон.

Н. Гумилев отмечал это стихотворение в своей короткой рецензии как пример "развития образа", причисляя это умение к крупным достоинствам поэзии Г. Иванова. "В стихотворении "Ранняя весна", — писал Гумилев, — "в зелени грустит мраморный купидон", но грустит не просто как он грустил в десятках стихотворений других поэтов, а "о том, что у него каменная плоть"<sup>1</sup>.

---

1. Н. Гумилев. *Собр. соч. в четырех томах*, т. 4, Вашингтон, изд. Камкина, 1968, стр. 292.

“Отплыть” — небольшая книга, включающая только сорок стихотворений. Пять из них помечены 1910 годом, остальные написаны в следующем году. И. Агуши в своей работе о Г. Иванове цитирует его письмо к В. Маркову, в котором поэт вспоминает, что книга целиком была написана за школьной партией в кадетском корпусе<sup>2</sup>.

“Отплыть” вышло в марте 1912 г., т.е. в том же месяце, когда были напечатаны первые сборники других акмеистов — Зенкевича (“Дикая порфира”) и Ахматовой (“Вечер”). Экземпляр “Отплыть” автор послал для отзыва Гумилеву, который вел отдел поэзии и критики в “Аполлоне”. Рецензия Гумилева появилась в апрельском номере (№ 3-4, 1912).

Название сборника заимствовано у художника Антуана Ватто. Знаменитая картина французского живописца изображает партию кавалеров и дам, готовящихся покинуть идиллический остров Венеры. Картину часто ошибочно называли “Отплытие на остров”, вместо “Отплытия с острова” — из-за неправильного названия широко распространенной гравюры, представляющей собой копию работы Ватто. Г. Иванов использовал общепринятое название. Творчество Ватто, как одна из тем в поэзии Г. Иванова, встречается у него на протяжении всего литературного пути, от первого сборника и до последнего.

“Отплыть” предпослан эпитаф — строфа из символистского стихотворения (1896 года) Ф. Сологуба: “Путь мой трудный, путь мой длинный, Я один в стране пустынной, Но улады есть в пути...” Эпитаф выглядит здесь почти случайным, необязательным, легко заменимым. В 1911 г., когда составлялся сборник, произошло знакомство Г. Иванова с Сологубом. Это знакомство не оказало сколько-нибудь значительного влияния на судьбу Г. Иванова.

Чулкову нравилась роль литературного покровителя молодого поэта. Блок в достаточной степени обладал темпераментом наставника. Кузмин с интересом выслушивал литературные “сплетни”. С Мандельштамом Г. Иванов не чувствовал возраст-

2. I. Agushi. *The poetry of Georgij Ivanov*, p. 111.

ной разницы и в житейском плане веселость и смешливость Мандельштама легко уживалась с любовью к остротам и шутке, свойственной Г. Иванову. С Северяниным его связывал эгофутуризм и богемные попойки. А с Сологубом (не в литературе, но в ежедневной жизни) — связать ничего не могло. Он был старше Г. Иванова почти на тридцать лет и обычно держался с новыми знакомыми так, что получил от В. В. Розанова меткую кличку "кирпич в сюртуке". Но стихи его были близки вкусам молодого Г. Иванова настолько, что он взял их в качестве эпиграфа. Знакомству с Сологубом было суждено продолжаться вплоть до отъезда Г. Иванова из России.

Итак, эпиграф может рассматриваться, скорее, как своего рода знак восхищения и дань признания, нежели выражение поэтической идеи или общего интуитивного замысла сборника. И без того маленькая книга пестрит посвящениями: Северянину, Граалю Арельскому, Кузмину, поэту Скалдину, В. Н. Гудим-Левкович и Любови Николаевне Борэ.

"Отплыть" разбито по тематическому принципу: "Любовное зеркало", "Клавиши природы", "Когда падают листья", "Солнце Божие". Кроме того, имеются пролог и эпилог, не идентичные, но очень близкие по размеру и тематически перекликающиеся. "Пролог" — подзаголовок стихотворения "Мечтательный пастух", выдержанного в духе стилизованных пасторалей М. Кузмина. Эпилог тоже "мечтательный":

И снова я — пастух мечтательный,  
И вновь со мною, Хлоя, ты.

Но эпилог, будучи весьма эклектичным, несет в то же время и гумилевские интонации:

Мои пути ничем не сужены.  
Я проходил огни и льды.  
Дарило море мне жемчужины  
И свет таинственной звезды.

Вне отделов сборника, сразу за прологом, идет "Сонет-послание Игорю Северянину" — наиболее эгофутуристическое стихотворение из всех, включенных в "Отплыть":

Ночь надо мной струит золотой экстаз,  
 Дрожит во тьме неверный лук Дианин...

Итак, эта книга Г. Иванова явилась "отплытием" от поэтики Кузмина и поверхностного северянинского влияния — к акмеизму, "Цеху" и Гумилеву.

Г. Иванов не случайно послал экземпляр книги на отзыв Гумилеву в "Аполлон". Очевидно, эта мысль явилась автору "Отплытья" еще до выхода сборника в свет. Во всяком случае, присутствие Гумилева ощущается в книге:

Я как моряк, прибывший к гавани,  
 Коротким отдыхом не пьян.  
 Но к новому готовлюсь плаванью,  
 И сердце рвется в океан.

Стихи сборника отличаются большим жанровым разнообразием. Здесь представлены романс, газелла, триолеты, баллада, элегии, стансы, сонеты, послания. Большинство стихотворений имеет названия, что у более зрелого Г. Иванова — редкость. Эпиграфы, названия разделов и самих стихотворений, посвящения, пролог и эпилог, как и разнообразие жанров и размеров, создают впечатление пестроты, разнородности, разноцветности. К этой "радужной" расцветке надо еще добавить специфический "самоцветный" словарь, все эти амальдины, кристаллы, изумруды, жемчуга, янтари, хризолиты:

Волны кружевом обшиты  
 Сладко пламенной луны.  
 Золотые хризолиты  
 Брызжут ввысь из глубины.

(*"На острове Цитеры"*)

Или в первом стихотворении сборника, в строфе о закате, наиболее постоянном мотиве ранней поэзии Г. Иванова:

И засыпая, вижу пламенные  
 Сверканья гаснувшей зари.  
 В пруды, платанами обрамленные,  
 Луна роняет янтари.

(*"Мечтательный пастух"*)

Уже в этой первой книге можно разглядеть те особенности поэзии Г. Иванова, которым будет суждено развиваться в его дальнейших сборниках. Таково, например, частое обращение "к созданным уже до него человеческим образцам", как это сформулировал критик Павел Громов, говоря о Мандельштаме. Это свойство поэзии Мандельштама времени "Камня" роднит его с привязанностью к "культурным образцам" в поэзии Г. Иванова. Недаром одно из определений акмеизма, данное Мандельштамом, — "тоска по мировой культуре". У Мандельштама "камень" — не природа, а материал архитектуры.

У Г. Иванова раннего периода не может быть "отплыть" куда-то вне культуры. Это — отплыть на остров Антуана Ватто и на остров европейской культуры вообще, в том числе культуры новейшей: "Луна взошла совсем как у Верлена".

Когда эпоха и культура воспринимаются как нечто единое, неизбежна театрализация восприятия. Характерен и театральнейший жест:

Схожу с гранитных ступеней,  
К закату *простираю* руки.

Или слово "портьеры", неоднократно встречающееся в "Отплыть". Или еще один образ: оперный певец поет, "томясь в *мишурном* горе".

Из театрализации видимого возник целый "актерский" цикл, включенный в следующую книгу Г. Иванова.

Мотив театральности останется в творчестве Г. Иванова еще лет на десять, почти до самой эмиграции. В книге "Сады" (1921) этот мотив воплощен в одном из лучших стихотворений сборника:

В середине сентября погода  
Переменчива и холодна.  
Небо точно занавес. Природа  
Театральной нежности полна.

Каждый камень, каждая былинка,  
Что раскачивается едва,  
Словно персонажи Метерлинка  
Произносят странные слова...

Мотивы ретроспективности и театральности объединены в "Стансах" ("Отплыть"):

Маскарад был давно окончен,  
Но в темном зале маски бродили,  
Только их платья стали тоньше,  
Точно из дыма, точно из пыли.

Но подлинный пафос этой разнородной книги — утверждение зримого мира, воспевание того, что составляет "радость для глаз", пусть это даже и "обманный рай". Умение видеть точно, "акмеистически" проявилось у Г. Иванова еще до его вступления в акмеистический "Цех Поэтов".

Гумилев в своем отзыве на "Отплыть" подчеркивал у Г. Иванова "большую сосредоточенность художественного наблюдения". И это качество таланта, писал Гумилев, "заставляет верить в будущность поэта"<sup>3</sup>. Замечательно, что в своей рецензии на вторую книгу Г. Иванова Гумилев опять отметил то же свойство: "Ему хочется говорить о том, что он видит". Варьируя эту мысль, Гумилев повторяет: "инстинкт созерцателя, желающего от жизни прежде всего зрелища"<sup>4</sup>.

Вскоре после издания своей первой книги Г. Иванов, по видимому, в апреле 1912 г., был принят в "Цех Поэтов", существовавший с осени 1911 г. Некоторые подробности об этом литературном объединении мы находим в мемуарах поэта Вл. Пяста. Вначале, вспоминает Вл. Пяст, никто не ставил знака равенства между принадлежностью к определенному литературному методу и направлению. В первую пору существования "Цеха" в нем участвовали Вяч. Иванов и Блок. Но постепенно "Цех" обрел черты акмеистической школы. 18 февраля 1912 г. на заседании Общества Ревнителей Художественного Слова при "Аполлоне" Вяч. Иванов прочел свой доклад о символизме. Во время обсуждения доклада Гумилев и Городецкий выразили свое неприятие символизма. В результате Вяч. Иванов и Блок вышли из "Цеха".

---

3. Гумилев, т. 4, стр. 293.

4. Гумилев, *Там же*, стр. 342.

Одно время Блок рассматривал акмеизм только как бунт против Вяч. Иванова, против его претензий на сверхискусство, как восстание против его неодолимого авторитета и даже, по выражению Блока, деспотизма<sup>5</sup>.

После ухода крупнейших символистов "Цех" быстро стал акмеистическим. Поэзия здесь рассматривалась, как ремесло. Ряд мемуаристов, писавших о "Цехе", вспоминает тамошнее правило, согласно которому при обсуждении стихов запрещалось их одобрять или порицать "без придаточных предложений", т.е. выступать с немотивированной критикой.

Встречи членов "Цеха" происходили два-три раза в месяц. С ноября 1911 г. по апрель 1913 г. состоялось около 25 собраний — на дому у того или другого члена "Цеха". "Акмеизм был решен у нас в Царском Селе" — пишет Ахматова<sup>6</sup>.

Для писательской судьбы Г. Иванова переход от эгофутуризма к акмеизму был событием радикальной важности, сравнимым только с его отъездом за границу в 1922 г. Войдя в "Цех", Г. Иванов был сразу же увлечен "цеховым" отношением к поэзии как к *умению*, увлечен провозглашенной Гумилевым задачей изучать поэтическое творчество как ремесло. Эгофутуризм — прямой родственник "будетлянства". Как и футуристы-будетляне, Северянин старался прежде всего обновить поэтический язык. Проблема обновления словаря никогда не стояла перед акмеистами; вместо нее был поставлен вопрос о новом отношении к слову на основе нового поэтического мироощущения. Компонентом этого нового мироощущения была идея мастерства.

Подход к поэзии как ремеслу был в воздухе эпохи. Брюсов, например, выразил свое отношение к этой проблеме в форме афоризма, ставшего широко известным в литературных кругах: "Поэзия — ремесло, не хуже всякого другого". Андрей Белый в своих критических работах стал уделять существенное внимание анализу стихотворной техники. Вяч. Иванов в Академии Стиха при "Аполлоне", несмотря на свое "теургическое"

---

5. А. Блок. *Собр. соч. в восьми томах*, т. 7, М.-Л., ГИХЛ, 1936, стр. 140.

6. А. Ахматова. *Собр. соч.*, т. 2, München, 1968, стр. 173.

понимание художественного творчества, блестяще демонстрировал на практике "технический" разбор стихотворений. М.Л. Гофман, литературовед, пушкинист, друживший с Вяч. Ивановым, пишет в своих "Петербургских воспоминаниях", что из разбора его (Гофмана) стихов возникла у Вяч. Иванова мысль о поэтической академии, которая вскоре и была основана как Общество Ревнителей Художественного Слова. Лекции Вяч. Иванова посещались многими поэтами, в частности, Гумилевым<sup>7</sup>. Г. Иванов вспоминает себя в это время начинающим поэтом "с вечным вопросом о технике стиха на языке"<sup>8</sup>.

Было несколько особенностей таланта И. Северянина, которые привлекли Г. Иванова, например, способность к "поэтической живописи". Затем, то качество поэзии И. Северянина, о котором Брюсов сказал: "какая-то бодрость". В "Садах" (1921) и отчасти в "Вереске" (1916) эта бодрость исчезла, но в трех первых книгах Северянина в ключе "бодрости" звучат даже минорные темы. Г. Иванов порвал с Северяниным, когда тот приближался к зениту своей шумной славы, был сильнейшим увлечением года. Д. Философов, характеризуя художественную жизнь Москвы 1912 года, писал, что публика пережила три больших увлечения: приезд Матисса, кубизм и футуризм.

1912 год столь же важен был и для акмеистов. После книг Ахматовой и Зенкевича в апреле вышел первый акмеистический сборник Гумилева — "Чужое небо". В мае В. Нарбут опубликовал в издательстве "Цеха" свою книгу "Аллилуя". В октябре Городецкий напечатал "Иву": часть стихотворений этой книги обнаруживает желание автора "быть акмеистом". В октябре вышел первый номер небольшого журнала (32 страницы) "Гиперборей", фактического органа акмеистов. В первом номере были помещены стихи Мандельштама, Ахматовой, Гумилева, Городецкого, Нарбута. Здесь еще нет стихов Г. Иванова, но в дальнейшем он становится одним из сотрудников "Гиперборей". Было организовано и издательство того же названия; под его

7. М. Гофман, "Петербургские воспоминания". — *Новый Журнал*, 43, 1955, стр. 126.

8. Г. Иванов. *Петербургские зимы*, стр. 204.

маркой вышел, в частности, второй сборник Г. Иванова "Горница".

В 1912 г. Г. Иванов окончил кадетский корпус и получил офицерский чин. И. Агуши, давая небольшой перечень биографических фактов, пишет, что после окончания корпуса Г. Иванов оставался некоторое время в армии. Косвенное подтверждение этого факта можно найти в стихотворении Мандельштама "Царское Село", посвященном Иванову и в то же время единственном стихотворении в "Камне", связанном с "военной" темой. В первой строфе запечатлен воздух вольности, юности, богемы, которым дышало это поколение петербургских поэтов.

Поедем в Царское Село  
Свободны, ветрены и пьяны,  
Там улыбаются уланы,  
Вскочив на крепкое седло.  
Поедем в Царское Село!

(Ахматова заметила ошибку — в Царском уланы никогда не было).

В Царском Селе в доме Гумилева неоднократно происходили собрания "Цеха". Гумилев посвятил Г. Иванову стихотворение "Надпись на книге" (1912), пародирующее один из мотивов его "Отплыть":

Милый мальчик, томный, томный,  
Помни — Хлоя больше нет.  
Хлоя сделалась нескромной,  
Ею славится балет.

Однако, Гумилев же написал о стихах Г. Иванова: "Первое, что на себя обращает внимание... это стих. Редко у начинающих поэтов он бывает таким утонченным". Атмосфера эпохи, блестящее литературное окружение, в которое так своевременно попал Г. Иванов, способствовали быстрому развитию дарования, определили его литературные симпатии и круг поэтических тем. Диапазон литературных связей у Г. Иванова ко времени работы над второй книгой (апрель 1912 — март 1914) был столь широк, что можно говорить о своеобразном синтезе современной ему петербургской поэзии в его раннем творчестве.

Вскоре после окончания корпуса Г. Иванов поступил вольнослушателем в Петербургский университет. "Там в 1912-13 гг. его часто можно было встретить в знаменитом университетском коридоре в обществе Г. Адамовича, О. Мандельштама и сына Бальмонта"<sup>9</sup>. Романо-германское отделение университета было, по словам Адамовича, "чем-то вроде штаб-квартиры молодого, недавно народившегося акмеизма"<sup>10</sup>. Здесь устраивались вечера поэзии, где в узком кругу поэтов и студентов-филологов читали свои стихи Гумилев, Ахматова, Мандельштам, Г. Иванов.

Другим местом встреч с поэтами как петербургскими, так и заезжими, было знаменитое артистическое кафе "Бродячая собака", блестяще описанное Г. Ивановым в его книге воспоминаний "Петербургские зимы". Есть несколько кратких воспоминаний, точнее, упоминаний о Г. Иванове тех "бродяче-собачьих лет" (выражение И. Одоевцевой). В. Шкловский, перечисляя посетителей кафе, пишет: "Здесь был Г. Иванов, вероятно, красивый, гладкий, как будто майоликовый...". И еще: "Часто заходил красивоголовый Г. Иванов, лицо его как будто было написано на розовато-желтом курином, еще не запачканном яйце. Губы Георгия Иванова словно застыли или слегка потрескались, и говорил он невнятно"<sup>11</sup>.

Портрет Г. Иванова — на фоне эпохи и на фоне богемного образа жизни дан также в стихотворении Мандельштама, написанном осенью 1913 г.

От легкой жизни мы сошли с ума.  
С утра вино, а вечером похмелье.  
Как удержать напрасное веселье,  
Румянец твой, о пьяная чума?

9. В. Злобин. "Памяти поэта". — *Возрождение*, 82, 1958.

10. Г. Адамович. "Мои встречи с Анной Ахматовой" — *Воздушные пути*, 5, 1967.

11. В. Шкловский. *Жили-были*, М., "Сов. писатель", 1964, стр. 76.

В пожатьи рук мучительный обряд,  
 На улицах ночные поцелуи,  
 Когда речные тяжелеют струи,  
 И фонари как факелы горят.

Мы смерти ждем, как сказочного волка,  
 Но я боюсь, что раньше всех умрет,  
 Тот, у кого тревожно-красный рот  
 И на глаза спадающая челка.

Челка эта была изобретением художника Судейкина, тоже за-  
 всегдажная "Бродячей собаки".

Акмеисты составляли основной элемент знаменитого кафе, без них это место встреч литераторов, художников, артистов вряд ли бы заняло подобающее место в петербургском обществе и литературе. По воспоминаниям враждебного акмеизму Бенедикта Лившица, "совсем другое положение занимали в "Бродячей собаке" "акмеисты". О них даже в гимне с похвалой отозвался Кузмин: Цех поэтов — все Адамы, Всяк приятен и не груб. Ахматова, Гумилев, Зенкевич, Нарбут, Лозинский были в подвале желанными гостями. Но на Мандельштама и Г. Иванова, друживших с нами (с футуристами — В.К.) Пронин посматривал косо"<sup>12</sup>.

В 1912-13 гг. никто не строил "великой китайской стены" между враждующими литературными направлениями. Напротив, представители этих школ встречались друг с другом — в той же "Собаке", у Ф. Сологуба, на других литературных собраниях, как например, в доме Чудовских. Б. Лившиц вспоминает: "В тот вечер, когда меня впервые привел к Чудовским Мандельштам, у них был символист Сологуб с Чеботаревской и акмеисты Гумилев и Г. Иванов"<sup>13</sup>. Сам же Лившиц, как известно, был футуристом.

Летом 1912 г. Мандельштам поселился в Китайской деревне (в Царском Селе) вместе с Бенедиктом Лившицем. Что до Г. Иванова, то он, уже став акмеистом, посещает собрание у Куль-

12. Б. Лившиц. *Полтораглазый стрелец*, Л., "Сов. Писатель", стр. 180. (Пронин — хозяин "Бродячей собаки").

13. Там же, стр. 183.

бина. А его связи с символистами, например, с Блоком и Сологубом, не прекращаются до начала 1920-х годов. Здесь было бы уместно привести записи Блока 1912 и 1913 гг. 13 октября 1912 г.: "Днем у меня — Георгий Иванов". 17 декабря 1912 г.: "Придется предпринять что-нибудь по поводу наглежащего акмеизма и адамизма". Менее чем через месяц, 12 января 1913 г., еще сильнее: "Впечатления последних дней. Ненависть к акмеизму".<sup>14</sup>

Но ненависть Блока не распространялась на акмеистов лично, даже на Гумилева. Известно, например, письмо Блока от 14 апреля 1912 г., в котором он благодарит Гумилева за присылку первого акмеистического сборника стихов "Чужое небо" с дарственной надписью: "Александру Александровичу Блоку с искренней дружественностью". Блок написал в ответ: Спасибо Вам за книгу; "Я верил, я думал" и "Туркестанских генералов" успел давно полюбить по-настоящему; перелистываю книгу и думаю, что люблю и еще многое".

Но вернемся опять к дневнику Блока. Примечательна запись от 26 апреля 1913 г.: "Читали и забраковали стихи Георгия Иванова". Факт в своем роде замечательный: Г. Иванов присылает свои стихи на суд Блока вскоре после публикации (в "Аполлоне" No 1, 1913) акмеистических манифестов.

В это время Блок был тесно связан с издательством "Сирин". По-видимому, Г. Иванов хотел издать свою вторую книгу в этом издательстве, а не под маркой "Цеха Поэтов". Издательство "Сирин" было намного известнее, и у любителей поэзии ассоциировалось с именем Блока. Стихи, отобранные Г. Ивановым для второй книги, не показались Блоку достаточно интересными.

К концу 1913 г. Иванов закончил отбор стихов для "Горницы". Отзыв Блока о "Горнице" совершенно иной. К сожалению, утрачены письма Блока из Шахматова к Г. Иванову — они дали бы многое для понимания блоковского отношения к акмеизму и многое о знакомстве Блок — Г. Иванов, длившемся с 1909 по 1921 г.

14. А. Блок. *Собр. соч.*, т. 8, стр. 610.

В 1913 г. продолжалась интенсивная кружковая жизнь — встречи "Цеха", а также "пятницы" у Лозинского, редактора "Гиперборея", на страницах которого Г. Иванов выступал не только как поэт, но и как критик. В февральском номере журнала была опубликована его рецензия на книгу "Carmina", сборник стихов В. Шершеневича, будущего имажиниста. За месяц до этой публикации в "Аполлоне" одновременно с гумилевским манифестом акмеизма была напечатана статья Г. Иванова "Стихи в журналах 1912 г.". Самую высокую оценку творчества какого-либо поэта Г. Иванов обозначает словом "вкус". Поэты круга "Знание" отталкивали его прежде всего своим безвкусием.

*В. Крейд*

## **ХРИСТИАНСКИЕ АСПЕКТЫ РОМАНА МИХАИЛА БУЛГАКОВА "МАСТЕР И МАРГАРИТА"**

И по своему происхождению и по проблематике творчества Булгаков был прочно связан с христианской духовной и литературной традицией. Но характер этой связи со временем менялся. Рассмотрим это на одном небольшом примере.

Нам известны три основных романа Булгакова. В каждом из трех упоминаются герои "Фауста". В "Белой гвардии" это упоминание почти мимолетно и не имеет такого определяющего смысла, как, например, эпизод с молитвой Елены, которую посылала она через Богородицу Сыну Её. И "...Он появился рядом у развороченной гробницы, совершенно воскресший и благостный, и босой".

В "Театральном романе" сцена самоубийства писателя Максудова сопровождается звуками оперы, доносившимися снизу. "Батюшки! "Фауст"! Ну, уж это, действительно, во-время. Однако, подожду выхода Мефистофеля. В последний раз". И далее: "Дрожащий палец лег на собачку. Тут ...снизу донесся тяжкий басовый голос: — "Вот и я!". Короче говоря, передо мной стоял Мефистофель".

"Мефистофелем" оказался редактор частного журнала, но важно то, что Максудов, пусть в горячке, на мгновение, но увидел в дьяволе своего спасителя. Таким образом, в первом

---

Из самиздатского "Нового Русского Сборника" (Москва, 1980). Печатается без ведома и разрешения автора. — *Ред.*

случае (молитва Елены) совершается чудо: христианская душа взывает к Богу, и Он услышал и помог. Во втором — иная трагическая ситуация: человек решает умереть, так как его ценность — творчество — оказалась ему загубленной, никому не нужной. Но здесь вместо молитв — арии из "Фауста", ожидание выхода Мефистофеля. "Дьявол" явился и спас.

Мистический смысл, конечно, сознательно внесен в каждый из этих эпизодов. Между самими эпизодами есть связь, обнаруживающая духовную динамику перехода писателя от традиционного христианского мироощущения к особому дуализму, который достиг окончательного выражения и разрешения в итоговом произведении Булгакова "Мастер и Маргарита".

Рассмотрим два образа романа "Мастер и Маргарита" — Иешуа и Воланда. Иешуа — это творение Мастера, а Воланд — непосредственный герой "основного" романа.

Иешуа дан в романе Мастера как прекрасный, предельно добрый человек. Но — *только человек*, "историческая личность", необыкновенность которой можно объяснить "земной", хотя и исключительной одаренностью. Интерпретируя евангельский образ Христа, Мастер последовательно удаляет все, что указывает на Его божественное происхождение. Божественное происхождение Иешуа не просто замалчивается, но определенно отрицается им самим: "...Я не помню моих родителей. Мне говорили, что мой отец был сириец".

Иешуа считает, что "злых людей не существует на свете", что человека можно сделать добрым простой проповедью. Такая позиция противоречит христианскому представлению о реальном существовании зла в мире, о первородном грехе. Поэтому страдания Иешуа лишены того искупительного смысла, каким наполнена жертва Христа. Про Иешуа не скажешь, что он "смертию смерть поправ", что верующие в него обретают жизнь вечную. Сила Иешуа — это лишь сила обаяния добра, сила примера. Она может морально укрепить людей, но перед реальным злом она беспомощна. Поэтому в критические моменты человеку приходится искать точку опоры по другому адресу: "Когда люди совершенно ограблены ...они ищут спасения у потусторонней силы".

Этого достаточно, чтобы на вопрос: был ли Мастер

христианином, определенно ответить: *не был*. Христианин не тот, кто признает реальное существование Иисуса (это делают теперь и многие атеисты) и не тот, кто благоговейно склоняется перед моральной красотой этого образа (как, например, Ренан), а *лишь тот, кто видит в Нем Сына Божия, Спасителя и Искупителя мира*. Этот водораздел абсолютен и переходов не имеет. Если Булгаков разделяет с Мастером его видение Иисуса Христа, то сказанное в полной мере относится и к нему.

И вот перед нами другой персонаж, отрекомендованный нам в эпиграфе, как "часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо". В отношении "блага" Воланд вполне оправдал такую рекомендацию. Более того, он ничем не доказал, что "вечно хочет зла". Заставляя вспомнить о гётевском Мефистофеле, Воланд, однако, искушителем считаться не может. Все его "зло" направлено на наказание такового в людях. Неудивительно, что Воланд вызывает особое почтение: он величествен, "всесилен" и справедлив.

Мысль, что помочь затравленному человеку может разве что Сатана, высказана Мастером прямо. Расстановкой некоторых сюжетных моментов романа эта мысль уточняется и конкретизируется. Мастер ищет спасения у потусторонней силы, потому что "совершенно ограблен". Но вспомним, что Воланд еще до нашего знакомства с Мастером по сути дела прочел Берлиозу и Бездомному первую главу "романа о Понтии Пилате", сославшись на собственное свидетельство, а Мастер, выслушав рассказ об этом Бездомного, воскликнул: "Как я все угадал!" Очевидно, что связь его с Воландом имеет более глубокие корни, ее первоначальный узел зародился тогда, когда Мастер угадал то, что было увидено глазами Сатаны. Покровительство Воланда Мастеру развивается в течение всего повествования таким образом, что становится ясно: связь "человека-творца" с потусторонней силой *первична и более глубока*, чем у "просто человека", который "ограблен".

Теперь иная связь: Мастер — Иешуа. Эти образы близки принципиально. Творческая личность, следующая законам добра и правды, неизбежно оказывается обреченной на страдание и своей человеческой судьбой повторяет, "пересказывает"

судьбу Иешуа. У Булгакова структура творческой личности обнаруживает свою двуначальность: как человек, художник бессилен перед реальностью, но он всемогущ, как творец, ибо силу и зрение, необходимые для творчества, черпает в сверхестественном. Поэтому Мастеру, например, хватает одного возгласа "Свободен!"; чтобы определить загробную участь Пилата, которого он "воссоздал" в своем романе, но он ничего не может сделать сам даже против подонка Алоизия. Сверхестественной силой Булгаков наделяет Воланда (но не Иешуа!). При такой расстановке акцентов связать идею творчества с дьяволом было вполне логично. Но нет ли для этого и другой причины, о которой не говорит Булгаков, но которая вполне реальна и содержится в двойной природе искусства?

Грехопадение Первочеловека отторгло его от Бога и исказило все творение, в центре которого стоял Человек. Явление оторвалось от сущности, вещи — от их истинного наименования. *В основе искусства лежит надежда восстановить первичную связь, вернуть вещи её настоящее, Богом данное имя* и тем самым возратить себе и лицезрение Бога. Искусство содержит в себе эту возможность, но и возможность уклониться от своей идеальной цели, остаться только искусством, замкнутым в собственные рамки, неспособным прорваться к Богу и вывести за собой человека. В таком смысле искусство и может оказаться "в ведомстве Сатаны".

Сын профессора Духовной Академии и духовный сын русской православной культуры, Михаил Булгаков не мог обойтись без Христа, как это вышло у "великого язычника" — автора "Фауста". Наряду с Сатаной, как метафизическим источником силы, он сохраняет и образ Иисуса, как воплощение предельного добра. Это — результат своеобразной дуалистической позиции, которая началась с расслоения личности на "просто человека" и "человека-творца", привела к распределению ее между двумя полярными силами мироздания и логически завершилась примирением этих сил. Хотя автор прямо и не сталкивает Иешуа и Воланда в действии романа, но он косвенно дает понять, что онтологической вражды между ними нет. Это видно и из того, как Воланд повествует о событиях в Ершалаиме, как защищает факт

существования Иешуа, и из того, как Иешуа просит Воланда взять Мастера к себе и наградить его "покоем".

Возможны ли такие отношения между истинным Христом и Сатаной? Категорически отрицательный ответ не только известен заранее, но выводится из романа: примирить эти два полюса настолько невозможно, что художественное утверждение невраждебности между ними привело к смысловому смещению на обоих полюсах — в той мере, в какой Воланд уже не Сатана, Иешуа — не Христос.

Но попробуем представить, что Воланд — воплощение зла и лжи, лишь прикрытое, как это и должно быть у Сатаны, маской справедливости. В свете этого представления роман получает совершенно новое звучание.

Итак, что должен делать Сатана, чтобы полнее достичь своей цели? Ясно, что проявлением себя в виде откровенного зла или простым обманом он не возьмёт успеха у тех, кто выбрал истину и добро. Следовательно, ему остается прибегнуть к более изощренным видам обмана, подмены. Не их ли и осуществляет Воланд? Он привлекает к себе определенными добродетелями, справедливостью, и даже своеобразной эстетичностью жестов, юмором. В качестве подмены Воланд подает то, что внешне и не противоречит истине: защищая, например, фактическую правду (существование Иешуа), он вроде бы честно склоняется даже перед той истиной, которая для него невыгодна. Но достаточно вспомнить, *чем* Иешуа отличается от Христа, как становится понятным, что такая "правда" мира не перевернет, а людей обманет легче и надежнее, чем прямая ложь, как, например, в поэме Иванушки. И тут оказывается, что "правдолюбие" Воланда заслуживает кавычек, а сам он раскрывается, как дух подмены и лжи.

На вопрос, почему Мастер "не заслужил свет", все критики, этот вопрос ставившие, отвечают вполне единодушно, и смысл ответов сводится к тому, что Мастер сам отказался от дальнейшей борьбы, от творчества и т.д. Если учесть, что такой ответ вытекает непосредственно из признаний самого Мастера ("ничего больше не хочу в жизни"), да еще сопоставить это с гётевским "лишь тот достоин...", то возразить против догадки критиков, конечно, нечего.

Но можно ли остановиться на этом объяснении? Является, например, следующий вопрос: почему Мастер *устал*, так сказать, принципиально, необратимо? — Потому, что "его хорошо отделали" — справедливое объяснение. Но оно все-таки не универсально для такого серьезного вопроса, так как открывает лишь первый психологический слой. Удовлетворительный по полноте ответ можно дать только в свете допущения, что Воланд — "отец лжи", а Мастер — "прельщенный" художник, который, на руку Сатане, искажает образ Христа. Этим он отторг себя от "света", но страданиями и мытарствами заслужил "покой". Главная причина усталости Мастера в том, что он стянул всю свою жизнь в конечную задачу — написать роман, и, стало быть, смысл его бытия мог раскрыться ему самому, реализоваться лишь внутри темы романа. Но его герой Иешуа оказался *только* человеком, не могущим дать онтологической опоры ни другим героям, ни самому автору.

Таким образом, если принять формулу, что Воланд — подлинный Сатана, а Мастер — "прельщенный" художник, то она позволяет нам обнажить существенную связь между самыми важными сторонами бытия Мастера: смыслом его гворчества и конечной судьбой. Вне этой формулы характер конечной судьбы Мастера, действительно, можно объяснить лишь его "усталостью", отказом от деятельности, то есть моментом, который сам является следствием более глубинных причин. А ведь именно творчество делает Мастера "мастером" и по самой сути отличает его от других героев. Следовательно, только внутри этого творчества и надо искать причину всех важных поворотов в судьбе Мастера.

Вопрос теперь в том: имел ли в виду эту формулу сам Булгаков? Если — да, то наше первоначальное утверждение, что его авторская позиция не является христианской, естественно, снимается. Но дело, по-видимому, обстоит иначе. Вот Левий Матвей приходит к Воланду в качестве "парламентера" и говорит с ним так, как и должен говорить человек, знающий, что перед ним его главный и весьма опасный враг: "Я не хочу, чтобы ты здравствовал" и "я не буду с тобой спорить, старый софист". Учитывая, что Левий — посланник "царства света", мы могли бы поверить, что его устами "глаголет истина". Но вот беда: к

этому моменту Левий Матвей уже скомпрометирован. Мы знаем, что этот человек хотя и честен и самоотвержен, но не всегда объективен, способен озлобляться, а проповеди своего учителя понимал и записывал искаженно, о чем заявлял и сам Иешуа. Лаконичную характеристику: "Ты глуп", данную Воландом Матвею, Булгаков ничем не опровергает. Так эпизод, в котором что-то грозило приоткрыться, остается лишь двусмысленной случайностью.

Если рассматривать конечную судьбу Мастера только внутри логики произведения, то Мастер должен быть помещен, наверное, никак не дальше от Иешуа, чем Понтий Пилат. Ведь Мастер *"все угадал"*? И если прощен Пилат, то неужели измученному Мастеру нельзя простить его "усталости"? Или его ненависти к мерзавцам? Левий Матвей тоже не отличался миролюбием... И все-таки Мастер "угадал" *не все*. Здесь, кажется, нашел себе место феномен весьма примечательный, хотя и не новый в искусстве: произведение отделилось от своего создателя и обрело некую самостоятельность существования. Это — результат особого художественного постижения, когда произведение талантливого писателя оказывается в некоторых поворотах "проницательней", чем его автор. И замечательный художественный талант Булгакова заставляет его в узловых пунктах следовать истине иногда вопреки логике промежуточных построений.

Почему Булгаков, несомненно, достаточно хорошо знакомый с христианским представлением о Сатане, сделал его носителем справедливости, существом гораздо более метафизическим, чем его антипод Иешуа? Представить, что это случилось "по неведению" также трудно, как и допустить, что Булгаков, столько лет и сил отдавший своему роману, решил просто "подурачить" читателя. Наиболее приемлемым объяснением представляется то, что в данном произведении автор выступил с позиций "чистого художника", воспроизведшего мир, как отвлеченную художественную игру, как своего рода театр. Попытаемся рассмотреть это подробней.

Художник соприкасается с сущностью вещей полнее, видит ее ярче, чем человек, не обладающий его способом мировосприятия. Такой человек может приближаться к сущности (или счи-

тать, что приближается) путем осмысливания, анализа явления. Художнику дано непосредственно видеть сущность в самом явлении. Художник обладает метафизической памятью о том идеальном мире, где явление и сущность, вещь и ее имя были целостностью, и метафизическим стремлением к этому миру, который он может и должен воссоздать, вернуть. Это ставит художника перед необходимостью воссоединить явление и сущность, дать имя возрожденному единству, закрепить его в слове, звуке, линии. Риск на пути к этой цели заключается в возможности подмены: вместо целостности "имя-вещь" взять имя, как нечто свободное от изначальной сущности и потому позволяющее вместить в себя произвольный смысл. При этом тоже создается некая целостность, истина, но истина чисто художественная, которая претендует на независимое от внехудожественной реальности существование. Пример такой художественной истины — образы Иешуа и Воланда.

Художник, поместивший себя в мир явлений, нейтральных по отношению к сущности, тем самым уклоняется от ответа на крайние вопросы бытия; он закрывает себе выход к Богу, но не может по-настоящему примкнуть и к дьяволу, ибо и то и другое требует самоопределения относительно подлинной сущности в ее крайнем выражении. (С этой точки зрения "покой", который у Булгакова присужден Мастеру, как награда и наказание одновременно, выражает именно такое отсутствие окончательного выбора). "Чистый художник" подсознательно отказывается идти до конца в своем выборе, а поэтому создает условия, в которых выбор не имеет принципиального, морально-определяющего значения. Так Маргарита, "заложившая душу дьяволу", ничуть не потеряла ни в наших глазах, ни в своей нравственности.

\* \*  
\*

Художник (в том числе и художник "чистого искусства") не только обладает своим миром "для себя", но и предлагает его читателю. Если читатель, опираясь на содержащуюся в таком мире истину художественную, ищет путь к подлинной, то, значит, художник помог ему своим даром и они выигрывают вмес-

те. Если читатель увлекся имеющимся там злом, то ответственность ложится на обоих. Если же читатель принимает чисто художественную истину как уже найденную сущность, то он оказывается "прельщенным". Наконец, читатель может просто принять правила "художественной игры", никак не определяясь в своем выборе. Тогда он оказывается в позиции "чистого читателя".

Художник и читатель ответственны друг перед другом: художник за созданный им мир, читатель — за выбор по отношению к его реалиям. И в этом выборе воплощается их окончательная взаимная ответственность, их заслуга или вина перед лицом Добра.

...Но легко сказать: "был прельщен", "уклонился от выбора" — с высоты опыта нашего времени, когда многое опознано и расставлено по местам. Простая справедливость требует учесть, чему это "уклонение" было противопоставлено. Оно противопоставлялось не выбору добра, а действительному злу, которое вершилось вокруг. Вспомним членов Массолита, вроде Латунского, Берлиоза, Лавровича, вспомним стук в окно Мастера в середине октября, после чего следует легко заполняемый пробел до середины января, вспомним таинственные исчезновения жильцов, облики Аннушек, Алоизиев Могарычей — весь этот кошмар натуральной дьявольщины, где страшное и пошлое сочетается в дурной бесконечности. Это все *реально* окружало Булгакова — Мастера. И можно понять, что мир, где подвизалась дьявольская команда Воланда, начал казаться Булгакову гораздо менее жутким и бесовским, чем эта реальность; пугающим, но интересным театральным представлением, где возможна и счастливая развязка.

Бывают времена, когда выбор "покая" несет оттенок мученического подвига. Бедный "Мастер"! Спасибо тебе уже за то, что ты сделал. Да будет над тобой милосердие Божие и, может быть, оно даст тебе больше, чем "покой".

А. Чедрова

## СОЗИДАТЕЛЬНЫЕ АНТИНОМИИ СЕРГЕЯ РАФАЛЬСКОГО

Есть в английском языке выражение "odd man". Перевести его непросто, ибо оно многозначно: "третий лишний", или — "шагающий не в ногу", в то же время — "необычный, странный", и даже — "решающий голос".

Все эти значения приходят на ум, когда думаешь о Сергее Миличе Рафальском — фигуре яркой и часто обходимой незаслуженным молчанием, из числа совсем недавно ушедших от нас последних мигрантов первой эмиграции.

Суть дела Рафальский, впрочем, сформулировал и сам в одном из своих прямолинейных и одновременно парадоксальных стихотворений:

И только дикое свойство  
всегда оставаться самим собой  
помешало ему  
преуспеть на планете

Имя Сергея Рафальского часто появлялось в эмигрантской прессе, начиная еще с двадцатых годов, главным образом, в публицистических и литературно-критических колонках "В порядке дискуссии". Его публицистика и литературная критика не всегда производили приятное впечатление, часто отличались нетерпимостью и эксцессом, ядовитой иронией, и вообще слишком бурным излиянием чувств. Лишь внимательное прочтение (читателей не всегда на это хватало) способно преодолеть колючий набор едких заявлений, чтобы убедиться в правоте Ренэ Герра, тонко заметившего об иронии Рафальского, что она хоть едкая, но не злая. Ибо Рафальский иронизирует не над личностями, а над

типами, и ему следует великодушно простить полемический запал ироника за нередкую пронизательность и неожиданность наблюдений.

Более того, при внимательном чтении даже публицистики и литературной критики Рафальского убеждаешься в том, что упрощенная фигура эдакого "мыслителя-кавалериста" не имеет ничего общего с действительностью. Мы имеем дело не с рвущимся напролом, но с тонко чувствующим и рефлектирующим сознанием, исключительно противоречивым в своих проявлениях и наделенным счастливой способностью даже при вынесении казалось бы непререкаемых суждений, по сути дела, оставлять вопрос открытым — с интуицией, обогащенной большой культурой, несмотря на резкости и риторические восклицательные знаки.

Однако, лишь посмертно Сергей Рафальский предстал перед нами во всем масштабе не только как газетный публицист, но как вдумчивый автор ответственных философско-исторических обобщений, в самой незначительной бытовой детали угадывающий суть многосложного процесса; как незаурядный прозаик, делающий честь отечественной словесности, и наконец — что казалось бы более всего не соответствует поверхностному впечатлению от его журналистики — как изощренный и оригинальный поэт. После выхода трех томов его воспоминаний, стихотворений и художественной прозы удельный вес Рафальского в нашей литературе неизмеримо возрос, и теперь ясно, что он требует внимания самого настойчивого.

Противоречивость Рафальского, наверное, не всегда была осознана им самим. Ярый враг модернизма, он в своей поэзии чаще всего не считался с традиционными и классическими канонами, хоть и отлично умел им следовать. Как никто другой из современных литераторов (за исключением, может быть, Юрия Иваска) Рафальский умеет мыслить антиномиями; он понимает, что Истина возникает лишь на стыке истин, что в каждом интеллектуальном акте может быть заложено зерно правды. Потенция созидания радикально отличает его от упоенно-непогрешимого тона иных эмигрантских идеологов каждого из трех приливов.

По тем же причинам Рафальского не причислишь ни к како-

му лагерю: он не славянофил и не западник, или, точнее, — и то и другое. Он не переписывает дореволюционное прошлое, но и не сваливает всех чертей в его яму. Он и "реакционер", ведущий крестовый поход против нынешнего упадка нравов, и "прогрессист", эйфорически воспевающий овладение космосом. Его интонация авторитарна, но его мысль плюралистична. Более того, Рафальский отличается обостренным вниманием к социальной несправедливости, сострада не только (что естественно) угнетенным подсоветским народам, но и "униженным и оскорбленным" капиталистических стран, о ком большинство из нас даже не задумывается.

Человек этот любил Россию страстно, несмотря на какие бы то ни было аргументы, исторические и логические. Причем — и это самое замечательное — принимая их и вопреки им. Точно также, как мы любим человека в его целокупности, с добродетелями и пороками, как любили Россию Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Блок, Ахматова. В наши дни, к сожалению, на такое способны немногие.

В стихотворении "Две молитвы" после длинного перечня исторических грехов России — неожиданный взглас:

Все это я слышу, все это я знаю,  
 все обвинения принимаю,  
 но что я могу и что я значу?  
 Вспоминаю Ее и плачу...

И далее:

И вот — не стыжусь ни судьбы воровской и  
злойдейской,
 ни того, что в стране ни свободы, ни сытости нет,  
 вспоминаю Ее  
 — и в помпейской ночи европейской  
 мне как будто бы брезжит далекий  
— в тяжелых туманах  
 рассвет...

И еще:

На распаханных старых могилах  
 одна крапива взошла:

рвачи, стукачи, палачи...

И теперь — хоть кричи,

хоть молись —

Историческая надвигается ночь.

Чем ты можешь ее превозмочь,

на Тарпейской скале недорезанный гусь?

— Отче Наш! Светлым силам Твоим повели

пощади эту бывшую Русь!

Так любил Германию Гете, так сострадал ей в изгнании Томас Манн (назвавший одну из своих книг — "Страдая Германией"), сдержанный немец, закончивший роман "Доктор Фаустус" возгласом отчаяния: "Боже, спаси этот народ!"

Жертвенность такой любви лишает патриотизм мутных примесей, поэтому патриотизм Рафальского благородно чист. Из его стихов и прозы выступает многогранно мыслящая и чувствующая личность, пусть сильно иногда раздражающая, но в основе своей привлекательная.

Многое можно было бы сказать о кратких, но насыщенных воспоминаниях Рафальского, безусловно выделяющихся в мемуарном потоке. Например, о его обращении к теме интеллигенции и народа, которых он с недюжинной мудростью и рассмотрев в целой гамме аспектов и осуждает и оправдывает со страстной точностью. Здесь, однако, мы сосредоточимся на поэзии и художественной прозе Рафальского — двух сборниках, вышедших в парижском издательстве "Альбатрос".

Созидательная антиномия, присущая личности Рафальского, ярко выражена в его стихах. Быть может, именно она обусловила его достижения в трех самых трудных жанрах — эротической, гражданской и религиозной лирики. Надо признать, что такое жанровое многообразие, причем, не в ущерб художественности, в современной поэзии встречается не часто. Конфликт идеального и реального присущ психологии любого большого поэта, но у Рафальского он принимает формы в высшей степени своеобразные. В лирике любовной мы находим контраст телесного натурализма — иногда достойного рубенсовской кисти или верхарновского пера — и возвышенной силы страсти. Ни на йоту не изменяет поэту чувство такта, оксиморонностью (вроде "в постели честные бесстыдство и труды") даже в самых рискован-

ных случаях избегается неоправданный эпатаж (например, в замечательном в своей казалось бы недопустимости стихотворении "Матросы"). Невольно вспоминаются Бодлер и Аполлинер, каковы бы ни были счеты автора с модернизмом, а в русской традиции — горькая, но выверенная муза Ходасевича.

Чувствованиям Рафальского одинаково присущи на одном полюсе — "и пот страстей и вожделений смрад", а на другом — "но сегодня весь день я ношу, как цветок, эту нашу небывшую связь, / теплых губ твоих влажность и вкус апельсина".

В акте любви разрешается противостояние земного и небесного:

Тогда в перинах, будто в пене белой,  
откроет ласкам кротко и несмело  
и плечи, гладкие такой добротной лепкой,  
и грудь, богатую обильем плоти крепкой,  
и выпуклый живот, и круглые колени,  
еще зажатые в глухом сопротивленьи.  
От избытков нежных и простых  
не раз, не два сойдет с ума жених,  
ломая боль, плоть заключится в плоть,  
и труд любви благословив, Господь  
из серебра заветного оклада  
задует сам нескромную лампаду

В отечественном стихосложении крайне редко встречаются подобные целомудренно-сексуальные интонации (на ум приходит разве что Владимир Нарбут), а мы осмелимся предположить, что в одном этом стихотворении подлинного зрота — в его изначальном смысле, как у Рабле и Боккаччо — больше, чем в полупорнографической продукции всех наших так называемых поэтов-авангардистов новейшего призыва вместе взятых.

Э. Райс считает Рафальского "самым выдающимся политическим поэтом современной русской литературы". Это, пожалуй, преувеличение: высшие достижения в этом жанре принадлежат нашим покойным бардам Галичу и Высоцкому. Но то, что перед нами подлинный гражданский поэт — бесспорно, и, как таковой, он значительнее, чем иные, куда более известные в этом жанре имена на эмигрантском Парнасе.

Гражданским стихам Сергея Рафальского присущи негодование и страсть — и никакой дидактики: достижение нелегкое. При этом — еще более редкое — чувство масштаба. Уже в раннем стихотворении:

Швырнуть как псу изглоданную кость  
и спрятать стыд под триумфальной аркой!  
Но все равно — не выржавеет злость —  
Он у ворот великолепный Гость,  
и скоро камни станут выть и каркать!

Или в поздних "Двух молитвах", на фоне исполненного патетической образности плача Ярославны с силой, нагнетаемой каждой строчкой:

О горькая Русь!  
Ты как белая чайка,  
что свивала гнездо у дорог ходовых  
ордой половецкой прошла Чрезвычайка,  
и сколько детей не хватает твоих!  
А другие в стране своей также в немилости,  
как в дикой степи у костров кизяка,  
и то же им снится, что прадедам снилось их,  
и та же цепная томит их тоска,  
и так же, ярясь грозовой кобылицей,  
враговая Смерть над шеломенем став,  
опять, приближаясь, грохочет и злится  
у древних твоих пограничных застав.  
О горькая Русь! Сохрани тебя Бог  
под бураном ветров, на скрещеньи дорог!

У Рафальского присутствует конечно, и изрядная доля романтики, даже с гумилевским оттенком — "Хочу быть веткой попугаевой/ У Козерога малярийного/ Или горой пустого острова/ Где скалы многие закладены/ И у желтеющего остова/ Угадываешь зубы гадины". Экзотические ожидания накладываются и на измерения философско-социально-политические: недаром одна из его поэм так и называется: "Поэма о романтике". Однако, ситуация вполне осознается поэтом и подается с самоиронией: "О, Романтика — лавр на разбитом щите — / Сумас-

шедшая в солнце стрела — / Морковка на кнуте/ Перед мордой классического осла”. Тем изживается — в нужной мере — лихорадочное нищестанство (хотя от сверхчеловеческих мечтаний, воплощенных в фигуре Героя — пусть он окажется даже космонавтом — поэт до конца не отошел).

В гражданском жанре у него основополагающа антиномия между Русью идеальной, мужиком “Опонецким царством” (“Повесть о Скифии”) и кошмаром русской истории, соловей-разбойничьим криком: “Сарынь на кичку!” На одном полюсе — эстетика дворянского быта: “...девушки, что разыгрывали на рояле/ Ланнеровские вальсы в ампирном зале,/ Ели и пили на хрустале и на севрском фарфоре,/ Тонкими пальчиками в парижской лайке/ Поддерживали ворот кружевной разлетайки,/ Когда на тройке в серебряном ноябре/ Катал их кузен, голубой улан”. На другом — забытые мужики, противостоящие Петровой империи — у Рафальского Петр Великий вообще виновник многих зол и предтеча “великого” Сталина — “Искалеченные,/ и изувеченные,/ выжженным клеймом отмеченные,/ с колодками и кандалами,/ исполосованные батогами,/ стеная, взывая, проклятая,/ выжимая из лохмотьев невскую воду,/ в копоты построенных заводов,/ в копоты сгоревших скитов”.

Как разрешилось это очевидное противоречие, и как вообще можно к этому всему относиться? В своих воспоминаниях Рафальский предлагает некое приближение к ответу. Он пишет, цитируя “слова одной маркизы времен Реставрации: “Кто не жил при старом строе, не знает настоящей сладости жизни”. Отвечая воображаемому оппоненту, который указывает на многочисленнейшие язвы “старого строя”, Рафальский, признавая справедливость этих разоблачений, тем не менее, возражает: “Сладость жизни ... могла ощущаться всеми: и нищими, и отверженными, и униженными, и оскорбленными — сладость жизни вовсе не синоним радости и счастья ... Она создавалась ощущением устойчивости общего порядка жизни, исключаящей неожиданные, до сих пор непредвиденные крушения и провалы, и вместе с тем надеждой на возможность медленного, но реального уменьшения обстоятельств отрицательных за счет роста положительных, и могла испытываться только теми, кто хотя бы относительно уважал людей и верил в их человечность”. Справедливость этого

замечания даже принципиальный противник "старого режима" ныне отрицать не сможет.

Эстетизация как дворянского, так и крестьянского быта, вкупе с чувствительностью к социальным проблемам, естественно приводит Рафальского к агрессивной антибуржуазности. Подчеркнем — не к антизападничеству, но антибуржуазности, обличению бездуховного мещанства:

Казался вечным прочный ваш уклад:  
двухспальная кровать, двухспальная Жанетта,  
кино, беллот, вечерняя газета,  
бордо к жаркому и — потом — салат.  
Все было крепкое, привычное, свое —  
жена и дом, имущество, ребенок —  
и вот кончается родное бытие,  
и мир чужой выходит из пеленок!

Развитие технического прогресса приведет к окончательным обесчеловечению и обезбоживанию:

А магией научных откровений  
в металл, как в плоть, войдет наш гордый гений,  
сверхмеханический осуществится Бес,  
и рассчитает он безгрешными мозгами,  
как жить вам всем, как быть со всеми вами,  
каких достойны вы еще небес.  
И захлебнетесь вы в рожденном вами чуде,  
и царствию его конца не будет!

В другом контексте изначальная художественная антиномия делает очередной зигзаг: воспевается завоевание космоса, достижимое лишь благодаря техническому прогрессу. В "Оде Героя" читаем риторические вопросы:

Душа ли шла к истоку света  
в тот рай, в котором рождена?  
Земля ль, созревшая планета,  
в пространство сеет семена?  
Зачем мгновенным метеором  
сгорела гордая душа

над лунным роковым простором  
как некогда — взойдя ль на Форум,  
на диких берегах ли Иртыша?

И далее поэт провозглашает (под влиянием идей Циолковского?) зарождение расы "Конквистадоров Новых Планет". Но каков он, этот из столь различных начал составившийся новый человек-тайна, способный как на апокалиптически-разрушительное, так и на эсхатологически-созидательное деяние:

Он родился, Новый Человек,  
вскормлен жизни волчьими сосцами,  
беспощадными следит глазами,  
как сгнивает обреченный век.  
Кто за ним — Архангел или Бес?  
Что даст миру, милостью Господней,  
в небе механических чудес,  
в духоте машинной преисподней?  
Может быть, как варварский пожар,  
путь очистит он Титанам новым,  
или — упрощенная душа  
в мир войдет дыханьем ледниковым?

Наблюдения над печальной действительностью заставляют поэта в своих медитациях нередко склоняться к апокалиптическому видению. Особенно ярко это видение проявилось в написанной вольным, хоть и рифмованным стихом поэме "Последний вечер", посвященной гибели Атлантиды с явно напрашивающейся современной параллелью — тема, заметим, характерная для эмигрантской русской литературы (достаточно вспомнить трактат Дмитрия Мережковского "Атлантида-Европа" и замечательную, хотя почти и не оцененную поэму "Гибель Атлантиды" Георгия Голохвастова.

Но и светлое эсхатологическое начало мощно звучит в поэтическом творчестве Рафальского. С ним связан важный вопрос об особенностях религиозного сознания Рафальского и его религиозной поэзии. Ему органически присуще то чувство, которое он сам называл "космической религиозностью". Проблематично, в какой мере оно соответствует ортодоксальному православию. Поэт воспитался в мире христианской культуры, христиан-

ские символы доминируют в его сознании, а личность Христа нередко страстно влечет к себе его чувствования и мысли. Но все же, строго говоря, это поэтическое сознание еретика. Приглядевшись, в нем можно найти следы восточных влияний, гностиков и новой теософии, идей Мережковского и Федорова. Но для общей картины его мирозерцания это все не столь уж существенно. Главное — изначальная антиномия, характерно и остро поэтически выявленная.

Временами кажется, что Рафальский — певец земного, материального мира. Его вдохновляет "великий Бог деталей" — у Рафальского на детали хваткий, любовный, пронизательный глаз. С торжественной эпической медлительностью (в русской поэзии сопоставимой лишь, пожалуй, с "самоварными" буколиками Бориса Садовского) он способен описывать степенный быт исполненный "сладоности жизни". Возьмем наугад:

Уже с крыльца своей счастливой хаты,  
 гостям далеким по-простому рад,  
 торопится хозяин тароватый  
 убрать следы бесчисленных цыплят.  
 (беспечной помесью и масти и пород),  
 приветливо скрипят нам "добрый вечер"  
 косые створки стареньких ворот

В углу кровать, как пуховое чудо,  
 в подушках пестрых — и престол, и храм,  
 здесь каждый сон — пролог добра иль худа,  
 а труд любви — серьезен и упрям.  
 А рядом шкаф — устойчивей столетий,  
 на полках блюд неистребимый ряд,  
 что получают по наследству дети  
 и берегут в наследство для внучат...

Приверженность к конкретному громко и не без трагического надлома провозглашается в замечательном "Криптосонете":

...о, вспомнишь ты, пища у смерти в лапах,  
 не бред ума в надзвездных аксиомах,  
 а дымный вечер, а медовый запах

кудрявой пеной взмысленных черемух!  
 И новым циклам обреченный атом,  
 о всем жалея, все простишь земному  
 за шепот встреч при месяце рогатом,  
 за расставанье на заре ленивой,  
 за радость стыдную дышать с руки счастливой  
 девичей плоти тайным ароматом.

Это один полюс. Но проступает и противоположный лейтмотив — лейтмотив царствия чистого Духа, жизни вечной, отделенной от земного осязаемого мира непроходимой бездной:

Когда-нибудь срок свершится —  
 в день страшный и величавый  
 он с телом разъединится  
 и возвратится в Сиянья и Славы  
 и затоскует, святея,  
 о плоти греховной, делах и затеях,  
 о кроткой, простой, как улыбка, природе...

Разрешение антонимии — в чаянии того, что трансцендентное бытие явится нам высоким преображением бытия обыденного, при котором, однако, мирские "дела и занятия", столь любезные слабому человеческому сердцу, сохранятся в некоей метафизической неизменности — "...и маринады, и засол, / пирог, вниманья признак лестный, / сыр покупной, овечий местный, / и все, что сад твой произвел, / и мед всегда усердных пчел, / и водка — грех Руси известный".

При желании, в этом можно усмотреть платоновские интуиции, но мы подозреваем, что здесь скорее пробивается древнее (и еретическое) учение Оригена об апокатастасисе, "всеобщем обновлении", согласно которому в силу бесконечного своего милосердия Господь в конечном счете позволит спастись всему и всем, и необратимых осуждений не будет вовсе.

В "Поэме о потустороннем мире", процитированной выше, Рафальский достигает, может быть, своей художественной вершины:

Настанет вечер тих и прост,  
 и всех уложит сон беспечный.

Я выйду в сад и бесконечный  
из Смерти в Жизнь увижу мост.  
По нем, комет сгибая хвост  
и Путь подравнивая Млечный,  
проходит Он, Садовник Вечный,  
и засекает грядки звезд.  
И воплощаясь перед Ним,  
мы все закон Его творим,  
Ему по-разному покорны:  
один — в дыму колючих вьюг,  
другой — палючий выбрав юг,  
а третий — гордый камень горный

В этих стихах — благородные отзвуки лучших традиций Пушкина и Ахматовой.

Э. Райс полагает, что Рафальский "первый в русской поэзии, после Хлебникова, мастер свободного стиха". Это, на наш взгляд, некоторое преувеличение. Превосходно владел свободным стихом ныне мало кому известный Л. Россиянский. Уже очень давно и чрезвычайно оригинально работают в верлибре Геннадий Айги и Александр Радашкевич.

Но с тем, что свободный стих Рафальского сработан мастером, мы не можем не согласиться. В нем реализуется весь спектр исторически данных русской поэзии верлибрных возможностей — от фигуративных построений нерифмованных "Александрийских песен" Кузмина до тонического стиха и ассонансных рифм Маяковского. Выше были приведены некоторые образчики верлибров Рафальского, выдвигающие его, конечно, в модернисты. Такие стихи его, как правило, патетичны или сатиричны и принадлежат к поэтической публицистике высокого класса.

Нам бы хотелось закончить обзор лирики Рафальского произведением традиционной формы, тем более что этот сонет по-новому раскрывает нами пока еще недостаточно увиденный лик поэта-европейца и "фаустианца", как все европейцы укорененного в классическом мифе. В этом раннем, тонко выполненном стихотворении уже заложены многие темы, прозвучавшие в зрелые годы.

## ПОЛЕТ

Как на костре мечты дремоту жгли,  
отец будил и поднял на рассвете...  
Над морем шел волной упругой ветер  
и перья крыл гудели, как шмели.

Легко взнесли прочь от земли рули,  
крича, внизу бежали стайкой дети,  
день вырастал в торжественном расцвете,  
а горы сизые снижались и ползли.

Крит падал в море дымный, как опал,  
казалось солнце близким и косматым...  
Отец внизу встревоженно кричал, —  
но трудно быть покорным и крылатым...

...Был вечер тих, как мальчик виноватый,  
на берег родины вступал один Дедал.

Таково движение кругов, возвращение в земную напряженность, романтический накал и остро современная грань пути поэта — от Икара к одинокому Герою у лунного Моря Дождей — в эсхатологию и апокалипсис.

\* \* \*

Тема человеческого надмения и религиозного осмысления захватывает и прозу Сергея Рафальского — во всяком случае, две из трех его вещей, вошедших в сборник "Николин Бор". Наибольшей философской потенцией обладает интересная, но не во всех отношениях удавшаяся апокрифическая новелла "Во единую из суббот", трактующая взаимоотношения Христа и Иуды в очевидном противоречии с Евангелием. Иуда предал Спасителя во имя Его же блага — дабы "подтолкнуть время и помочь прославиться" — трактовка, ныне фигурирующая в бесчисленной современной второсортной прозе и драматургии. Писателя можно упрекнуть и в определенной модернизации (ему иногда изменяет столь свойственное его поэзии чувство детали) и недостаточности психологических характеристик (например, Первосвященника и Пилата). Центральный просчет, на наш взгляд, —

философско-этическая немотивированность гибели Иуды — при заданном автором ценностном раскладе.

Желание "подтолкнуть время" порождалось, в конце концов, побуждениями добрыми (наличие в них гордыни совершенно у автора не проявлено), и воскресший Христос обращается к предателю-ученику с "ласковой усмешкой". Почему вдруг "благостный наставник, собиравший всех под всепрощающую любовь, как наседка цыплят под растопыренные крылья, вдруг стал жестоким и беспощадным — Страшным Судьей последнего часа", — совершенно неясно. Ведь как явствовало из предшествовавшего диалога, Христос постигал благие, хотя и ошибочные намерения, приведшие к предательству, и тем не менее Он попустил самоубийству ошибшегося Иуды — с христианской точки зрения — непоправимый грех. Видеть в этой истории всего лишь иллюстрацию к тезису о том, что "благие намерения ведут в ад" — неинтересно: в таком случае историю не следовало и рассказывать.

Есть, однако, в этой новелле замечательная, едва ли не богословская мысль — сродни уже известным нам поэтическим медитациям, и при этом впечатляюще выраженная: о преображении телесного в духе.

На пути в Эммаус "приятный на вид человек" говорит двум своим спутникам: "Этот земной мир и другие, ему подобные, пребывают в Духе, словно капля воды в большой воде. Воскресший в Духе тем самым живет во всех мирах одновременно. Он может из вещества вызвать свою земную плоть, и вот шаги его поднимают дорожную пыль, и, коснувшись его одежд, вы думаете: это настоящая шерсть и притом не от горных овец — та грубее и жестче. Воскресший в Духе может есть и пить, потому что тело его — есть его тело и во всем подобное вашему, но он может обходиться вовсе без пищи и питья, потому что живет и вне плоти. Он бывает одновременно и здесь, и за тысячу тысяч стадий отсюда, входит в дом сквозь запертые двери, а когда садится, старое кресло скрипит от его тяжести..."

Позже, в таверне, когда "духовные очи двух открылись, и с радостным криком они вскочили, опрокидывая табуретки", "над их Спутником в воздухе засияли цветные точки, словно пыль разбившейся радуги, потом сияния превратились в неизъяснимое

звучание, и третья тень на стене, быстро бледнея, пропала”.

Открывающая сборник повесть “Искушение отца Афанасия” задумана автором как “стилизация под советскую жизнь”, которую на собственном опыте он фактически не знал. В общем и целом стилизация удалась — но основной конфликт опять-таки интеллектуальный и религиозно-психологический. Молодой партиец по распоряжению свыше должен внедриться в лоно православной церкви с подрывными целями для разложения иерархии и верующих изнутри: для советской действительности ситуация отнюдь не невероятная. Молодой человек, убежденный “диаматчик”, в серии идейных столкновений приходит к переоценке ценностей. Автор сознательно покидает его на перепутьи. По наивности сообщив партийным инстанциям о содержании своего разговора с семинарским профессором логики, герой оказывается виновником ареста профессора. На короткое время он успокаивается тем аргументом, что при напряжении всех мускулов носильщика тяжести даже апельсиновая корка может оказаться роковой — носильщик споткнется и упадет. Также, как апельсиновую корку, партия отбрасывает, мол, и церковников, когда все силы общества напряжены до предела. Героя помещают в лагерь, дабы отвести подозрения в связи с арестом профессора. Там, в общении с заключенными раввином и епископом, он все более осознает, что примером с коркой вопрос не решается. Когда ему приходится принять, не будучи на самом деле священником, исповедь умирающего карателя, происходит “падение вверх” — “отец” Афанасий признается раввину в своем изначальном обмане.

“Но вот марксистская броня лопнула, и с этой трещиной исчерпались все возможности публицистической беллетристики” — иронически резюмирует автор.

Хотя сам Рафальский считает эту вещь публицистической, здесь, по выражению Бориса Филиппова (имевшего ввиду даже не прозу его, а мемуары), “Рафальский-художник постоянно побеждает Рафальского-публициста”. Повесть написана на редкость экономно, и лирические отступления в ней сделаны мастером. К примеру: “Дул острый северный ветер, взметал по затвердевшему насту дымками и змейками снеговую пыль. Неровной щеткой свисали с крыш сопли сосулек. На покрытом густой

узорной изморозью стекле окна в оставшейся, совершенно неизвестно почему, круглой прозрачной дыре видно было, как в провалившемся сугробе, раздавленная оледенелой массой, корчится полумертвая низкорослая сосенка. Одна ее ветка, сломавшись, кривой костью пронзала грязный снег и торчала наружу желтой раной, другая — еле вылезавшая из обмерзлой норы, бессильно мотала по ветру пучком растопыренной хвои, как будто немеющие пальцы умирающей призывали уже запоздавшую помощь". Если бы все наши публицисты писали такую прозу, отечественная словесность весьма немало бы выиграла.

Самая значительная — и самая пространный — в сборнике повесть, давшая ему название. В предуведомлении автор так определяет свой замысел: "...герои ведут себя, как вполне исторические личности на полном закате первой и второй эмиграций, хотя — формально — ими не являются".

Тема знакома ему досконально — на собственном грустном опыте. Повесть, в сущности, представляет собой хронику одного дня из жизни обыкновенного эмигранта, между первой и второй волнами бежавшего через советскую границу — Александра Петровича, "псевдогероя", как выражается автор. Определение "псевдогерой" лукаво, ибо наводит на мысль об антигерое, тогда как Александр Петрович выписан с любовью и наделен, подозреваем, некоторыми автобиографическими чертами. Во второй части повести есть ретроспекция в прошлое, а кроме того в ней содержится вставная новелла "Николин бор" — остроумно-пародийная парабола о русской революции, где действуют ведьмы, домовые, лешие, "чертячи пареньки" и некий жуткий кабатчик Виссарионыч. Местами эта вставная сказка забавнее Орвелловского "Скотского хутора".

Главный поток повествования преподносит нам ряд эмигрантских типов, вычерченных столь ярко, что внимание читающего не ослабевает ни на минуту. Здесь Рафальского почти покидает его ядовитый публицистический сарказм и, не скрывая всех слабостей, часто комических, своих персонажей, он проявляет к ним то мягкое сочувствие, которое составляет одну из самых привлекательных традиций классической русской прозы. Ироническое остранение не мешает сопереживанию. Перед нами проходят знакомые патетические типы с их идиосинкразиями

ями и добродетелями: сам главный герой, оказавшийся без работы по причине репатриации своего работодателя, хозяина декоративной мастерской в Израиль; Ной Ноич, "веселый человек с орлиными глазами и бараньим носом", нацмен и владелец русской продуктовой лавки; Геннадий Демьянович, брошенный молодой женой и отчаянно ищущий собутыльника; русский немец Кранц, грустный филантроп с его любовной ненавистью к бывшему отечеству; "Нукины дети", супруги Ниженецкие, пишущие графоманские оды — каждый по строфе (жена оптимистична, а муж — наоборот) и содержащие литературный салон не без карикатуры на прустовский салон Вердюренов; писатель Емельян Степанович, обуреваемый навязчивой идеей, что "русские в сексуальной области ипокритны до предела и что надо и на этом фронте раскрепощать их сознание"; Марина Гавриловна из второй эмиграции, вдруг пожелавшая крестить своих детей, ибо некое "Братство Святого Равноапостольного князя Владимира" дает стипендии и посылает в летние лагеря — только крещеных; Вадим Александрович, до ошаления увлекающийся восточной религией "Маздазнан" и желающий обратить в нее своего кота Мурку — и многие другие.

По настоящему достается лишь подлым перевертням — журналисту Одуванцеву, с объездами бросающемуся к каждой заезжей советской лжезнаменитости и "рыжему", некогда объявившему себя в Совдепии загубленным цесаревичем Алексеем, ставшему затем платным осведомителем НКВД, а в эмиграции вошедшему в "Круг Старшин" воинствующей антисоветской организации "Труд и Собственность"...

На этом примечательном фоне то во сне, то на яву иронически возникают мифологические лейтмотивы — обратившегося к святости разбойника Кудеяра и опять же Атлантиды, на сей раз на Марсе, в духе "Аэлиты" Алексея Толстого.

Так образно-патетические линии поэзии Рафальского пересмысляются в прозе в игровом плане. Здесь предостаточно и серьезных рассуждений, но публицист ни на йоту не довлеет над художником. Повесть написана чистым, легким, словно танцующим русским языком — ясным в своей простоте и не столь уже часто находимым ныне на страницах книг и журналов. Интонации в прозе Сергея Рафальского спокойнее, чем в его публицис-

тике и поэзии.

Подводя итог творчеству Рафальского, следует все-таки отметить, что умиротворенность уступает у него место гневности.

В апокалиптическом мире, как мы знаем, "всегда оставаться самим собой" порой равнозначно жизненному и художественному подвигу. С.М. Рафальский не изменил своей личности и, как определяющую метафору его пути, возьмем сказанное им в одном из стихотворений:

Но среди гнили и проказы  
на опозоренной земле  
цветок раскрылся желтоглазый  
в тепле весеннем осмелев.  
Такой чудесно непреклонный  
на гадком мусорном горбе  
он подымает лист зеленый  
как вызов миру и судьбе.

*Валерий Блинов*

# ПИСЬМА И.Ф. РОМАНОВА (РЦЫ) К В.В. РОЗАНОВУ

ПУБЛИКАЦИЯ Ю. ИВАСКА

IX

18 — 19 мая 1892 г.

Поймите Вы хорошенько, вникните, что препятствует Вам подойти к *вселенской соборности*. Православие, Церковь (разумею, конечно, Восточную, ибо папизм есть *ересей ересь*) как полнота истины не может сказать о себе, что Она есть, как не может и *доказать* себя; *sum ergo sum* — кто во мне, тот знает, уверен в моем бытии, как каждый из нас безо всяких логических доводов уверен в своем существовании, а кто *вне* Церкви, кто вышел из нее или не попал в нее, точнее, находится в бездне скепсиса, никакой аргумент его не убедит, ибо вместе с Берклеем и иллюзионистами можно усумниться в бытии всей вселенной. Итак, говорю: Церковь себя не доказывает и не определяет, но в каждый исторический момент она может сказать о себе (и должна, и говорит), что *Она не есть*. Церковь *не* арианство, *не* монофизитство, *не* иконоборство, она *не* папизм.. Вот что нужно понять, вот чем требуется проникнуться!

Задача века-обнаружить сознанию верующих, что Церковь *не* папизм... Почему *не*, а не да? Потому, что Церковь *соборна* (гениально замечание Хомякова, что чувствуется веяние Духа, что это есть священное прикосновение к земной действительности самого Провидения, как бы отпечаток Божественной стопы — в

---

\* См. "Н.Ж.", кн. 159.

том, что греческое слово *кафолический* переведено по-славянски словом *соборный*<sup>1</sup> этим провиденциально предопределена вся судьба России, весь *raison d'être* ее и мира).

Что такое соборность? Ведь как Вы близки к истине, какая тонкая пелена закрывает глаза Ваши от света! Как дивно у Вас разъяснено об универсализме романских народов и партикуляризме германских — в чем же ошибка? Не ошибка, а *недопонятость, недосказанность*. Папизм — романское понимание христианства.

На 9/10 верно.

Протестантизм — германское понимание христианства.

Опять на 9/10 верно.

Православие — славянское понимание христианства.

Возмутительная *ложь!*

Ради Господа, напрягите мозги: Каждый человек и каждый народ из необъятного океана христианства берет то, что ему всего милее, всего сроднее, всего, так сказать, подходящее по его натуре, темпераменту, привычкам, истории, воспитанию, по 1000 другим воздействиям — географическим, этнографическим, наследственным, социальным. И почерпнувши сию (любезную, сродственную ему) чашу живой воды, ею, так сказать, плодствует, ею истинствует, ею воплощает правду, добро и красоту в мире — и все это так и должно быть при единственном условии, чтобы я (человек) или я (народ) никогда не забывали, что у каждого из нас лишь чашечка воды, чтобы каким-нибудь бесовским наваждением мы не подумали, что *наша крохотная чашечка есть весь океан!*

В чашечке, конечно, истина, но раз будет объявлено, что чашечка именно и есть весь океан, получится возмутительная ложь. Вот именно это и сделали папизм и протестантизм! Втянувши (как губка) ту часть влаги из океана, которая им была сроднее, они объявили, что ихняя чашечка, или ихняя губка, вобрала в себя весь океан.

Поэтому мы прежние определения видоизменили так:

Папизм — романск. и т.д. в своей исключительности.

Протестантизм — герман[ское] понимание в своей исключительности.

А что такое славянское понимание?

Признание, что каждый человек и каждый народ<sup>2</sup> плодству-

ет, истинствует только под каплею безбрежного и бездонного океана и что гармония (следовательно, и истина) в любовной совокупности долей, единение духа и союза мира — Церковь — Собор. Ибо *только* идея вселенской соборности не дает мне мое естественное пристрастие возвести в исключительность, сказать в безумии: вот, моя маленькая чаша — это океан.

В чем наше русское христианское племенное пристрастие? Какую часть божественной влаги мы вобрали по преимуществу? *Народ-храмоздатель*, *народ-басолюбец* (протодиаконский бас), *народ-песнопевец* — не затруднится ответить: *красота* — вот то, что с особой страстью мы взяли из дивной сокровищницы христианства. Отселе понятны идиотизм нашей нации, безобразия социальных порядков, и рядом с этим — Пушкины, Глинки, Толстые... Только красотой плодствуем мы, только эта часть духа облагодетельствована животворящим Светом Христовым, остальное — мертвечина, гниль... Что же? Впадем ли мы в исключительность? Скажем ли, что красота и есть весь океан? Да не будет! Веруем и исповедуем вселенскую соборность, зовем *все* народы мира в спасительное единство, пусть каждый скажет свое слово, пусть каждый избрет любезную ему часть и плодствует на ней, и приносит плоды в жертву хваления Владыке нашему и Богу. Аминь. Аминь. Аминь.

Вы ничего не поняли из сих моих намеков? Жалко! А здесь не только целое мировоззрение, но и *цельное* мировоззрение, которое дает вполне реальное единство моим писательским мелочам...

Вчера, перерывая свой архив, я нашел несколько статей из "Русского Дела" и послал Вам.

На письмо Ваше в скорости отвечу, а пока обнимаю Вас.

Ваш душою Ив. Романов

P.S. Само собою, идея соборности имеет ту же силу и для отдельных индивидуумов, тут то же разделение Духа и Благодарности. Иван помогает ближнему деньгами; Петр стирает слезу ближнего ласковым словом; Василий Васильевич, "ловец чело-век", в качестве величавого, вольного философа; убогий Рцы может быть кого-нибудь пленит балагурством. Скажут: смотрите,

вот человек потонул в постном масле, а между тем весел и смеется, значит, "постное масло" не обязывает к ханжеству и напукской натянутости? Приятный портрет!

Но все мы блюдем единение духа и союз мира и, прославляя Василия Васильевича, не отмечаем хрипоту Рцы, ибо почему мы знаем? — может и она служит в вселенском хоре, в котором находят свою законную часть не только небесные лики шестокрылых серафим, но и стрекотанье кузнечика. Всякое творение да хвалит Господа, "и пусть, конечно, хвалит сообразно со своим существом, темпераментом, натурою" ("Листопад", стр. 147). Вот это и есть *соборность*, она же и *свобода*, ибо свобода понятие отрицательное, значит, известное *согласование человеческих волей* — какое же именно? Согласное, единоедушное — любовь — свобода.

P.P.S. Еще одно слово.

Сообразите, как провиденциально создан русский народ для своей *соборной* миссии.

1) Характер. Способность перевоплощения (см. "Пушкинскую речь" Достоевского), способность *понять* всякую чужую особенность и самобытность, найти правду и красоту и у немца, и у француза, и у турка и проч.

2) Даже самые аномалии его находят высшее оправдание. *Чужебесие*, совершенно неизвестное у европейцев явление *бродяжничества*. Бродят внизу скитальцы, лишние люди — наверху. Все это от одного корня, от жажды *вселенской* общительности, мировой соборности. Тесно дома, скучно, опостыло, *духа хочу*, пойду искать его по белу свету...

3) Наше *западничество* в свете идеи вселенской соборности получает также иной смысл. Это *полезный фермент*, шило в нашей национальной ж-е, которое никогда не даст нам засидеться, замереть в национальной исключительности, потерять жажду вселенской общительности, жажду искать чего-то лучшего там, за рубежом, вне нашего дома... Зачем, дескать, нам сербский митрополит Михаил, у нас и свой Синод хорош? Нет, скоты, нужен и Михаил, ибо Синод разжирел, потерял дух, а у Михаила он здравствует... Пусть западничеству нашему нет дела ни до духа, ни до Синода, да оно будит, растравляет *недовольство* существ-

вующим, не дает окаменеть в национальном самодовольстве — вот в чем его смысл и оправдание.

4) Государственное устройство. Народ *не хочет госуда-рствовать*, не хочет властвовать, он все это (крест властвования) передал излюбленному человеку — самодержцу, он хочет только духа, но дух не дается ему. Дух дан маленьким убогим церковкам, там, на забитом униженном Востоке.

Читали Вы про ту бедную сирийскую женщину, которая где-то в Палестине вошла в храм и молилась не по-нашему, не только одним крестным знаменем, но еще воздевала руки горé и раскрывала кисти рук в знак того, что сердце ее раскрыто перед богом? Понимаете ли Вы, что эта нищая сирийка (что-нибудь в роде цыганок по виду) от самих апостолов сохранила этот чудный символ, и что говорю — от апостолов? *Так*, должно быть, молился и псалмопевец Давид (“воздеяние руку моею жертва вечерняя”) и сам, может быть, Боговидец Моисей? Не так ли в Гефсиманском саду наш милостивый Спас молился?

Были Вы в отчаянных обстоятельствах? Случалось Вам молиться страстно? Неужели Вы не чувствовали и психологической и физиологической потребности *воздеть* руки к небу? И может быть не смели, стеснялись это сделать — почему? Потому что у нас так не принято, не водится... Понимаете ли Вы, что мы таким образом лишены великолепной *вселенской, всечеловеческой*, несравненной апостольской черты, быть может, прямо божественного символа — почему лишены? Потому что лишены общения с нищей сирийкой, потому что дух дан вот этим народцам убогим, а не разжиревшему Синоду, “пиршествующему на всяк день великолепно”, потому что нагло именуясь православными, мы, в действительности, зловонные паписты, кощунственно попирающие святую идею соборности, и понимаете Вы, что так во всем — и в богослужении, и в догмате (или его истолковании), и в церковной дисциплине... Там дух от самих апостолов, здесь только жиры, облеченные в шелка, да тупое сопение по папешко-протестантским учебникам, да раболепие перед градоначальниками и всею палатою.

Там дух, но у этих же народов похоть злая. Они хотят госуда-рствовать, *faire de la politique*. Чем? Нарзанными мечами, игрушечными армиями? Полно, детки! Не срамитесь! Будет с

вас и духа. Поделитесь вы им с нами, бедными, а уже северный Дядя постоит за вас горой, от всякого супостата вызволит вас.

Вы хотите госу­дар­ст­во­вать, но вы сла­бы и вам дан толь­ко дух, [...] и сила ваша. Мы не хотим госу­дар­ст­во­вать, по­то­му что и сила дана нам необъятная, но зато, чтобы не возгордились, чтобы не подумали мы, как Израиль, что мы у Бога народ *единственный* — лишены мы духа, и вот, смиренно преклоняясь перед вами, сирыми и убогими, молим вас: "Нищая сирийка! Научи меня молиться!"

Невзрачный сербский митрополит, напомни нам, как пер­вен­ст­вую­щая Церковь решала дела соборно?!

Что же Смысл Восточного вопроса все-таки не проясняется? Идея вселенской соборности все-таки не дается разумению? Ах, дорогой мой Василий Васильевич! Когда бы мне да Ваш дар изложения! А то что из того, что я чувствую, а выразить не могу?! Но и из того **какая** польза, что Вы волнуете сердца людей, а сказать им не скажете, что раскрыть идею соборности, значит обличить папизм, а обличить папизм, значит подойти к вселенской соборности?.. А обличив и уразумев — нужно уж *действительно собираться*. Тогда и конец папизму, ибо он силен нашею ложью. Коли православие, так и *жизнь в соборе*, а не разъединении, так что нищая сирийка по-апостольски молится, а Вы лишены возможности созерцать эту красоту, ибо убеждены, что толстый Синод **все** в молении знает, и, дескать, нечему ему поучиться у сирийки, да и хлопот больно много по министерству иностранных дел выйдет, если затевать разные там допотопные соборы, а господину Гирсу<sup>3</sup> нужен-с отдых, они вот в финляндские шхеры изволят ехать... Не поехать ли и нам, кстати? Да, кстати, чего убиваться? — в самом деле, не сдать ли нашу веру Леону XIII?<sup>4</sup> Пусть его там рассуждает и изрекает, а мы тела наши в финляндских шхерах будем прохлаждать. Право, так вольготнее. ...Fiches moi la raix, т.е. убирайтесь к черту со всеми этими пустыми фантазиями.

Голод прошел, мир Европе обеспечен. Василий Васильевич уверяет, что настоящее по всем частям доведено до последней степени совершенства, до *nes plus ultra*...

Торжествуй, подлинный Росс, и... помолись, бедная сирий-

ка, за душу озлобленную, Христова утешения требующую.  
 Всегда Ваш И. Ро(манов)

---

1. Очевидно, что при составлении символа имелась в виду вселенскость Церкви, ее мировое предназначение, но идея *соборности* была до такой степени еще жива в сознании верующих, до такой степени казалось тогда невозможным, чтобы идея соборности, составляющая сущность, *основу Церкви, могла затеряться* в человечестве, что и не представлялась надобность нарочито, так сказать, ее подчеркивать. И вот особым действием Промысла, по-человечески рассуждая, лингвистической ошибкой, недостатком перевода вносится в символ новая идея, т.е. роковым образом позабытая, затерянная в человечестве... Вызывается к жизни целый народ для воплощения этой идеи, и это как раз после неосмысленного (непонятого) разрыва с врагом соборности — Римом!

Поразительные пути.

Провидение! Ты есть Бог, творяй чудеса! — *Прим. РЦЫ.*

2. И само собою, бесплотные силы опять по-своему. Св. Николай спасает меня на море, а св. Иоанн Воин от затопления огня, а когда пишу статьи, я обращаюсь с молитвою к Златоусту. — *Прим. РЦЫ*

3. *Н.К. Гурс* (1830-1903) — министр иностр. дел (1889-1895).

4. *Лев XIII*, папа Римский 1878-1903.

## Х

17 августа 1892 г.

Дорогой Василий Васильевич!

Вы, без сомнения, забыли уже о моем существовании, иначе наверное обмолвились бы словечком... Я много месяцев ждал его с нетерпением, но Вы молчали. Вы что-то хорошее пишете в "Русском Вестнике". Я ничего не знаю, ибо живу на бивуаке, ничего не читаю и готовлюсь к выезду. Куда? Вы знаете. Там, где мор. 1) Помните: *"конечно, будет мор"* (См. Письмо о голоде). 2. "Я праздновал бы великий праздник радости, если бы сама жизнь или чьи-нибудь убедительные доводы доказали, что я заблуждаюсь...". Вы видите, сама жизнь оправдывает меня, но кому же охота меня слушать! *Fi done!* Такое ничтожество... Ну

так запомните еще. После мора *будет Седан*, позорнейший, срамной, студный, перед которым французский Седан покажется геройством и вот тогда — слушайте! — начнется спасение России, ибо всем станет ясно и Вам, конечно, первым, что настоящее еще отнюдь не доведено до последней степени совершенства, до *pes plu ultra*, а как раз наоборот, совсем напротив... только то и требуется, чтобы мы *все* убедились, что существенно необходимо положить предел нашему "варварскому самодовольству и нашему дикому квиетизму". Amen.

Итак, вот Вам прощальный привет из Киева от бедного странника, направляющегося в холерный СПб! Если явится у Вас охота черкнуть, пишете так:

СПБ. "Русско-славянский книжный склад", Невский, 74.

Что до меня, то я "с немецкой верностью" остаюсь душою Ваш *Ив. Романов*.

P.S. Если бы нам более никогда не пришлось беседовать — вот мой последний завет:

*primo* — читайте Хомякова.

*secundo* — бойтесь папизма.

Завтра выезжаю в СПб. Adieu.

P.P.S. Поразительно, как меня что-то непреодолимо-фатально не пускает из Киева! На каждом шагу задержка, препятствие, неудача. Не к добру!

Итак, неужели Вы с презренными нечистоплотными холеро-насылательными персами будете упорствовать в принципе, что слово-серебро, а *молчание* — *золото*?! А?

## XI

7 октября 1892 г., Петербург

Хочется мне, дорогой и милый мой Василий Васильевич, поразить Вас усугубленной хаотичностью писателя. Дело в том, что берусь за перо "с пылу горяча", как говорится, *тотчас* по получении Вашего письма, а это означает вот что: никогда *сразу* я не могу разобрать Вашего письма. Иной раз в целой странице только два-три слова разберу и так как нетерпение поглотить его скорее только усиливает мою слепоту, то кончается обыкно-

венно тем, что я откладываю на час или полтора и тогда уже в два-три приступа одолеваю его, не оставив неразобранной ни одной строки. Так вот говорю и теперь. *Всего* письма я еще не знаю, но кое-что уже разобрал и на это "кое-что" и по поводу его и хотелось бы черкнуть ответ немедленно.

Внимайте же. "Оркестрион" заведен.

Прежде всего, эта слепота, взаимная притом, к почеркам друг друга — не поразительна ли? И что знаменует она: нечто прискорбное или напротив, утешительное? Склоняюсь к последнему. Думаю, что это внешнее взаимное непонимание свидетельствует о близком внутреннем сродстве душ, сердец, именно душ, а не умов. Я, например, наблюдал поразительное сходство *умов* между собою и покойным Гиляровым (само собою с соблюдением настоящей пропорции, как 1:1,000000). Пишет он, например, передовую статью в Москве, а я ему из Киева шлю корреспонденцию, в которой не только мысли (по поводу одного и того же события), но даже и выражения повторялись. Или раз я задумал целую философскую систему построить на словечке "*так*". Зачем ты пошел туда-то? *Так*. Для чего сделал то-то? *Так*. Ведь ни у одного народа в мире, в Европе, по крайней мере, нет равнозначущего, ни у одного нет столь нелепого или столь гениального!

Европеец по природе *рационалист*, он хотел бы все и вся, начиная от собственного человеческого естества и кончая внешним миром, пропустить через *фильтр рассудка*; что не прошло сквозь этот фильтр, то просто-напросто выбрасывается им вон, как сор, как ненужный хлам и не только выбрасывается, но прямо признается за нечто несуществующее.

А тут рядом какой-нибудь факир вверх ногами, отчаянный иррационалист, утверждающий что внешность, так грубо бьющая по чувствам, так назойливо навязывающаяся рассудку, есть покрывало Майи, иллюзия, обман, ибо всё, в сущности, обман... *какая* вздорная ошибочная точка отправления! [...]

Подавленный неразрешимым противоречием факир зароется еще глубже головой в жгучий песок, еще выше вытянет ноги и

будет в такой неудобной позе стоять столетие, двести, триста и пятьсот лет, тысячелетия, пока там, на благословенных равнинах между Волгой и Днестром не объявится добродушный губошлеп с "мозгами набекрень" и не скажет миру новое слово — "так". Ты чего так рано схватился? В кабак бегал. Браво, рационалист-европеец! А в кабак, подлец, зачем бегал? — "так". Ну, это плохо, мистик-факир, хотя, с другой стороны, и хорошо, ибо раз ты не отвергаешь рассудка, как свидетеля — спасаешься от печальной участи отрицателя-факира, зарывающегося в песок головою, раз ты произнес дивное слово "так", ты этим самым прикрыл чистою пеленою 9/10 лучшего,\* что есть в человеке и во вселенной и что европеец в убожестве самомнения хотел бы выкинуть за борт.

Какой дивный синтез готовится миру, какое откровение в этом сочетании бесспорно здравомысленного, но и узкого и ограниченного, как базарная торговка, духа арийца с глубочайшим, как бездонный, но зато и безводный колодец гением сынов Востока!

Так философствовал я, так мечтал, набрасывал на бумагу — глядь! Буквально те же мысли двадцать лет тому назад высказаны Гиляровым в одной его какой-то абсолютно никому неведомой журнальной статье!

Это поразительно! А между тем мы отлично разбирали друг друга. Он свободно дешифровал мой почерк, я — его. Итак, не *сродство умов*; причину указанной выше слепоты я объясняю сродство душ, сердец, пафоса, что ли. Да, да! Есть что-то между нами родственное. Если бы я верил в перевоплощение душ, я бы сказал: жили-были две сестры, старшая, дурнушка Лия, все болела глазами, младшая, красавица Ревекка, блистала молодостью и здоровьем. Они умерли и старшая восскресла в И.Ф.Р., младшая — в В.В.Р. Да, хоть и дурнушка, но обязательно старшая — как это Вы не *чувствуете* настоящего

---

\* Выходит, будто в этом "лучшем" и кабак заключен — вовсе нет! Ибо ходил сам не знаю зачем; изнутри что-то гнало, а это нутро и составляет 9/10 непознаваемого или познаваемого только отчасти. Этот непознаваемый "сеаутон" и есть лучшее.

значения в моих устах по отношению к Вам выражения "дитя мое"? Вы не взрослое дитё, Вы могли бы быть на 20 лет старше и все-таки психологическое *старшинство по времени* осталось бы за мною. Я, право, даже не знаю, что может быть тут неприятного? Что до меня, то я с удовольствием променял бы свое старшинство на Ваше меньшинство. О, прозревайте также далеко и глубоко, как я своим старчески-опытным, но старчески-бесильным духовным оком могу прозреть, но дайте мне за то Вашу молодую мощь, Вашу юную силу творчества!

\* \*  
\*

По поводу писания неведомо зачем, неведомо о чем. Слушалось в Париже какое то длиннейшее уголовное дело. Председатель дремал, присяжные спали, защитника начинает тошнить от мучительно-монотонной и бездарной речи прокурора и он бежит в сор-р. В это время в залу входит какой-то довольно оборванный юнец. Незнакомец сей шел по улице и прозяб. "Дай-ка, — сказал он себе, — зайду я в суд и погрееусь". Входит. Видит вышеизображенную картину. Садится на место защитника и вслушивается в речь прокурора. Наконец, тот кончил. Незнакомец встает и начинает говорить: "Господа судьи, господа присяжные!..." Он говорит десять минут — председатель просыпается. Говорит еще двадцать минут — присяжные раскрывают рты. Говорит час, полтора — в зале теснятся, сбегаются репортеры, в дверях свалка. Через три часа речь кончается и присяжные оправдывают подсудимого. Это, говорит легенда, был Гамбетта<sup>1</sup>.

Таков совершенно Шарапов. В звании редактора он — сам признавался — в полчаса накатывал передовую в 20 почтовых листов большого формата по вопросу, о котором не имел самого элементарного понятия и выходило хорошо. Красиво, настоящая музыка речей, но только... мысли никакой в сих передовых не оказывалось. Как не жми, как не выжимай их — ничего не выжмешь. Да, впрочем, припомните "Странствующий полонофил" ("Листопад"). Это буквально списано с Шарапова. Это феерверочный талант.

Какое сходство с Вами? Вы садитесь, не зная о чем будете

писать, да ведь музыка эта вся уже в 9/10, в "так" Вашем готова и создалась-та она, может быть, вся пять лет тому назад, или отрывками созидалась, а тут только пришел момент рожать, так она вся экспромтом и вылилась.

Ведь вот, например, статья Ваша в "Р. Обзор.". Я уже прочитал. Ведь как *красиво* и написано и построено, а слабовато. Не то что недоношено, а мало ношено, мало она пробыла в горниле "бессознательного", в "так", в Вашем иррациональном *seaутоне*. Итак, есть музыка и музыка, и Ваша совершенно иного происхождения, чем Шарапова, Гамбетты, всех французов и, говоря шире, — пожалуй, всей Европы, неведущей, нежелающей ведать гениально-нелепого или нелепо-гениального русского "так".

\* \*  
\*

Вот сравнение с роялью хорошо и приближает нас к пониманию дела, но только отчасти. Я бы предпочел — заводной оркестрион, чтобы *внутри* валы были уже готовы "прозвучать прелестно", ожидая только того, чтобы трактирный половой, или какой-нибудь *РЦЫ* ткнул пальцем заведенную, но еще не пущенную в ход машину. Вот Вы говорите, что всё же некоторое действие мое "растравление" на Вас произвело. — Как могло это случиться? Да единственно в силу того только, что *внутри* Вас находилась *до времени бездействующая* пружина или вал, который стоило только ткнуть пальцем, как он и прозвучал прелестно. Оттого-то подчас и доставляет мне такую скорбь отсутствие эффекта, т.е. *пальцем ткнуто, а звука нет!* Ведь я исхожу из предположения, что пружины, валы у нас одинаковые, разница лишь в том, что у Вас оркестрион выписной, из заграницы, аглицкий, а у меня самодельная шарманка. Там мелодия, здесь — старческая хрипота. Так не лучше ли мне чужую машину ткнуть, вместо того, чтобы свою шарманку пускать в ход? Кто более способен доставить торжество известной идее — Розанов или РЦЫ? Нечего спрашивать! Ну так буду "тыкать", но вот горе, иной раз ткнешь, а отзвука нет. И думаешь с грустью: что же это такое? Этой пружины у него не оказывается? Или не такая она у него, как у меня?

Ведь я повторяю, исходная моя точка — сродство *душ*. Что любите Вы, то и я, и наоборот. Теперь припомните о сродстве *умов* с Гиляровым. Тут есть разница. И я и Гиляров *понимаем* великолепие православия, богослужения. Спрашиваю: должно ли с необходимостью отсюда вытечь, что Гиляров, также как и я, питает страсть к гласу протодиакона? Что он плохо будет спать накануне Благовещения, что полетит утром в слякоть или жестокий мороз в какой-нибудь отдаленный храм, чтобы только насладиться слушанием "И отъиде от не-е-е-я а-а-ангел!!!" Неправда ли, ни мало не вытекает?

Но возьмем другой пример. И В.В.Р. и И.Ф.Р. одинаково влюблены в протодиаконовскую октаву, не спят накануне особенно знаменательных чтений, бегут в отдаленнейший храм и пр. Спрашивается: может ли случиться, чтоб В.В.Р., так *любя* благолепие, художество православного богослужения, не *понимал* всего великолепия оногo? Нет, отвечаю, не может. Если сейчас не понимает, так поймет завтра, через неделю. Это вопрос времени. И отсюда досада и скорбь подчас: почему он *сейчас* не понимает того, что любит, к чему лежит душа его, что составляет предмет его инстинктивных стремлений, желаний? Почему сейчас не возьмет он в руки Хомякова? О, конечно, он сделает это завтра или через неделю, но почему не *сейчас*? Почему он пустословит, что настоящее большое, убогое, глупое и вонючее время так же значительно и в своем роде прекрасно, как эпоха Петра Великого? Ведь откажется же он от этой явной несообразности, несомненной глупости. Ведь это не теоретическое заблуждение, в которое мог бы впасть родственный *ум* Гилярова, а просто-напросто плевок, заушение *родственной души*, которая не может же *полюбить* амфедрона Дурново, возводящего мужа своей любовницы в министра путей сообщения? Ведь не может он возлюбить эту пакость? Так к чему же пустословие? О, конечно, он откажется завтра. Почему не *сейчас*? Каким бы пальцем ткнуть роаяль, чтоб загремела она не фальшиво, а престельно?

\*   \*  
\*

Неужели свинья Берг и оттисков Вам не присылает? Это, говорят, жила, эксплуататор ужасный. Кстати, надеюсь, не секрет — сколько он Вам платит? И сколько "Р. Обозрение"? Во всяком случае, за спиной "Р. Обозр." *миллионы*. Уже цифрой 150 т. они просадили и, вероятно, еще столько же просадят. Давать им самомалейшую поблажку, значит просто обижать меньшую братию, сбивать ей цену. Надеюсь, Вы уже завоевали себе право *диктовать* свои условия. Это раз. Во вторых, появление Ваше в "Р. Обозр." без сомнения причинит понос Бергу. Эта каналья, говорят, всех больше задерживает утверждение Александрова!<sup>2</sup>. Это два. А третье ясно: раз спрос усилился... и затем — все-таки меньшая братия...

\* \*  
\*

Боборыкин<sup>3</sup> совсем не либерал и вовсе не консерватор: он просто-напросто *болван*, прикрывающий собою миллионера Морозова. Для дела он не более значит, чем тот "ванька", что стоит у подъезда редакции\*.

\* \*  
\*

Вполне понимаю Ваши опасения, как бы я не зачитал, не растерял Ваших брошюрок!

Всегда сам того же боюсь со стороны других, почему с крайней неохотой даю читать книги знакомым и проч. Мы, в сущности, ужасно нечистоплотны. И зубов то у нас никто не чистит и книгу зачитать считается чуть не делом "хорошего тона". Что до меня, то я — ненавистник нечистоплотности во всех ее видах. Уж в этом отношении я архилеонтьевец. Просто коробит меня безобразие такой вот нравственной распущенности, неряшливости. О как и как еще нам нужен для науки "честный и аккуратный" немец! В сущности, честность и аккуратность это близнецы, и кажется нельзя себе представить аккуратного вора, по

---

\* Получил сейчас некое сему противоречащее известие. Говорят, его хотят выкурить из редакции, а он упорно держится...

крайней мере, на почве русского бесшабашного свинства и неряшества.

Итак, дорогой, будьте покойны за целость Ваших *уник* и присылайте их мне скорее. Брошюрку о борьбе прочитал с большим наслаждением и возвращаю. Сейчас надеюсь прочитать "Заметки о важнейших" и тоже возвращу. За остальные книги благодарю и обнимаю Вас, но исполу, а не от всей души: зачем не сопроводили их, как водится, автографом?

\* \*  
\*

Присылаю Вам маленькую брошюрку моего друга и учителя, покойного Никиты Петровича Гилярова-Платонова. Не знаю, что скажете *Вы*, прочтя эту "безделку", а что почувствовал я, когда прочел — о сем до времени умолчу. Кстати же, препровождаю Вам две мои поминальные заметочки о Гилярове и Хомякове. *Все три сии вещички тоже умоляю возвратить зак. бандер.*

\* \*  
\*

Позволю себе и я в заключение почтительно приветствовать Вашу супругу. Жены наши, как оказывается, товарки по тому ужасно неинтересному положению, которое почему-то — как заметил Л. Толстой — зовется "интересным". Да, это действительно *бремя!* Только теперь, только недавно понял я глубочайший смысл слов Апостола, что он хочет, чтобы жены рожали детей, что женщина *чадородием спасется*. Как, в сущности, ничтожны и жалки наши мужские "подвиги" в сравнении с этими будничными женскими добродетелями, с этой поистине черною работою и поистине каторжным терпением, к коему обязывает женщину положение матери! Выносить ребенка, вскормить, от какашки очистить, на ноги поставить — ну-тка, мы, мужчины, попробуем! И это простое слово: "чадородием спасется" сказано каких-нибудь 18 веков назад и может ли после этого откровения существовать какой-то женский вопрос, народиться какая-то идиотская толстовщина, какое-то опрошение, какая-то жажда донкихотских подвигов! Да вот он, подвиг — Ваня обка-

кался! Нет у тебя своего Вани, выйди на улицу, десяток найдешь!

\* \*  
\*

Ах, дорогой мой Василий Васильевич! Шарапов послал мои сочинения государ. секретарю Муравьеву<sup>4</sup> в надежде, что он произведет меня в генералиссимусы или помощ. столоначальника! Комизм этой операции удваивается, когда узнаете, что сам Победоносцев не только греховодные писания мои читал и даже, по-видимому, смаковал и даже от Феоктистова спасал (честь ему и слава!), но и на рукописях собственноручные пометки "полагал" и... и... Даже места курьера не предложил!!

О, как суетен и жалок человек! за какие только смехотворные соломинки он с горя не хватается!

\* \*  
\*

Ну, я Вас утомил, да Вы, пожалуй, ничего и не разобрали. Кончаю. Пришлите же мне Ваши газетные вырезки и возвратите две мои рукописи и брошюрку Н.П. Гиляровского.

Ваш Ив. Романов.

P.S. Мне все хотелось бы познакомить Вас, заинтересовать Гиляровым. 13-я годовщина его кончины. Никто не вспомнит, никто ничего не скажет. Да и *когда-нибудь* скажет ли кто что путное? Если не Вы, так никто. Ведь Шарапова официально коронуют первым русским критиком... И если и *Вы* не восстановите так жестоко поправленную справедливость по отношению к одному из величайших русских писателей, то кто же это делает?

В статье Гилярова найдете Вы и ответ на пессимистический взгляд Ваш на судьбу русского народа.

Обнимаю Вас крепко

Ваш Ив. Романов.

---

1. *Гамбетта* (1838-1882), французский политик.

2. *Александров, А.А.* (1861-1930) — друг. К. Леонтьева, посвятил ему воспоминания и несколько очерков. С 1892 г. редактор "Русского Обозрения".
3. *Боборыкин, П.Д.* (1836-1921) — писатель и критик.
4. *Муравьев, Н.В.* (1850-1908) — государственный секретарь (1892-1894).

# Новое Русское Слово

**ЕДИНСТВЕННАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ РУССКАЯ ГАЗЕТА ЗА РУБЕЖОМ**

75-й год издания. Выходит 6 раз в неделю в Нью-Йорке

**Главный редактор: АНДРЕЙ СЕДЫХ**

Свыше 200 сотрудников во всех странах мира. В Новом Русском Слове печатают свои произведения виднейшие эмигрантские писатели, поэты и публицисты.

**Полная информация о жизни эмиграции.**

**ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:** Воскресное и ежедневное издание:  
 один год — 90 амер. долларов  
 6 месяцев — 50 амер. доллара  
**Воскресное издание только:**  
 один год — 35 амер. долларов

**Подписку и объявления направлять по адресу:**

**NOVOE RUSSKOYE SLOVO**

**461 8th Avenue — New York, 10001, N.Y., USA.**

# ЖЕНСКИЙ КОНЦЛАГЕРЬ

22 марта 1958 г.

Дорога до Красноярска — первые двое суток пути от Иркутска — прошла без особых происшествий. Мы с опасением поглядывали на наших мамок, и те сильно волновались. Беспокоился, наученный горьким опытом, начальник конвоя. Когда мы прибыли в Красноярск, там на вокзале наших мамок уже ожидала "скорая", вызванная, наверное, его телеграммой. Мамок увезли прямо в городской родильный дом.

Только что увели из вагона мамок, как наше купе доотказа наполнилось новой публикой. Сердце у меня, признаюсь, екнуло. Это были девочки-малолетки, юные уголовные преступницы. Их было восемнадцать человек, почти все в возрасте около 16 лет. С ними были три взрослых, даже пожилых бандитки, хриплые голоса которых выделялись среди молодого писка и щебета. Всех их, двадцать один человек, буквально затолкали в наше почти опустевшее после ухода мамок купе.

В сибирской песне "Славное море, священный Байкал" есть слова, обращение к омулям, принужденным переезжать с места на место в тесной бочке:

Малые рыбки, утештесь словами:  
Вот побывать в Акатуе бы вам —  
В бочку полезли бы сами!

Мне невольно припомнились эти слова, когда двадцать три человека оказались в семиместном купе. Следующие двое суток до Новосибирска мы лежали, стиснутые, как классические сардинки

---

\* См. "Н.Ж.", кн. 150-153, 156-159.

в банке. Нельзя было пошевелиться, трудно было вытащить руку. Лежать можно было (кажется, нас лежало шесть человек на трех местах) только на моих средних нарах, потому что середина была поднята. На каждой из верхних нар помещалось по три человека, остальные одиннадцать человек сидели внизу. Они заполнили проход вещами и сидели на них, поджав ноги. На нижних нарах тоже, конечно, сидели по три — четыре человека. Но мне рассказывали, что случалось, возили и по 30 человек в купе.

Кажется, на другой день, на какой-то станции в наше переполненное купе посадили еще одну заключенную. Это была деревенская старушка, сидевшая, вероятно, за государственную кражу. У старушки был с собой целый мешок черных сухарей, собранных в тюрьме или лагере с большим, вероятно, трудом и большими лишениями, и два килограмма сахара.

Малолетки моментально пронюхали, что старушка везет сухари и потребовали дележа. Старушка дала им по сухарику. Они потребовали еще. Она отказалась. Когда я, кое-как спустившись вниз, в люк, образуемый впереди средними нарами, ушла с очередной партией в два-три человека в умывалку, вернувшись в купе, я застала там бедлам: старушка с сухарями вопила истошным голосом, девчонки визжали и карабкались по нарам в полном восторге, грызя сухари, а мое разостланное одеяло оказалось засыпанным сухарными крошками и сахарным песком.

— Что это? — спросила я.

— Этомы на вашем одеяле делили бабкины сухари и сахар, сказали малолетки.

В купе стоял конвойный и отнимал у девчонок сухари, которые они еще не успели съесть. Сахар был частично спрятан в платочки, тряпочки, частично просыпан. Бабка рыдала и причитала. Конвойный, попытавшись насколько мог восстановить справедливость, наконец махнул рукой и вышел из купе. Девчонки злорадно кричали бабке:

— Все равно рано или поздно раскурочим до конца!

Среди ближайших ко мне девочек выделялась одна, старше других возрастом и по виду интеллигентнее других. Она разговорила со мною и рассказала о себе.

На вид ей было лет семнадцать — возрастной предел для понятия "малолетки", но на самом деле, как она призналась, ей было девятнадцать лет. Так как в бумагах ее возраст был указан неправильно, она этим и пользовалась, ибо малолетние преступники имеют в заключении некоторые привилегии.

Эта девушка жила с матерью и старшей сестрой — преподавательницей средней школы. Семья была интеллигентная, или, по крайней мере, ставшая интеллигентной в первом поколении. Жили они в Новосибирске. Случилось, что мать во время войны поехала по деревням менять вещи на продукты. Поездка должна была продлиться несколько недель. Старшая сестра тоже куда-то уехала, не то на педагогический съезд, не то на курсы переподготовки учителей. Рассказчица осталась дома одна. И тут она подпала в классе под влияние банды юных грабительниц, которые организовали шайку для ограбления... детсадовских ребят! Время было военное, многие матери были на работе, и им приходилось отпускать малышей в детские садики одних. Часто дети и возвращались домой одни. Девочки-школьницы подходили к 3-4-5 летнему ребенку, заманивали его конфетой в ближайшую подворотню, а там снимали с него шубку и валенки, отнимали мелочь. Особенно грабительниц привлекали шубки.

Девушке, которая мне это рассказывала, поручили сверх того, как новичку, продавать эти шубки на базаре.

— Как вы могли это делать! — воскликнула я. — Уже не говорю об этом — грабить маленьких детей! Но ведь когда вы с трехлетнего ребенка на 30-40 градусном морозе снимали шубку и валенки и отпускали его раздетого домой за несколько кварталов, то ведь мало того, что он почти наверняка обморачивался, он мог схватить воспаление легких!

— Мне это и в голову не приходило! — ответила девушка без озлобления, удивленно и наивно.

*26 апреля 1958 г.*

В Новосибирске пересылка находится на расстоянии трех километров от вокзала. Я думала нести все свои вещи сама, тем более, что хорошая сентябрьская погода не мучила ни зимним морозом, ни летней жарой.

— Давайте, тетя, я понесу ваши вещи, — предложила мне малолетка, шедшая с маленькой сумкой в руках рядом со мной.

— Спасибо, девочка, но у меня нет даже хлеба, чтобы дать тебе за это, я весь раздала.

— Мне ничего не надо, я так вам понесу, — сказала девочка, решительно снимая с меня рюкзак и беря из рук одеяло (шубу я несла сама).

Помнится, эта девочка была не из тех, с кем я делилась хлебом в дороге, она ничем мне не была обязана.

*28 апреля 1958 г.*

В банном помещении Новосибирской пересылки кроме нашего этапа никого не было, даже обслуги. Нас предупредили, что горячей воды нет, а холодную придется ждать. Когда мы вошли в баню, то увидели две пары кранов. Разобрав шайки, мы стали к кранам.

Народ у кранов распределился: все восемнадцать девочек и две пожилые бандитки — у одной пары кранов, третья бандитка — у второй пары. Это уже само по себе должно было навести меня на мысль, что пожилая бандитка, которой двадцать товаров уступают место, конечно, паханша, и при этом крупная. Благоразумие должно было подсказать мне скромно стать с плеском и не претендовать на близость к великим мира сего. Но из-за рассеянности и усталости я не обратила внимания на это распределение.

Итак, я с шайкой в руках стала за нею. Девочки издали поглядывали на меня. Бандитка повернулась и посмотрела на меня в упор.

— Что вы тут стали? — прохрипела она в бешенстве.

— Я же не перебиваю вашей очереди, — ответила я спокойно. — Когда пойдет вода, возьмете воду вы, а потом — я.

Бандитка разразилась ругательствами и потребовала, чтобы я отошла к другому крану. Эта наглость взорвала меня и я ответила спокойным отказом. Следующие слова бандитки поразили меня.

— Я эту вежливость вашу ненавижу. Я настоящая "тюремная".

— Оно и видно, — сказала я презрительно.

Сердце у меня бешено колотилось. По беспокойству девочек я видела, что мне грозит самая настоящая опасность. Но гордость не позволяла мне уступить и отойти к другому крану, как побитой собаченке.

Не знаю, чем бы дело кончилось, если бы из открытого крана, у которого стояли девочки, вдруг не стала хлестать вода. Из крана бандитки вода еще не шла.

— Тетя, тетя, идите к нам, у нас вода! — закричали мне девочки. Очевидно, они ни на шутку встревожились, не столько, быть может, из сочувствия ко мне, сколько из-за опасения кровавого инцидента. Они что-то знали об этой бандитке, что заставляло их тревожиться и чего я не знала.

Я вся дрожала от волнения, пока умывалась, и лишь постепенно успокаивалась.

В коридоре дежурный у всех девочек спросил их статьи. Статья, конечно, оказалась одна и та же — 162, кража. Пожилые бандитки, бросая на меня злобные взгляды, говорили между собой:

— Вот придем в камеру, раскурочим!

Тут уже настала моя очередь торжествовать: видимо, они не знали, что на Новосибирской пересылке заключенные по каждому роду преступлений сидят отдельно. Так что я с бандитками в одну камеру никак не попаду.

...9 сентября я вошла в переполненную камеру и поздоровалась. Меня оглушил детский плач и гул разноязыких голосов. Далеко не такая большая камера, как в Иркутске, в форме буквы "Г", была набита доотказа. Когда я увидела, что и пол и проход заняты женщинами с детьми, у меня осталось мало надежды на место на нарах.

Среди разноголосого хора (но без драк и ругани) меня встретили любопытные, но не враждебные взгляды.

— Идите на тот конец, там должно быть одно свободное место, — кричало мне несколько голосов сверху.

Я поблагодарила и пошла, но места уже не было, видно, его

успели за ночь занять. На полу, кроме проходов, тоже не было места, кроме того я еще в Иркутске слышала, что на Новосибирской пересылке по камерам бегают крупные крысы.

— Если вы не боитесь открытого ночью окна, лезьте сюда, — крикнула мне молодая женщина с немецким акцентом, свесившись с верхних нар недалеко от дверей.

— Нет, не боюсь, у меня есть шуба и одеяло, — ответила я и полезла на верхние широкие нары.

— Не замерзнете вы тут?

— Думаю, что под шубой не замерзну, во всяком случае, это лучше, чем ваши крысы, о которых я слышала еще в Иркутске, — ответила я.

— О, наших крыс выувидите ночью! — рассмеялись моя новая соседка и ее подруга, тоже немка.

В камере было много русских немок и сначала меня огорчило, что я этих немок почти не могла понять. В детстве я хорошо говорила по-немецки, позже читала безо всякого затруднения немецкую беллетристику, а этих русских немок понять не могла. Что за притча? В конце концов я обратилась с моим недоумением к той молодой немке, которая пригласила меня наверх.

— Не начинаю ли я забывать немецкий язык? — Я что-то почти не понимаю, о чем говорят.

Она рассмеялась.

— Нет, просто здесь в массе простые женщины-колонистки. Они говорят на диалекте. Немки говорили на швабском диалекте XVIII века.

Другой многочисленной группой на Новосибирской пересылке были украинки.

До сих пор я еще ни разу не видела, чтобы детей держали вместе со взрослыми в общей камере тюрьмы или пересылки.

На Новосибирской пересылке прямо в камере сидели дети, некоторые из них большие, была даже девочка двенадцати лет, старшая из трех детей довольно еще молодой матери. Брашки этой девочки, пяти и одного-двух лет, были тут же. Были еще другие маленькие мальчики.

Оказалось, что подавляющее число женщин здесь, включая матерей всех этих детей, даже не заключенные, а отправляемые

на административную "вольную высылку". Это были женщины, в отношении которых у следователей не набралось материала, чтобы возбудить против них политическое дело. А много ли нужно было этого материала, особенно по 10-му пункту! Достаточно было рассказать анекдот, похвалить заграничный материал, или открытку, или еще что-нибудь заграничное. Достаточно было и просто ложного доноса. Но тут нельзя было найти даже и этого.

Почти все эти женщины были из центральных русских губерний, много было москвичек, у которых близкий родственник попал в плен или был арестован. И вот ни в чем неповинных женщин с детьми или старух отправляли на высылку в Сибирь, в отдаленные деревни Севера, с минимальным количеством вещей, без денег, без припасов.

Мне запомнилось несколько семей. Вот пожилая, почти старая сестра и молодой брат. Он, видно, был очень слабого здоровья — худой, бледный. На их счастье, его поместили в инвалидную камеру в нашем же бараке, поэтому брат и сестра могли несколько часов в день проводить вместе во дворе, гулять, разговаривать. Когда же мы бывали заперты, брат подходил к одному из наших окон и сестра разговаривала с ним, сидя на верхних нарах; она всегда старалась дать ему что-нибудь поесть.

Со мной люди заговаривают легко и через несколько дней сестра рассказала мне свою грустную повесть. У них был брат, отщепенец от семьи, который мальчиком, задолго до революции, ушел из дому. Сестра его с тех пор не видела и не имела о нем никаких известий. Младший брат, тот, который был с нею и к которому она относилась, как мать, вообще его никогда в глаза не видел, так как родился уже без него.

И вот оказалось, что этот пропавший брат был на войне и попал в плен.

*И теперь их высылают потому, что у них есть брат, который попал в плен.*

У них есть еще один брат — профессор, где-то на Урале. Его пока каким-то чудом не покарали за родство. Узнав о судьбе сестры и младшего брата, он посылал им телеграммы, обещал помогать, но она ужасно боится, чтобы связь с ними не отразилась и на нем.

Вот семья из четырех старушек-сестер. Три из них одинокие, вдовы или старые девы, у четвертой дома муж-старик и дочь, женщина-врач, у которой муж убит на войне; она осталась молодой вдовой с дочуркой.

Когда старушек отправляли на высылку, муж-старик и дочь им сказали: "Как только приедете на место, сейчас же телеграфируйте адрес, и мы к вам выедем: где вы будете, там и мы". Они тоже пострадали за какого-то родственника.

Теперь я хочу рассказать о моих двух соседках, молодых русских немках. Обе они хорошо говорили по-русски. Та, которая пригласила меня наверх, была родом из Одессы. Муж ее был еврей. Она клялась, что во время румынско-германской оккупации она его, не успевшего уехать во время эвакуации, всячески скрывала, затем достала ему русский паспорт и помогла выбраться из Одессы. По ее словам, благодаря ей он уцелел. Когда же он вернулся в Одессу, то указал МВД на свою жену как на человека, который старался его выдать Гестапо, и будто только случайно ей это не удалось.

Молодая женщина казалась вполне искренней, глубоко огорченной и оскорбленной несправедливым обвинением со стороны самого близкого ей человека. Но "выслушай и другую сторону!".

Вторая немка мне призналась, что выдала двух лиц, связанных с группой партизан, вследствие чего была выловлена и замучена до смерти вся группа, в том числе ее собственный муж, руководитель партизанского отряда.

Когда началась оккупация, ее муж ушел в партизанский отряд, где вскоре стал командиром. С женой, оставшейся в городе, он, как и некоторые другие партизаны, держал связь. Жены были предупреждены быть готовыми к тому, чтобы присоединиться к отряду, когда им сообщат, что в городе оставаться опасно.

И вот как-то вечером за нею и другими женщинами пришел человек из отряда, который вывел их далеко за город, к мосту, где ее ожидал муж с частью отряда и подводами для женщин и детей. Когда обоз проезжал мимо кукурузного поля, он был обстрелян из засады. Большая часть подвод успела проскочить, а она была на одной из оставшихся, задних. Пока партизаны от-

стреливались, она в панике соскочила с подводы и спряталась в кукурузе. Так она отбилась от своих.

Когда перестрелка стихла, она услышала немецкую речь. Думая, что будет хуже, если ее найдут и что ей ее родичи-немцы ничего худого не сделают, если она сама выйдет и сдастся, она вышла и сдалась.

Что было дальше, как немцы добились от нее, чтобы она стала предательницей — она не говорила. Сказала только, что угрожали. Под воздействием угроз она назвала двух лиц в городе, связанных с партизанами: молодую артистку и старика-аптекаря. Их арестовали. Со стариком-аптекарем ей сделали очную ставку. Она не могла забыть взгляда, который он бросил на нее, когда на очной ставке увидел ее на свободе у немцев.

Этих двух людей замучили. И по этой нити добрались до всего отряда.

Когда вернулись советские, ее судили и осудили, но видно было, что совесть ее мучила больше, чем приговор.

Наше время зачастую требует героизма от людей, от которых его требовать невозможно, потому что у них в душе его нет. Человечество вступило в такую эпоху, когда от середнячка, и чуть ли не от каждого, да еще от слабонервных женщин, требуют героизма, готовности умереть в страшных мучениях ради идеи, ради спасения других, требуют высокой нравственной красоты первых христиан. А середнячок не может подняться на такую нравственную ступень, не может и все — на то он и середнячок.

9 мая 1958 г.

Когда увели немок, я пригласила наверх одну новую каторжанку на освободившееся место. Она была русская, родом из Крыма, муж ее был грек. Он в это время находился с детьми где-то в Новосибирской области, так как был выслан из-за того, что она попала под суд (!). От нее я впервые узнала, что все крымские татары и греки были после войны высланы из Крыма, и автономная Крымская республика уничтожена.

Эта каторжанка, Людмила Александровна, рассказала мне случай, уникальный даже в нашу кровавую эпоху.

Дело было в Ялте вскоре после вступления туда немцев. По-

друга Людмилы Александровны, русская женщина, была замужем за евреем, у которого от первого брака с еврейкой было двое детей: мальчик и девочка. Русская мачеха нежно любила этих детей и считала их своими.

Когда германские войска стали приближаться к Ялте, мужу-еврею пришлось бежать.

Через несколько дней после вступления германских войск в Ялту был отдан приказ от германской комендатуры: в такой-то день и час привести всех еврейских детей в комендатуру для регистрации. Русская мачеха всполошилась: что теперь делать? Сначала она решила не вести туда своих пасынков. Но затем, видя, что матери-еврейки все повели своих детей, она побоялась, что ее детям может быть хуже, если она их не зарегистрирует, и она привела их в комендатуру.

В комендатуре ей сказали, что идет медицинская комиссовка детей. Детей одних, без матерей, вызывали в кабинет врача. Прошло уже значительное время, а дети из кабинета не возвращались. Матери стали волноваться...

Таинственная нить протянулась через 1942 года от царя Ирода к немецким гестаповцам в оккупированной Ялте в тот роковой день.

Каждому вызываемому во врачебный кабинет ребенку насыпали на верхнюю губу какой-то порошок, от вдыхания которого он умирал. Была ли это синильная кислота, было ли это какое-то новое ядовитое соединение, которое пробовали на еврейских детях? Факт тот, что ни один из приведенных тогда на "регистрацию" детей не спасся. Все были умерщвлены. Легко ли они умирали или в страданиях — неизвестно. Родителей вскоре тоже "ликвидировали".

Несчастливая женщина чуть не сошла с ума от горя: она любила этих детей, как мать, и ее мучила ужасная мысль: "Что я скажу их отцу, когда он вернется? Ведь он не поверит. Ведь я сама повела их на смерть!"

*12 мая 1958 г.*

Числа 16-го сентября прибыл большой ташкентский этап. В нем было восемьдесят с лишним мужчин, в подавляющем боль-

шинстве узбеков, и три-четыре женщины. Две из них вскоре появились у нас в камере.

Одна оказалась румынской еврейкой, молодой женщиной лет 35-38, небольшого роста, худенькой, с красивыми вьющимися черными волосами и плаксивым выражением лица. Рита Рабинович была довольна добра, но иногда становилась совершенно невыносимой из-за своей плаксивости и беспрерывных жалоб и причитаний на свою судьбу. Кроме того, она отличалась хитростью и значительным умением улаживать свои дела.

Вскоре она прилепилась ко мне, как пиявка, впрочем, почти бескорыстно, так как я была бедна, как церковная мышь. Постоянное, на протяжении двух-трех месяцев близкое соседство с этой юркой, практичной и плаксивой маленькой особой отражалось на моей нервной системе и требовало выдержки и подавления раздражения.

Позже она стала давать мне практические советы. Они обычно оказывались для меня неприемлемыми по соображениям элементарной порядочности, и тогда Рита с полупрезрением и полужалостью к моей, как ей казалось, глупости и наивности, тянула на своем ужасающем русском языке:

— Какой вы ре-бье-нок, Мария Лазаревна, какой вы ре-бье-нок.

Но, повторяю, она не была плохим человеком. Помню даже один ее самоотверженный жест в пользу совершенно незнакомого ей человека. Рита Рабинович осталась в моей памяти как весьма современное порождение небольшой столицы небольшого государства-Бухареста. Она была дочерью довольно зажиточного коммерсанта, но дальше четвертого класса гимназии учиться не захотела. Ее воспоминания о столичной жизни ограничивались ресторанами и кабарэ, встречами в них, знакомствами. Это казалось ей квинтэссенцией и содержанием столичной жизни; об этом утерянном рае она больше всего и плакала.

Рита Рабинович, только что получившая, уже в ташкентском лагере, второй срок, занимала там тепленькое место — была заведующей баней. Так как в большинстве лагерей баня, помимо прямого назначения, еще является и домом свиданий, особенно для блатных, то заведующий баней может хорошо заработать, если будет кое на что закрывать глаза. Но с другой

стороны, он рискует кровавой расправой, если будет очень запрещать или замечать.

Рита Рабинович была отнюдь не из тех людей, которые готовы рисковать ради принципа. Кроме того, она считала излишнюю моральную щепетильность ребячеством и просто глупостью. Поэтому я думаю, что ей в бане было со всех точек зрения тепло. И вот это тепленькое место она потеряла и свой 10-летний срок по 10-му пункту 58-й статьи увеличила до 14-летнего по собственной глупости.

В бане на одном из шкафов лежало несколько давно снятых со стен из-за того, что они пришли в ветхое состояние, больших портретов вождей. Рита как-то сама подметала баню и, не найдя на что смести сор, взяла со шкафа первую попавшуюся фотографию, смела на нее сор и вынесла. Так как ее должности многие завидовали, среди персонала нашлись завистники, которые состряпали на нее донос с обвинением в "оскорблении величества". И вот незадачливая завбаней была судима лагерным судом и приговорена к новому сроку.

Стоит упомянуть и о первом Ритином деле. Во время диктатуры Антонеску в Румынии и преследования евреев они с мужем перешли через границу в СССР. Всех таких беженцев в то время направляли в Узбекистан. Оказавшись в Ташкенте, а затем в Самарканде, Рита, абсолютно не интересовавшаяся политикой и ничего в ней не смыслившая, при каждом столкновении с жизненными неурядицами хныкала и рассказывала о том, как благоустроено у них в Румынии. Она в ярких красках описывала и оплакивала то, что больше всего ценила на своей родине — потерянный ресторанно-кабаретный рай и охотно демонстрировала всем и каждому, в частности, своим соседкам, вывезенные ею с родины платья и костюмы.

Выходные и вечерние заграничные платья молодой еврейки сразу вызвали у соседок острую зависть. А неугомонный язык Риты подал им мысль, как завладеть ее чемоданами. Они состряпали донос о восхвалении заграничной жизни и Рита Рабинович села на 10 лет.

18 сентября утром, т.е. на десятый день после моего приезда на Новосибирскую пересылку, был вызван ташкентский этап и, к

моему великому счастью, и я вместе с этим этапом. Вызвали и Риту Рабинович.

Ждать нам опять пришлось долго, часа два. Сидели на своих мешках и смотрели, как вызывали мужчин. Они должны были подходить к столу, где сидели начальники, обнаженными до пояса, потому что одновременно проверяли, есть ли на них "наколки" — и в документах отмечалось, какие именно. "Наколки оказались почти у всех — значит, почти весь этап был блатной.

Блатные во всю щеголяют своими татуировками. Очень популярно, например, изображение кошки и мышки ниже пояса, которые шевелятся при ходьбе. Я помню, как на иркутской пересылке женщины однажды спешно позвали меня к окну: во дворе залихватский блатной демонстрировал не то перед начальством, не то перед товарищами свою грудь и спину: грудь у него занимал большой портрет Сталина, спину — Ленина. Оба портрета были настолько велики и настолько четко сделаны, что я из окна камеры разглядела их в пенснэ на порядочном расстоянии. Тут же женщины сообщили мне, что бандиты эти портреты татуируют на себе довольно часто и вовсе не из соображений особой преданности, а потому, что у них существует убеждение, что если на ком-нибудь изображены эти два портрета, то такого человека никогда не расстреляют, что бы он ни сделал. Попробуй, пальни-ка в эти изображения\*...

После мужчин подозвали нас, нескольких женщин, но проверяли только документы. После окончания формальностей в наших вещах был произведен обыск. Между прочим, такие обыски — одна из причин возникновения гипертонии и сердечных болезней у тех заключенных, у кого их раньше не было. Можно не иметь ничего запрещенного и все-таки трепетать перед обыском.

Общие правила о недозволённых вещах, кроме как о ножах и других острых металлических предметах — расплывчатые; то,

---

\* Из уголовного права известно, что татуировку любят три категории людей: большинство дикарей, моряки — в подражание дикарям, и профессиональные преступники.

что разрешается в одной тюрьме или лагере, запрещается в другой; то, что пропустит дежурный, отнимет другой.

В лагерях не только разрешают, но даже поощряют приобретение чемоданов, потому что у человека, имеющего чемодан, койка всегда имеет более приличный вид, когда этот чемодан стоит у него в головах или в ногах, чем если там лежат один или два обшарпанных, залатанных мешка. Но когда этого человека из лагеря вызывают на этап, он всегда рискует, что на ближайшей пересылке при первом же обыске его чистенькие вещи высыпят прямо на землю и чемодан у него отнимут, даже если у него нет мешка, куда сложить эти вещи, потому что в данной тюрьме или данной сменой дежурных чемоданы не разрешаются.

И вот чемодан, приобретенный, может быть, за счет многих месяцев сбережений и лишений, пропадает, а когда заключенный, завязав кое-как вещи в старые кальсоны, старую юбку, или мешок, наспех переделанный из них, прибывает в лагерь, он рискует, что его начнет преследовать первый же староста барака за неопрятный вид вещей.

То же самое происходит с кружками для питья. Их официально выдают из каптерки прибывающим в лагерь — белые металлические кружки (в некоторых лагерях выдают и металлические ложки). Многие заключенные приобретают в лагере или тюрьмах эмалированные кружки, которые иногда продаются даже в казенном ларьке. Но обычно при вызове на этап конвой почему-то отбирает, особенно у мужчин, эти кружки, а затем, в пути, бегают по вагонам, ища у заключенных случайно уцелевшие от обысков кружки, чтобы напоить из них несколько десятков, а то и сотен человек.

Так, при нашем отъезде из Иркутска я с возмущением видела, как новый конвой, в ведение которого мы поступали, при обыске подряд отбирал у мужчин кружки, сваливая их прямо на дворе в кучу.

При первой же раздаче кипятка в вагоне конвойные, увидев у меня мою домашнюю эмалированную белую кружку на 250 гр. и чистую большую консервную банку, из которой я иногда ела на иркутской пересылке, попросили их у меня, чтобы на-

поить мужчин, так как у них не было ни одной посуды. Так всю дорогу конвойные и поили весь этап из моих двух посуды.

Среди мужчин, у которых делали обыск, вдруг раздался протестующий и взволнованный голос:

Не отбирайте мою пьесу! У меня нет другого экземпляра!

Бедный полковник! — ахнула моя союзнаца Августина Петровна, — отбирают его пьесу!

— Какой полковник? — заинтересовалась я. — У него есть собственная пьеса?

— Да, это мой знакомый из Ташкентского лагеря. Мы все там знали, что у него есть написанная им пьеса.

Советский полковник, или бывший эмигрант?

— Советский полковник, заслуженный офицер последней войны. Слышите, спор все продолжается.

Действительно, со стороны группы мужчин доносились звуки голосов.

— Не забирайте рукописи! Она у меня одна! У меня нет копии! — звучал взволнованный, гневный и огорченный голос.

— Не положено, — слышался в ответ ледяной голос дежурного, делавшего обыск.

Я волновалась вместе с невидимым для меня и незнакомым мне автором. Мне, меньше чем год тому назад пережившей гибель всех моих рукописей — научных, публицистических, стихов, рассказов, статей, всего, что я за свою жизнь написала, что было напечатано, и что еще не успело увидеть света, короче — труд всей моей жизни — мне были понятны гнев и горе этого незнакомо советского полковника.

— И человек-то он какой хороший, культурный, — волновалась вместе со мною Августина Петровна.

*2 июня 1958 г.*

Утром 19 сентября мы подъезжали к Петропавловску. Мужчины из соседнего купе передали нам, что здесь пересылка находится от вокзала на расстоянии 12,5 км.

Петропавловск остался типичным небольшим сибирским городом, выгодно отличающимся от своих собратий только

большим количеством зелени. Одноэтажные домишки тонули в зелени палисадников и стояли в тени очень высоких старых деревьев.

Еще когда мы шли по городу, я почувствовала, что с одним моим башмаком творится что-то неладное. Присмотревшись, я увидела, что от носка отрывается подошва. Острые гвозди начали впиваться в ногу, а холодная сентябрьская грязь проникать в ботинок. Что делать? Ведь впереди двенадцать километров пути! Выбора не было, надо идти босиком. Этап замедлил ход. Воспользовавшись моментом, я сбросила ботинки и содрала носки и чулки.

Бр-рр! Какая холодная грязь! Ведь уже вторая половина сентября, а сибирские ночи холодные. Грязь за ночь остыла и казалась мне ледяной.

Хождение в этом этапе оказалось самым тяжелым из всех переходов, которые до сих пор выпадали на мою арестантскую долю. Мерзли и болели непривычные к хождению босиком ноги. Постепенно стало жарко, начала мучить жажда. В этот день мы еще ничего не ели.

Позади меня двое его товарищей вели под руки очень высокого слепого русского старика. Старик был обут в огромные сапоги. На ходу он загребал ими вперед и часто ухитрялся наступать мне на босые пальцы. Эта дополнительная боль, повторявшаяся через каждые несколько шагов, вскоре стала нестерпимой. Я подумала: как бы мне поменяться местами с кем-нибудь, идущим с краю?

Но все почему-то теснились в середину, все время происходило какое-то движение и раздавался сперва шопот, а потом все громче и громче — крик протеста:

— Уберите собаку! Собака кусается!

Тут я увидела, что когда мы вышли за город, конвойный, ведший на поводке ищейку, почему-то спустил ее. Бегая возле рядов идущих заключенных, она, как бы играя, хватала своими острыми зубами то одного, то другого и хватала, по-видимому, довольно больно, потому что то здесь, то там раздавались восклицания боли и протеста, на которые конвойные солдаты, очень молодые и разнузданные фронтовики, отвечали хохотом и шуточками.

Наконец, в степи показались здания, окруженные проволочкой, с вышками для часовых — мы подошли к Петропавловской пересылке. На следующий день, часов в десять или одиннадцать утра нас вызвали на этап. Мы пробыли на Петропавловской пересылке всего одну ночь. И ради этой ночи нас гнали 25 километров!

Обратно идти было еще труднее. 12,5 км. мы прошли за семь-восемь часов, придя на вокзал часам к шести, когда сентябрьское солнце уже садилось. По дороге, как и вчера, нам не дали ни разу отдохнуть. Наоборот, конвойные, видя, как мы плетемся, торопили нас и ругались, боясь, что мы опоздаем к поезду и нас придется вести обратно на пересылку. И действительно, мы пришли всего за 10-15 минут до прибытия поезда. Ночью шел дождь. Грязь была еще глубже, чем вчера.

Теперь мне опять придется писать об неэстетичных вещах, являющихся одним из главных источников страданий заключенных на этапе.

По дороге из Петропавловской пересылки до вокзала нам не дали ни разу остановиться. Хулиганствующий молодой конвой, натравливавший на заключенных собаку-ищейку и громко хохотавший, когда кто-нибудь вскрикивал от укуса или шарахался в сторону, совершенно не желал считаться с тем, что у человеческого организма есть известные функции.

После погрузки в поезд, когда многие заключенные стали просить выпустить их на opravку, конвойные заявили, что пока поезд стоит, никто выпущен не будет. А поезд все стоял и стоял.

К нам в купе посадили урку. Она была молода и здорова, организм ее работал нормально, и она громко и с употреблением собственного лексикона стала требовать, чтобы ее выпустили на opravку. Чем больше и чем грубее она требовала, тем больше ожесточался конвойный, который сперва только отмалчивался. Дело кончилось тем, что урка в отчаянии употребила свой башмак в качестве сосуда особого назначения.

12 июня 1958 г.

Кто в лагере не был — тот будет,  
А кто был — тот не забудет  
*Лагерная поговорка*

Мужчины сообщили нам, что в два часа ночи мы приедем в пересыльный лагерь Карабас. Вечером мы спросили дежурного так ли это, потому что если в Карабас мы приедем ночью, то не будем раздеваться и ляжем спать одетыми.

— Раздевайтесь и ложитесь, как всегда, — раздалось в ответ.

Мы решили, что или поезд запаздывает или наши мужчины ошиблись. Мы разделись и легли. Я поставила свои ботинки под нижнюю полку и мы, как обычно, втроем легли на среднюю. Урка, которая была под нами, еще с вечера завела флирт и, к нашему удивлению, мы прямо в нашем купе услышали внизу мужской голос. Оказалось, что эта бойкая девица нашла большое отверстие в соседнее мужское купе или сумела его проделать сама.

— Вставать, одеваться, собирать вещи! — раздалась вдруг среди ночи команда.

Мы вскочили. Купе заключенных ночью не освещаются, в лучшем случае через решетку падает слабый свет из коридора. Но на этот раз и в коридоре свет потух. Мы стали лихорадочно одеваться в кромешной тьме.

— Мы же вас спрашивали, раздеваться нам или нет. Почему же вы сказали нам раздеваться? — в сердцах упрекнули мы невидимого конвоира. Тот молчал.

Наконец, мы оделись и стали спускаться вниз. Женщины с самой верхней полки тоже спустились, внизу образовалась невероятная давка, тем более, что все спешно обувались. Когда почти все уже обулись, пошарила и я под нижней полкой, куда с вечера поставила свои ботинки. Их там не оказалось. У кого-то нашлись спички, осветили пол под нижней койкой.

На полу ничего не было. Что делать? Исчезла моя единственная обувь, а через несколько минут мы выходим! Тут только я сообразила: вечерний флирт под койкой закончился тем, что наша урка передала своему кавалеру мои ботинки.

Урка молчала. Ничего не оставалось, как обратиться к конвойному и попросить его сделать обыск в мужской камере рядом. Сперва он грубо ворчал, но сообразив, что ему может попасть от начальства, если я обращусь к начальнику конвоя и откажусь выйти босая, он нехотя пошел в мужскую камеру и через минуту вернулся с моими ботинками в руках.

Буквально через две-три минуты после этого поезд замедлил ход и мы подъехали к Карабасу. Начали отпирать мужскую камеру.

— Вылетай! — раздалась команда.

Послышался тяжелый топот бегущих по коридору мужчин. Поезд стоял здесь недолго и конвойные торопились выгрузить свой беспокойный груз.

Вскоре дело дошло и до нас. Загрохотал замок, отодвинулась решетка:

— Вылетай!

Более молодые и более сильные женщины, подхватив свои вещи, бросились бегом по коридору. Последними из купе вышли мамка в крайней стадии беременности и я, ослабевшая после недавнего сердечного припадка и тяжелого пути. Я пропустила мамку вперед и мы пошли, но бежать не могли.

Вот мы и на площадке вагона, позади нас — конвойный, осыпавший нас площадной бранью за медлительность.

— Вылетай!

Бедная мамка в нерешительности приостановилась с тяжелыми вещами на ступеньках вагона, задерживая и меня. Впереди была кромешная тьма, наши строились где-то в стороне, некому было помочь ей. Естественно, что она в своем состоянии боялась прыгнуть, не зная, высоко ли до земли и нет ли здесь откоса.

Она задержалась на каких-нибудь несколько секунд, но взбешенный конвойный, стоявший за мной, занес над нею кулак. Бедная мамка, обернувшись и увидев этот кулак, поспешила прыгнуть как попало и, по-видимому, прыгнула удачно. Тогда конвойный, еще более взбешенный тем, что ему не удалось ударить невольную виновницу секундной задержки, изо всей силы столкнул с площадки ни в чем неповинную меня, стоявшую за мамкой. Готовясь прыгать вслед за мамкой, я уже держалась

правой рукой за поручни. Падая, я не выпустила поручни и обеими ногами с силой стукнулась о железные ступеньки вагона, скользя вдоль ступенек лицом к ним. Наутро на ногах пониже колен у меня оказались огромные синяки и ссадины. Они зажи-вали недели три, не меньше, но я была счастлива, что бешенство зверя-конвойного не обошлось мне дороже.

Лагерь Карабас стоит на самой железной дороге, до вахты было метров двести-триста. Но тут не обошлось без происшествий. Впереди этапа, чтобы показывать дорогу, конвойные, видимо, еще не бывавшие в Карабасе, поставили одного заключенного, знавшего эти места. Но расположение этого лагеря все время меняется. Там, где наш гид предполагал дорогу, теперь были ямы от каких-то снесенных построек. Вдруг впереди раздался громкий крик и плеск. По рядам нам передали, что это наш проводник провалился по горло в яму, наполненную водой от недавно прошедших дождей.

Только когда мы подошли к лагерю, стало светло от ярких лампочек у входа и на вышках у часовых. Снаружи лагерь сиял огнями.

*15 июня 1958 г.*

Наступил рассвет. К нам приходил кто-то из начальников с бумагами, проверял нас. Кажется, после звонка на подъем и звонка на завтрак нас накормили. Затем была общая проверка или, как обычно говорят в лагере, поверка, после чего нам объявили, что мы идем в баню со всеми вещами.

Эта первая наша баня на Карабасе была мучительна, так как пришлось все свое имущество тащить самим далеко за зону.

Баня на Карабасе открыла мне еще одну сторону человеческих извращений, о которых я знала только из судебной медицины и уголовного права.

Когда мы добрались под конвоем, неся весь свой багаж до бани, нас встретил доктор в белом халате, заведующий баней, а двое конвойных, как всегда, остались ждать на улице. Первым распоряжением доктора, брюнета лет 40-50, еврейского типа было: весь багаж до последней вещи по две-три штуки вешать на раскрывающиеся железные кольца и сдавать в прожарку. Кроме

нас в нашей банной группе были женщины из другого этапа, и сейчас же поднялись протесты:

— Нас пригнали в баню со всеми вещами, у нас с собою и хлеб, и сахар, и кое-какая провизия, и посуда, и деньги, и квитанции. Что же — это все сдавать в прожарку?

— Все! — кричал рассерженный доктор. Потом, видя, что его все равно не слушаются, разрешил оставлять в раздевалке на полке над вешалками узелки с провизией и посудой.

— А что делать с деньгами? — спросило меня несколько растерявшихся женщин.

— Заверните их в носовые платки и сдайте доктору под его личную ответственность, пересчитав при нем. Пусть он и хранит, раз дает такие умные распоряжения — ответила я.

И, показывая пример, хотя денег у меня не было, я подошла к доктору и отдала ему на хранение какие-то бумаги с адресами. За мной потянулись другие. Доктор был несколько фраппирован количеством сданных ему на хранение денег и бумаг.

Около душа ходил, расставляя женщин из предыдущей партии, очень красивый молодой человек южного типа. Он не просто проходил через банное помещение, как это делают кочегары, задевая только своих подруг. Он был непосредственной обслугой при душах, он даже брал обнаженных женщин за руку или за плечо и расставляли их под души, как будто они сами не могли встать туда без его вмешательства.

Повторяю, такого непосредственного внедрения мужчины в женскую баню я еще не видела, и оно сразу вызвало у меня негодование. Не дожидаясь своей очереди я, завернувшись в полотенце, пошла искать доктора. Я была взбешена особенно тем, что интеллигентный человек, как и мы — заключенный, да еще и врач, который должен быть особенно чуток к людям, допускает такое безобразие. Долго ли еще будут унижать наше женское достоинство? Едва сдерживая свой гнев, я спросила:

— Скажите, доктор, этот молодой человек присутствует в женской бане для получения острых впечатлений?

Боже, что случилось с доктором! Он побагровел до апоплексического свекловичного цвета и в бешенстве стал орать, брызгая слюной.

Когда я вернулась в баню, обстановка там несколько изме-

нилась. Некоторые женщины протестовали, чтобы молодой человек их расставлял, да и крики доктора по моему адресу не могли не донестись до душевой и не вызвать реакции. В результате молодой человек, ворча, занялся уборкой и к женщинам больше не подходил.

Через несколько дней я сидела, вытянув ноги на своем узком месте на нижних сплошных нарах в женской секции 4-го барака, когда в дверях секции показался банный доктор. На этот раз он вежливо поздоровался, даже улыбнулся и попросил разрешения поговорить со мной. Я предложила ему сесть.

— Говорите ли вы по-немецки? — спросил он меня, не желая, чтобы наш разговор поняли окружающие женщины, с любопытством присматривавшиеся к доктору.

Да, — ответила я.

— А какое у вас образование?

— Я юристка.

— Значит, знаете латынь? Так вот, вчерашний молодой человек — *antifemina*, женщины для него не существуют. Поэтому вы совершенно напрасно рассердились, что он присутствует в женской бане.

— Мы о его психологических особенностях не могли знать, но если бы и знали, то присутствие в нашей бане извращенного человека было бы еще противнее.

Доктора от моих слов явно передернуло.

— Ну, не все так рассуждают, как вы. Знаете ли вы, что через Карабас ежемесячно проходят *от десяти до двенадцати тысяч мужчин и до двух тысяч женщин?*

— Ну и что же?

— Конечно, среди такой массы людей попадают всякие. И среди интеллигентных женщин тоже бывают развратные. Не далее, как в прошлом месяце санчасть обнаружила двух или трех женщин, больных сифилисом и как раз интеллигентных.

— Что же вы хотите этим сказать? Если даже эти две-три больные интеллигентные женщины действительно заболели на почве разврата, то почему вы это считаете основанием к тому, чтобы с остальными двумя тысячами, которые ежемесячно проходят через вашу баню, обращаться как со скотиной, лишенной стыдливости и женской чести?

Моя горячая филиппика как-будто оказала влияние на доктора. Он встал и, прощаясь, сказал по-хорошему:

— Я обещаю вам, что в следующий раз женскую баню будет обслуживать женщина.

И действительно, в следующий раз в бане не было ни одного мужчины. Когда мы, совсем одетые, выходили из бани, доктор, сияя улыбкой, стоял в дверях и принимал изъявления благодарности:

— Ну что, теперь довольны?

— Спасибо, доктор. Очень довольны. Надеемся, что так будет всегда, — сказали я и моя новая приятельница, красивая латышка — журналистка Дагмара Блаус. За нами хором благодарили доктора все другие женщины.

Но, увы, в следующий раз в бане орудовал тот же красивый молодой человек. Единственно, чего удалось женщинам от него добиться, это того, чтобы он не подходил и не расставлял их под душем.

Я больше не протестовала, потому что поняла, что это бесполезно. К этому времени я, кстати, узнала, что не только молодой человек, но и сам доктор был "antifemina", как он выразился, и что при нем в бане всегда состоит очередной красивый молодой человек, которого он устраивал на такую "блатную", как говорят в лагере, т.е. легкую должность.

Женщин этот извращенный врач презирал и ненавидел всей душой, и присутствие его очередного фаворита в женской бане было его любимым способом выказывать женщинам свое презрение.

Почти через пять лет, зимой 1951 года, я опять была в течение десяти дней на Карабасе на пути в спецлагерь со строгим режимом Спасск. За эти десять дней мы лишь один раз побывали в бане. Про доктора я узнала, что он уже несколько лет как освободился, но по собственному желанию остался на том же Карабасе в той же должности заведующего баней.

Добровольно остаться на несколько лет на Карабасе странный вкус! Но о вкусах, как известно, не спорят.

*20 июня 1958 г.*

В первое же утро на Карабасе, когда мы, измученные, со

всеми вещами вернулись из бани, нас направили в четвертый барак.

Этот 4-й барак был длинным, низким строением, наглухо разделенным посередине стеной. В одной половине жили мужчины, в другой — женщины. Каждая половина имела свой двор, небольшой впереди, значительно больший — позади барака. Эти дворы, как и все дворы при бараках на Карабасе, были окружены невысокой проволочной оградой, через которую можно было переговариваться с соседями и другими людьми.

Так как барачков было великое множество, считая хозяйственные постройки, кухни, склады, амбулатории и т.д., и каждое строение со своим двором было обнесено особой проволкой, кроме общей колючей проволки в несколько рядов вокруг всего лагеря, — Карабас напоминал гигантскую мышеловку. Да он, собственно, ею и был. Только вместо мышей тут метались люди.

При выходе из каждого двора обычно стоял вахтер из заключенных стариков-инвалидов. У них, очевидно, были общие указания от старшего коменданта, кого выпускать беспрепятственно, а кого не выпускать. Так, в мое первое пребывание на Карабасе урки, везде добивающиеся привилегий, здесь, наоборот, должны были прибегать ко всяким ухищрениям, чтобы выйти со своего двора, в то время как, например, я выходила беспрепятственно. Такое же отношение было и к другим приличным женщинам.

Только благодаря старшему коменданту Василию Григорьевичу можно было в ту пору — 1946 год — как-то жить и сохранить свои вещи на Карабасе. До и после него это было разбойничье гнездо, где происходили убийства, нападения, ножевые расправы, а о кражах и "раскурочивании" и говорить не приходится. Дело в том, что сколько не проходило через Карабас политических, они тонули в массе уголовных преступников. Ведь Карабас был пересыльным лагерем для целой системы не специально-политических, а смешанных, бытовых лагерей Карлага, где режим менее строгий, чем в политических спецлагерях, но зато в большинстве из них — царство бандитов и всяких крупных уголовных преступников.

Должность коменданта, иногда и старшего коменданта в

лагерях обычно занимается заключенным. В некоторых лагерях он или она — если это женский лагерь, — иногда называются завхозом, если выполняют чисто хозяйственные функции.

Старший комендант Карабаса Василий Григорьевич был полковником Красной Армии, отличившимся и контуженным на войне. Говорили, что он в какой-то период войны был комендантом Киева. Будучи тяжело контужен и вследствие контузии совсем уволен из рядов армии, он, уезжая с фронта или из госпиталя, не сдал своего казенного револьвера, за это был судим и получил 10 лет по 58 статье.

Я долго ломала голову (спросить было неудобно, тем более — такого сурового и замкнутого человека) под какой пункт 58-й статьи можно подвести такое деяние? И какие могут быть в нем политические моменты?

Василий Григорьевич то ли по природе был замкнут и суров, то ли таким его сделали его несчастья. Но под суровой внешностью никогда не улыбавшегося человека скрывался, как показали многие случаи, не только справедливый, но и добрый человек. Начальство лагеря, принимая во внимание его прежнее высокое положение по службе и безукоризненную работу (большинство из них было по чину ниже его), назначило его старшим комендантом лагеря, а дежурные сержанты — это я видела сама — стояли перед ним, когда он сидел и вытягивались, когда его встречали.

У Василия Григорьевича был даже свой собственный кабинет (а может быть, он пользовался служебным), а кабинка его была в нашем бараке, где он жил и имел молодую дневальную, которая, как поговаривали женщины, была его лагерной подружкой.

Один сорт людей был ненавистен старшему коменданту. С этим сортом он, очевидно, столкнулся только в заключении и сейчас же, как настоящий воин, вступил в неравную борьбу. Это были профессиональные преступники, блатные. При Василии Григорьевиче им невозможно было сказать другому заключенному, как они говорили в Акмолинске: "Я могу тебя убить и ничего мне за это не будет". И действительно, там за это обычно ничего и не бывало.

При Василии Григорьевиче не только что убить, но и ук-

расть, и обмошенничать, и раскурочить безнаказанно нельзя было. Сейчас же следовало наказание. И это — в таком море уголовных преступников, как Карабас. Конечно, бывали случаи краж, которые не доходили до него, или в которых он не мог дознаться виновника. Но там, где он мог помочь, он помогал.

Урок он держал на привязи и даже крупные из них должны были ловчиться, чтобы выходить со двора и встречаться со своими кавалерами и дамами. Он отнимал украденное и возвращал его владельцам, он поздно вечером приходил с облавой в женскую секцию и с помощью дежурных извлекал из-под нар спрятавшихся там на ночь мужчин-бандитов.

Нужно сказать, что расправа у него была коротка. Когда бандиты стали протестовать, осыпая его ругательствами и бросаясь на него с кулаками, он велел дежурным вывести их во двор и там собственноручно дал им несколько тумаков. Кроме того, он посадил этих бандитов, и мужчин и женщин, на три дня в карцер.

Блатные боялись Василия Григорьевича гораздо больше всякого начальства, и, конечно, не эти тумаки их пугали. Но и ненавидели они Василия Григорьевича за этот свой невольный страх и уважение — люто. Всем на Карабасе в то время было известно, что жизнь старшего коменданта блатными проиграна, и что поэтому начальство разрешает ему держать ночью под подушкой остро отточенный нож и запирать на ночь двери своей кабинки, как почему-то называют в лагерях отдельные небольшие комнаты.

Теперь надо пояснить, что означает в тюрьме и лагере термин "проиграть чужую жизнь". Представьте себе, что кто-нибудь из начальства ненавистен заключенным профессиональным преступникам, как был ненавистен Василий Григорьевич. Тогда между группой блатных начинается азартная карточная игра, при которой ставкой является жизнь ненавистного начальства: кто проиграет, тот должен его убить. В таких случаях "проигравши" обычно уплачиваются быстро и всегда — неуклонно.

Но бывают и более вопиющие случаи, когда из-за отсутствия денег для игры проигрывается жизнь совершенно неповинного человека, например, жены начальника или даже товарища.

Несколько бандиток играли в карты и кто-то предложил:

“Проиграем Маню” (тут же присутствовавшую и принимавшую участие в игре). “Нет, впрочем, не надо ее, а Катю (тоже одна из участниц игры). Живая “ставка” тут же была проиграна и проигравшая сразу ее убила.

Ну как не согласиться с известным русским криминалистом, проф. Познышевым, одним из основателей социологической школы уголовного права, когда он доказывает, что профессиональные преступники — это категория людей с особой грубой нервной и физической организацией, переживающих физическую боль гораздо менее остро, чем обычные люди. Кроме того, среди профессиональных преступников, рецидивистов попадают и *нравственно помешанные*. Это совершенно нормальные люди, *но родившиеся без всяких нравственных понятий и абсолютно неспособные их воспринять*. Как показала история XX века, таких людей много не только среди рецидивистов, но и среди членов всякого рода тайных полиций и даже среди политических деятелей.

Возвращаясь к проигрыванию жизни товарища или подруги, с которым убийца тут же сидит за столом и мирно играет, нужно сказать, что обыкновенный человек на такое *безмотивное* убийство неспособен. Для этого, действительно, нужно иметь особую психическую организацию.

Я была уже около года в Акмолинском лагере, когда пришла очередная партия женщин с Карабаса. Разговорившись с ними, я спросила, все ли еще старшим комендантом на Карабасе Василий Григорьевич.

— Василий Григорьевич убит. Царство ему Небесное, ведь он был проигран, — пояснила женщина, как нечто само собой разумеющееся. — К нему ночью ворвались бандиты, он защищался ножом, который ему разрешали держать при себе. Но их было несколько, а он-один, и его убили.

Острая жалость к большому, напрасно загубленному человеку охватила меня. За что погубили человека, который самой личностью своей вызывал уважение? И почему начальство, за целый год до его смерти знавшее, что он проигран, не поспешило перевести его в другой лагерь, где он был бы в безопасности?

Он был единственной силой, которая могла навести хоть от-

носительный внутренний порядок в этом царстве Сатаны. И им *сознательно* пожертвовали.

30 июня 1958 г.

Лагерь находился почти у самой железной дороги. Я не раз думала, подозревают ли пассажиры проезжающих поездов, что делается за этой колючей проволокой, так щедро опоясавшей в несколько рядов небольшую часть степи возле железной дороги? Очень может быть, что и не знают, думают, что здесь склады, потому и вышка с часовыми. А если даже и сообразят, что это лагерь, то не представляют себе, какова в нем жизнь, особенно в пересыльном....

Когда мы пришли в 4-й барак, нас встретила женщина-комендант женской части барака. На Карабасе каждый барак помимо старосты или, вернее, старост, так как каждая секция имела своего или свою старосту, возглавлялся еще комендантом всего барака, которому старосты были подчинены. Так как 4-й барак состоял из двух отдельных половин, мужской и женской, то каждая половина имела своего коменданта.

Комендантом женской части барака была довольно молодая женщина в шапке-кубанке, которую она носила постоянно даже в помещении. На вид ей было лет 35-38 и по ее лицу сразу видно было, что она — интеллигентный человек. Я к тому времени уже начала заниматься психологическими изысканиями, и меня стала забавлять возможность определения статьи, по которой сидит человек — по его внешности. Теперь я начала понимать вопрос одной из читинских дежурных: "У Вас 58-я?" "Да, откуда вы знаете?" — спросила я наивно. "У вас на лбу написано", — невозмутимо ответила надзирательница.

Теперь, спустя десять месяцев, для меня тоже оказывались "написанными на лбу" статьи моих товарищей-заключенных, по крайней мере — женщин.

Труднее определить статьи простых женщин. Крестьянка, севшая в тюрьму за то, что украла с колхозного поля для своих детей несколько "колосков", которые колхозницы обязаны подбирать за комбайном (а сколько их, колхозниц, сидело именно за это "преступление"! ) или крестьянка, получившая срок по 58

ст. п. I (государственная измена) за то, что постирала белье мужу или брату-партизану или накормила его обедом — ничем по внешности и поведению обычно не отличаются. Среди тех и других, со всеми их оттенками, изредка встречаются тихие, хорошие, часто — сварливые и склонные к зависти и сплетням, обычно — средние по своей нравственной личности женщины, мало, как и простые городские женщины, отличающиеся по внешности и поведению друг от друга.

Не то интеллигентные женщины. Я просто не берусь объяснить, по каким неуловимым признакам отличается "политическая", хотя бы и получившая 58 статью только за то, что при отступлении вовремя не эвакуировалась и попала в германскую оккупацию, от, скажем, бухгалтера или экономистки-плановика, севшей за настоящую или приписываемую растрату — чем-то неуловимым, но сразу же бросающимся в глаза, они друг от друга отличаются.

При первом же взгляде на нашего нового коменданта, не смотря на ее совершенно явную интеллигентность, я сразу определила, что она не политическая, а скорее всего — растратчица.

Комендант тоже окинула нас опытным взглядом:

— Вы и вы, — ткнула она пальцем в Риту Рабинович и меня, — в первую секцию.

Мы с Ритой устроились рядом на моем одеяле. Ночью она вздрагивала от страха, даже подпрыгивала во сне и, конечно, мешала мне спать. По утрам она говорила, как в подобных случаях и другие женщины, что ее душил домовый. Я подумала, что надо бы спросить Фрейда, какой это домовый мучает по ночам молодых женщин, на многие годы разлученных с мужьями.

Кроме домового спать нам в эти первые ночи на Карабасе мешали земляные блохи. К счастью клопов, несмотря на ужасающую тесноту, не было, а блохи недели через две, когда похолодало, исчезли.

С самого начала меня поразило, какая оживленная меновая торговля, а также торговля на деньги шла на Карабасе среди заключенных. Ведь большинство попадало на Карабас, как и я, пробыв после осуждения в КПЗ, тюрьмах, на пересылках и на этапах и год, и два, и больше. Такие заключенные нуждались буквально во всем: в куске мыла, во второй рубашке на смену, в па-

ре носков и т.д. С другой стороны, прибывали уже оперившиеся освобождающиеся, готовые избавиться от некоторых лишних вещей; урки, спешившие сбыть с рук украденное и раскуроченное; просто заключенные, старавшиеся обменять ненужную им вещь на нужную или продать ее с той же целью, и т.д.

Приехав на Карабас, я узнала, что основной "валютой" здесь является наша арестантская пайка черного хлеба в 600 гр., которая на черном рынке расценивается в 15 рублей. В ходу также и половина пайки в 300 гр., за которую дают 7 р. 50 коп.

Было несколько вещей, в которых я дозарезу нуждалась и которые нужно было купить на хлеб. На другой день после приезда на Карабас я фигурально и фактически затянула свой поясок, ибо нелегко в тюрьме дистрофику, да еще сразу после длительного этапа, продать свою пайку хлеба — основное питание, так как все остальное — только приварок. Продав пайку, я купила за полпайки хлеба кусок мыла. Это было первое мыло за одиннадцать месяцев, приобретенное мною самой. Тюремное начальство вовсе не заботится о том, как и чем моются и стирают заключенные, но устраивает скандал и выражает презрение (начальники, врачи, сестры, банные работники, парикмахеры и т.д.) тем из заключенных, у кого окажутся вши или чесотка.

Я почти не бывала без мыла благодаря тем добрым душам, которые мне его дарили в разных местах в течение всего моего первого года скитаний по тюрьмам и этапам. Да воздаст им Господь сторицей за их русскую доброту.

У одной спекулянтки я на вторые полпайки приобрела новую, японского производства зубную щетку и была вполне довольна. У меня уже *семь месяцев* не было зубной щетки, с тех пор, как у меня таковую отняла в читинской тюрьме дежурная Конь-баба. С тех пор я чистила зубы тряпочкой.

На следующий день я решила питаться, а на послезавтра опять продала свой хлеб и купила новый частый гребень. Опять-таки благодаря пресловутой Конь-бабе, отнявшей у меня в Чите мой красивый гребешок с изображением Фудзиямы, который ей приглянулся, мне пришлось остричь под машинку мои очень густые в то время волосы, так как я боялась, прося каждый день у кого-нибудь гребешок, завести у себя обитателей или болезнь волос, да кроме того, это было непривычно и противно.

Следующим крайне необходимым предметом была юбка. Мои оставшиеся два шерстяных платья начали рваться на коленях. Сделав над собой героическое усилие, я опять продала пайку хлеба и стала искать юбку.

Мне указали на группу блатных девчонок во главе с маленькой, толстенькой, розовощекой девушкой по прозвищу "Пончик", которая продавала юбку за дешевую цену — 15 р. Не знаю, что заставило меня забыть мою обычную брезгливость и осторожность в сношениях с блатными и решиться купить. Вероятно, это была крайняя необходимость и надежда на русское "авось".

И действительно, сначала все шло хорошо: мы быстро сговорились с Пончиком, юбка была явно не краденая, не домашняя, из какого-то бумажного материала лагерного защитного цвета. Мне она была немного коротка, но ее можно было выпустить. Была она довольно чиста и нова.

Отдав с радостью Пончику пятнадцать рублей, я сейчас же пошла по секциям искать одну из стиральных барачных деревянных шаек, так как это все же была не рубашка, которую я могла стирать на весу.

Пока шли мои поиски и переговоры, прошло с полчаса, и я уже хотела начать пороть подол юбки, чтобы ее удлинить, как ко мне опять явилась вся компания с Пончиком во главе.

— Мы раздумали продавать юбку. Отдавайте ее назад, — заявила Пончик, протягивая мне мои пятнадцать рублей.

— Как раздумали?! Юбка теперь моя, вы мне ее продали, — вспыхнула я. — Я не отдам юбки. Надо было думать раньше.

— Да мне нужны были деньги на покупку тапочек и нехватало пятнадцати рублей, а теперь мы эти деньги достали, — откровенно и довольно добродушно заявила Пончик. — Юбку эту я все равно заберу, берите ваши деньги.

— Да соглашайтесь же и берите деньги! — зашептали женщины со всех сторон, а одна подошла и зашептала мне на ухо: "Да берите же ваши деньги, это обычный трюк Пончика, удивительно, что она посчиталась с вами и возвращает деньги".

Оказывается, у Пончика и ее группы был любимый и нехитрый трюк: продать вещь какой-нибудь женщине, особенно пожилой, получить деньги, а через полчаса вернуться и отнять вещь,

если нужно — силой, "забыв" при этом вернуть деньги. Она, этим славилась, и я уже не знаю, чему приписать, что она мне вернула деньги.

*6 июля 1958 г.*

Недели через две после того, как я приехала на Карабас, на вечерней проверке я заметила новое лицо. Конечно, я знала не всех женщин в бараке, тем более, что состав непрерывно менялся, к тому же я близорука и у меня плохая память на лица. Но лицо этой дамы было настолько необыкновенным, что даже я не могла бы не заметить ее.

Расспросив о ней, я узнала, что она действительно только в этот день выписалась из больницы, где долго лежала.

Была она стройной молодой женщиной выше среднего роста в сером, далеко не новом, но хорошо сшитом костюме. Я по-женски сперва обратила внимание на костюм, так как он выделялся среди всех обшарпанных телогреек и бушлатов. На голове у дамы был светлый шарф, очень красиво и умело повязанный чалмой. Туфли, хотя и ношенные, были тоже еще "домашние", не тюремные. Весь ее элегантный облик сразу же привлек мое внимание.

Вскоре я познакомилась с этой дамой. Она назвалась Тамарой Петровной. Сказала, что она латышка. Через несколько дней пояснила, что ее имя Дагмара, но так как простые русские женщины называют ее Тамарой, она так и рекомендуется новым людям. Теперь, когда я знаю ее имя, она просит называть ее просто по имени.

Дагмара Блаус приходилась мне, как оказалось в некоторой степени двойной коллегой. В ранней молодости, во времена самостоятельности Латвии, она училась в Риге на Юридическом факультете, но бросила его, пройдя один или два курса и вышла замуж за видного журналиста, редактора одной из крупнейших латвийских газет. Начав работать в газете мужа на женской странице, она вскоре стала редактором этой страницы. Так Дагмара стала и журналисткой. Впрочем, о своей журналистской работе она отзывалась довольно скромно.

Муж Дагмары был всегда левых взглядов. После при-

соединения Латвии к СССР в 1940 году он настойчиво уговаривал жену ехать с ним и четырехлетним сыном в Москву, где ему предлагали подходящую работу. Но Дагмара не хотела уезжать из Риги. Все же хитростью муж ее вывез.

Но власти не оценили преданности редактора, вскоре он был арестован и посажен в московскую тюрьму. Впрочем, там для него через некоторое время "создали условия", как говорят в СССР, и он с какой-то латвийской группой писал научную работу.

Что касается Дагмары и ее сына, то они были высланы в Башкирию, в глухую деревню. Жизнь стала ужасной, особенно когда были выменены на продукты немногие имевшиеся с ними вещи (в Риге на произвол судьбы была брошена квартира и все имущество). Дагмара могла просуществовать лишь благодаря тому, что, окончив в свое время в Риге курсы оказания первой помощи и имея с собой довольно богатую аптечку, она стала оказывать кое-какую медицинскую помощь населению, т.к. в башкирской деревне не было медицинского пункта. Благодарные пациенты платили за лечение продуктами.

Но Дагмару арестовали. Ее четырехлетний сын оказался брошен на произвол судьбы среди чужих людей в глухой дальней деревне.

Пока длился процесс Дагмары и она сидела в КПЗ, она не имела права переписки и ничего не могла узнать о сыне. Когда ее осудили (не то на восемь, не то на десять лет) и стали возить по тюрьмам и пересылкам, она тоже ничего узнать не могла, но, наконец, не так давно напала на какой-то след. Ее муж, сидя на особом положении в московской тюрьме, через свое начальство тоже разыскивал сына; у Дагмары был приятель, кажется, в Риге, который со своей стороны помогал в поисках; и, наконец, мать Дагмары и ее сестра, жившие на свободе в Риге, разыскивали внука и племянника.

Оказалось, что вскоре после ареста Дагмары в башкирскую деревню приехал один ее знакомый — русский инженер с женой и двумя мальчиками и забрал брошенного ребенка. Но судьба была беспощадна к этому человеку: еще по дороге, прямо в поезде этот инженер и его жена были тоже арестованы по политическому обвинению и трое детей — двое сыновей инженера и

сын Дагмары были отправлены в какой-то детдом в Башкирии — но в какой, другу Дагмары пока узнать не удалось.

Это — только одна из детских трагедий. Сколько детей арестованных родителей или погибло в раннем детстве, будучи брошенными на произвол судьбы, или, что еще хуже, стали беспризорниками, а значит, ворами и бандитами, или, даже и попав в детдома, голодали и бедствовали, сбегали и опять рано или поздно попадали в тюрьму.

*М. Шапиро*

# ЮЖНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ

Кто не мечтал в детстве о такой экзотике, как мыс Доброй Надежды? Я тоже мечтал, и не только в детстве. В 75 лет я, наконец, вступил на мыс Доброй Надежды и имел редкую возможность увидеть с высокой скалы на самом конце мыса направо — Атлантический и налево — Индийский океаны, слушая рассказ о том, как много кораблей, огибая мыс, погибло на коварных скалах.

Было довольно холодно и ветренно и внизу большие волны с грохотом разбивались о скалы.

Затем я получил свидетельство от правителя морей и океанов Нептуна о том, что я действительно достиг мыса Доброй Надежды. Пожалуй, это свидетельство все еще представляет собой некоторую ценность. Ведь не так уж и давно, всего лишь в 1487 году, португалец из Лиссабона Диаш впервые в европейской истории достиг этой точки земного шара (в поисках морского пути на Восток, в Индию). Ему не очень повезло. Бушевал шторм и Диаш едва унес ноги, до Индии не добравшись. Он назвал мыс Мысом Штормов.

Только в 1498 году другой португалец, Васко Да Гама, обогнул мыс и затем впервые достиг Индии морским путем. Погода ему благоприятствовала, и именно он дал мысу современное название: мыс Доброй Надежды. С тех пор все суда, отправляющиеся с Запада на Восток, из бассейна Атлантического океана или обратно, огибали знаменитый мыс. Только открытие Суэцкого канала сократило этот поток, но далеко его не прекратило.

Третий португалец, Да Салданха в 1503 году высадился в удобной бухте на атлантическом побережье поблизости от Мыса для того, чтобы набрать пресной воды. Он открыл гору с плоской вершиной, назвал ее Столовой горой, поднялся на вершину и увидел с обеих сторон море (Индийский и Атлантический океаны), установив таким образом, что он находится на полуострове.

Наконец, в 1652 году в той же бухте у Столовой горы с корабля голландской Восточно-Индийской Компании высадились 120 искателей счастья под предводительством Ван Рибекса. Они построили укрепленный форт и занялись хозяйством и торговлей с мореходами, заходившими теперь в бухту для пополнения запасов воды и пищи. Это поселение и разрослось в нынешний красивый город Кейптаун с огромным морским портом. Сам город хорошо благоустроен. Много зелени. Много довольно старинных зданий, включая форт.

К сожалению, я попал в Кейптаун в воскресенье и была сплошная тоска: все закрыто, улицы пусты и почти без транспорта. Только в понедельник обнаружилось множество магазинов и прочих заведений, как и в любом современном европейском городе. Появились автобусы, и я мог посмотреть город, порт, пляжи и подъехать к подножью Столовой горы, откуда на кабельном вагончике добрался до ее плоской вершины. Вид на оба океана, на город у подножья горы, на пляжи и порт был чудесный. Полуостров практически весь, за исключением национальных парков, заселен и с горы городу не видно конца.

Трущобы на окраинах Кейптауна, конечно, есть, но, в среднем, люди живут очень неплохо. Пища дешевле, чем в Англии, особенно мясо. Бифштексы, пожалуй, не хуже, чем в Буэнос-Айресе. Порции в ресторане в 2-3 раза больше, чем в Англии. Я не всегда их мог осилить. В Кейптауне я не заметил бросающихся в глаза различий в обслуживании белых и черных. Вокзал общий, автобусы общие, отели общие. Правда, уборные кое-где были отдельные. Надо сказать, что в Кейптауне черных я видел не так много.

Я объехал весь полуостров. Во всех городках и поселениях жизнь течет тихо и спокойно. Неплохо организована и не слишком отличается от европейских стандартов. Города на стороне

Индийского океана имеют великолепные пляжи и походят на превосходные курорты, пожалуй, не хуже французской Ривьеры. Во всяком случае, спокойнее и без толкотни. Существенно, что на стороне Индийского океана вода на 6 градусов теплее. Кстати, сюда приезжает на отдых много публики из Европы. В Южную Африку для владельцев европейского паспорта виза не нужна.

Затем я попал в Дурбан. Дурбан находится на берегу Индийского океана в 1776 километрах от Кейптауна (около 1000 миль — огромная страна Южная Африка). Дурбан — превосходнейший курортный город с превосходнейшими пляжами, со всеми увеселениями. Вдоль берега тянется хорошо ухоженный парк. Тут же огромный порт. Черных в Дурбане больше, чем в Кейптауне, но дискриминация тоже не бросается в глаза.

Любопытная и неудобная особенность Дурбана — почти полное отсутствие автобусного транспорта. Расписание с интервалами около часа, которое к тому же не соблюдается. Естественно, публика на автобусы не рассчитывает и, практически, ими не пользуется. Это хороший пример государственной монопольной (других автобусных компаний нет) собственности: чем реже и менее регулярно ходят автобусы, тем, естественно, люди на них меньше рассчитывают. Число пассажиров уменьшается и получается, что транспорт вроде и не нужен. У меня есть подозрение, что опыт Дурбана будет властями других стран заимствован. Как говорят, "баба с возу, кобыле легче".

Еще 600 километров и попадаешь в Йоганнесбург. Это и есть та самая Южная Африка, о которой так много пишут. Большой, современный город с небоскребами и парками, с интенсивным движением, с толпами народа на прямых и перпендикулярных улицах. Город явно богатый. Огромное множество черных. Автобусов много и они ходят регулярнее. Однако, автобусы отдельные — для белых и для черных, и даже разной конструкции. Огромный железнодорожный вокзал в центре города состоит из двух отдельных зданий — для белых и для черных. В "белом" здании просторно, тихо, спокойно, удобно. В "черном" — толпы, шумно, беспокойно и неудобно. Поезда с отдельными вагонами для черных и для белых. На станциях участки перона разделены — для черных и для белых. В отелях, однако, такого

разделения нет, но отели дорогие и, конечно, черных там не очень много. В Йоганнесбурге эта дискриминация бросается в глаза.

С экскурсией мы изездили знаменитый Совето вдоль и поперек. Совето — городок к югу-западу от Йоганнесбурга. Неплохие кирпичные дома с садами. Магазины, обслуживающие и увеселительные заведения, школы, библиотеки, дома для престарелых и инвалидов.

Там же мы видели большую, превосходную виллу известного черного вождя — епископа Туту. У него автомобиль, гараж, все удобства и черная прислуга. Чуть поменьше вилла Манделы, вождя черной полутеррористической организации.

Общее впечатление от Совето: пыльно, грязновато, не слишком тщательно благоустроено, но жить неплохо. Мне лично приходилось жить много хуже. А уж с советскими колхозами и поселками Совето не идет ни в какое сравнение. Поместите Совето куда-нибудь в советскую провинцию и можете показывать иностранным туристам, как достижение советской власти. Конечно, снабдив соответствующими транспарантами с лозунгами: "Вперед к коммунизму", "Спасибо родной партии за счастливую жизнь" и т.п.

Наконец, Претория — столица Южной Африки. Большой университетский город. Очень богатый, очень красивый и благоустроенный. Много зелени и парков. Много черных, но не столько, сколько в Йоганнесбурге. Различия тоже меньше бросаются в глаза.

На самолете из Дюрбана в Йоганнесбург я познакомился с жителями Претории, урожденными южноафриканцами, мужем и женой. Они пенсионеры. Муж — член правящей национальной партии, по профессии счетовод, очень увлечен политикой (на этом мы и сошлись). Жена — домашняя хозяйка. Они пригласили приехать к ним в Преторию, на что я немедленно согласился.

До пенсии они жили в большой, великолепной вилле с превосходно ухоженным садом. Дети стали взрослыми и разъехались, вилла стала для них велика и они, переселившись в многоквартирный дом. Я был у них в квартире. Большая гостиная, чуть поменьше столовая, кухня, две спальни, *две ванн*, кабинет мужа. Квартира великолепно отделана. На стенах

картины, везде ковры, великолепная мебель. Много воздуха. Чисто. Приятно. Так живут белые *пенсионеры*.

Они сводили меня в отличный ресторан и заплатили порядочную сумму. Жена при этом неодобрительно заметила, что муж слишком уж тщательно проверяет счет.

На своей машине они свозили меня на виллу дочери и познакомили с нею, ее мужем и двумя девочками. После описания квартиры пенсионеров у меня нет слов для описания этой виллы. Царская жизнь!

Муж и жена твердо верят в хорошее будущее Южной Африки. Верят, что конфликт между белыми и черными будет разрешен. Как, они не знают, но уверены в этом.

В Йоганнесбурге, сидя на скамейке в ожидании "белого" автобуса, я познакомился с белым жителем Йоганнесбурга, уроженцем этого города. Ему 75 лет. Он работает каким-то администратором на мебельной фабрике. Доволен и жизнью и работой. Он тоже уверен в будущем своей страны и в разрешении конфликта. Как и мои знакомые из Претории, он не придает конфликту и доли того значения, с каким он подается в европейских или американских газетах. Кстати, за три недели своего визита я ни разу не был свидетелем каких-либо демонстраций или дебошей.

Мой собеседник бывал в Европе и отзывается о тамошней жизни неважно. Трудно сказать, почему. Вероятно, в своей стране он обладает повседневными привилегиями и чувствует себя в некоторой степени особенным, а в Европе он — ничего не значащая песчинка среди миллионов других. Пожалуй, может быть, есть и еще одна причина. В Южной Африке с давних времен существует весьма совершенная организация жизни и строгий порядок, который мой собеседник предпочитает европейским "хаосу" и толкотне.

Побывал я и на знаменитых алмазных копях близ Претории, где был найден самый большой в мире алмаз "Кулинан". Сейчас добыча идет уже под землей. Огромная яма рядом постепенно зарастает травой. Алмазоносная руда (в среднем, один грамм алмазов на 12 миллионов грамм камня) отбивается глубоко под землей, доставляется на поверхность, дробится и крошится, а затем промывается, выдавая горстки алмазов. За по-

следние 75 лет копи дали 15 тонн (15 миллионов грамм) алмазов. Около 500 грамм алмазов в день. В отвал ежедневно выбрасывается 6 миллиардов (биллионов) грамм, т.е. 6000 тонн камня.

Наземная часть копей выглядит как большая фабрика из различных зданий с вышками подъемных машин и конвейерами. Большинство работников черные, живут в поселке недалеко от копей. Поселок и копи находятся довольно далеко от Претории, но я не заметил никакого общественного транспорта. Наоборот, видел на дороге нескольких черных, шагающих в сторону от копей или к копиям. Правда, в поселке я видел легковые автомобили.

Общее впечатление от Южной Африки: экономически богатая страна с богатыми природными ресурсами, весьма организованная, со строго поддерживаемым налаженным порядком. Строй городской жизни близок к европейскому. Во всяком случае, для европейца жизнь в Южной Африке больших проблем не представит. Европейская и американская культура в виде книг, журналов, газет, программ, телевидения и радио вполне доступна в Южной Африке.

На мой взгляд, Южная Африка явно богаче и организованнее Тайваня, Гонконга, Южной Кореи, Мексики, Шри Ланки, Турции, Греции, Таиланда, где я в свое время побывал. Английский журнал "Экономист" ставит Южную Африку по доходу на душу населения (в среднем, включая черных) на 96 место, сразу за Венгрией, но впереди Польши (97), Южной Кореи, (104), Кубы (108), Турции (115), Филиппин (144), Таиланда (146), Шри Ланки (181), Индии (193), Мозамбика (208). Однако, журнал оценил выше Гонконг (56), Тайвань (84), Мексику (88), Грецию (68). Эти цифры относятся к 1982 году. Интересно, что журнал ставил СССР в 1976 году на 56 место, а в 1982 году на 70 место: СССР движется на всех парах вперед к коммунизму! Пуэрто Рико (пуэрто значит бедный) оказалось на 69 месте: как видно, движется в обратную от коммунизма сторону. Несчастное Пуэрто Рико!!

Я не побывал в глубинке "черного материка". Но я столько посмотрелся тамошней жизни по английскому телевидению, что знал, как говорится, все наизусть. Жизнь там мало отличается от той, что была сотни и сотни лет тому назад. Она, конечно,

представляет огромный контраст даже с жизнью в Совете, не говоря уже об остальных вполне современных городах.

Власти Южной Африки организовали шесть самоуправляющихся черных государств: Венда, Свазиленд, Транскей, Цискей, Лесото, Бопутсвана. Эти государства были созданы в попытке как-то защитить, с одной стороны, "белую культуру" от черного наводнения, а с другой, дать возможность черным жить по-своему, под собственным управлением. Всего таких государств предполагалось создать 150. Почему так много? Во первых, страна огромна. Во вторых, в стране много черных племен, и они враждуют друг с другом. Одно из черных государств, кажется, Транскей, устроило у себя что-то вроде американского Лас Вегаса. В Йоганнесбурге я видел шикарные автобусы с белыми туристами, направлявшиеся в этот южноафриканский Лас Вегас.

Смертность в Африке с приходом белых и некоторым улучшением жизни черных сократилась. Черное население резко возросло и, естественно, люди не сидят в глубинке, а едут в города в поисках более интересной жизни и работы. Поэтому миллионы черных непрерывно курсируют между своими городками, включая и самоуправляющиеся государства, и, скажем, Йоганнесбургом. Остаться в городе по закону они не имеют права. Будь у них такое право, Южная Африка превратилась бы в нечто, похожее на нынешний Мозамбик, т.е. был бы полный хаос. Несмотря на сравнительно высокую грамотность и даже существенное число университетски образованных черных в Южной Африке, они еще далеко не в состоянии поддерживать развитую промышленную культуру белых. Эта белая культура развивалась и создавалась в Европе много сотен лет, в то время как Африка продолжала жить прежней жизнью. Смертность в Африке тогда была высока и поддерживала численность населения на таком уровне, что пищи было достаточно и не было необходимости вести борьбу с природой, как это было абсолютно необходимо на Севере.

Чем лучше жизнь, тем меньше смертность, тем больше ртов, которые нужно кормить. Природных благ нехватает, нужна более производительная система хозяйствования, т.е. нужна северная, белая культура. А эта белая культура настолько не отвечает африканской черной культуре, что нужны если не

сотни, то многие десятки лет для получения будущего черно-белого гибрида. Кроме того, если рост населения, вызванный улучшением жизни, не уменьшится, гибрид может не получиться вообще. Правители Южной Африки в собственных интересах всячески (и материально и интеллектуально) помогают своим самоуправляющимся черным государствам. Трудно сказать, появятся ли все 150 черных государств (Запад их не признает), сумеют ли они создать для себя (даже с посторонней помощью) более производительное хозяйство или пойдут по пути "Лас Вегасов" и Мозамбиков.

*История Ю.А. и ее связь с проблемой  
черно-белого конфликта*

После высадки Ван Рибек в 1652 году на полуострове в 1688 появились французские гугеноты, бежавшие от религиозных преследований. Постепенно пустынный полуостров начал осваиваться мореходно-торговыми компаниями, заселяться беглецами и искателями счастья и независимости. Случались, конечно, стычки с туземными племенами, но сила, как правило, была на стороне белых поселенцев с их огнестрельным оружием. В 1820 году Англия, расширяя свои колониальные владения, оккупировала полуостров. Первые поселенцы, буры, не желавшие потерять свою независимость, решили просто уйти и двинулись в глубь страны, преодолевая сопротивление черных племен. В конечном итоге, буры основали независимые республики Оранж Фри Стейт и Трансвааль. Отметим, что Йоганнесбург, где дискриминация особенно сильная, находится именно в Трансваале.

Новые республики находились далеко от полуострова, в глубине черной Африки. В море черного населения поселенцев была всего лишь горстка. Постепенно кровопролитные бои утихли, враждебность черных была преодолена, завязались связи. Черные предоставили свою рабочую силу, а буры-эффективную организацию. Но возникла новая проблема. Без специальных мер через два-три поколения смешанных браков белые могли раствориться в черном море, не оставив по себе никаких следов. Погибла бы и культура буров, а нет человека, который бы не хотел всеми средствами сохранить свои традиции, свой язык,

свою культуру. Язык буров уже здорово пострадал, превратившись в особый жаргон, называемый "африканос".

Нужно было принимать меры для предотвращения гибели белой культуры. Началось то, что называется "апартеидом". Буры стали с помощью законов отделяться и изолироваться от черных. Законы эти были рассчитаны на то, чтобы дать белым преимущества, позволяющие увеличить сопротивление белой культуры мощнейшему натиску черной. По сути, у буров не было выбора: или апартеид или гибель нации.

Продолжавшийся натиск черной культуры приводил к появлению новых и новых законов: далеко не все были целесообразны, хорошо продуманы, рассчитаны на далекое будущее. Возможно, следовало бы играть на различиях в благосостоянии, а не в цвете кожи. Политики апартеида придерживались и американцы: в 1939 году я сам на юге США наблюдал ту же картину, что в Южной Африке. Также поступали и другие нации.

В 1902 году англичане в результате знаменитой Бурской войны завоевали независимые владения буров и создали в 1910 году Южно-Африканский Союз, именно то государство, которое сейчас называется Республикой Южной Африки. Англичане ушли лишь в 1961 году, оставив институт апартеида нетронутым. В областях, которые были ими заняты до 1902 года, апартеид соблюдался не так строго, как в бурских республиках. Хочу подчеркнуть, что англичане сами не усиливали апартеид, но и не принимали никаких мер к его ликвидации или уменьшению. Несомненно — по тем же самым причинам, какими руководствовались буры.

Все нападки на Ю.А. по поводу апартеида являются совершенно фарисейскими и лицемерными. Нет ни одной страны, которая в защиту своей национальной культуры не принимала бы мер против других национальностей в виде ограничения въезда, ограничения прав иммигрантов и т.п. Определенная доза апартеида существует и на Западе. Представим, скажем, что Франция открыла свои границы для всех и давала бы всем въезжающим те же права, что и своим гражданам. В несколько лет от Франции и французской культуры не осталось бы и следа. Франция превратилась бы в арабско-негритянскую африканскую колонию.

Конечно, в наше время все эти отдельные убогие, железнодорожные вокзалы, автобусы и т.п. кажутся нелепыми. Вместо застав можно было бы ввести, к примеру, прописку, как советская, или вид на жительство, как везде на Западе, без деления по цвету кожи, но с делением на полезных по квалификации или по капиталу и тех, кто будет экономическим грузом для данного района. Все страны пускают к себе только полезных.

Нелепости апартеида уже постепенно отмирают и ликвидируются. Обсуждается, например, отмена закона, запрещающего смешанные браки. Очень опасная, конечно, отмена, но, видимо, она уже не приведет к исчезновению белой расы и превращению всех в метисов. Традиция не смешиваться сохранится.

Запад лицемерно настаивает на избирательной системе "один человек — один голос". Ясно, что это означает приход черного правительства и превращение Ю.А. еще в один Мозамбик и, вероятно, в новую африканскую диктатуру. Правители Ю.А. должны быть идиотами, чтобы это допустить.

Самому черному населению нужно совсем другое. Дело не в праве голоса. Право голоса нужно рвущимся к власти вождям черных, вроде епископа Туту и Манделы. Власть им нужна для удовлетворения их амбиций, так как сами они живут превосходно. Можно не сомневаться, если они достигнут цели, у их черных соплеменников животы начнут пухнуть от голода и кости трещать, как в соседнем Мозамбике и в большинстве африканских стран.

Наиглавнейшая проблема Ю.А. совсем не в праве голоса для всех черных и даже не в апартеиде вообще. Суть дела в чрезвычайно жесткой, сложившейся исторически централизованной организации и монополизме менеджеров государств и корпораций. Первые поселенцы были вынуждены вести весьма строго организованную и направляемую из одного командного центра жизнь. Иначе они погибли бы в борьбе с природой и туземцами. Их централизованная организация развилась, усовершенствовалась и теперь вместо маленькой группы людей распространилась на всю огромную страну. Даже посетитель может почувствовать эту всеобъемлющую, всепроникающую и жесткую организацию. Все находится под контролем. В стране миллионы безработных, а чистильщиков обуви нет. Почему? Не

потому, что нет охотников заработать на этом хотя бы грош. Это не разрешено.

На белом пляже горы шезлонгов, но никто их не берет: нужно платить 1 ранд, т.е. около 50 пенсов, или 65 центов, что очень дорого и для белых. Я спросил, смогу ли я, купив шезлонги, предложить их, скажем, в 2 раза дешевле? Ответ был — нет. Вам не дадут лицензии. Одна уже выдана, и другая создаст конкуренцию. А конкуренция ведет к дезорганизации. Цель хорошей организации — заранее все предусмотреть, а при конкуренции заранее ничего не предскажешь. Кроме того, иметь двух или больше конкурентов для выполнения одной задачи, значит растраниживать общественные ресурсы. Неважно, что при таком "растраниживании" все становится дешевле, лучше и удобнее. Правители Ю.А., как и известный нефтяной монополист Рокфеллер Старший, считают конкуренцию недопустимым злом.

Я спросил таксиста в Дюрбане, почему бы ему не начать работать независимо, вместо того, чтобы получать гроши от компании (200-300 рандов в месяц)? Таксист сообщил, что получить лицензию страшно трудно: нужна взятка (неотъемлемое свойство "хорошей" организации) и очень большая. Он назвал цифру между 5 и 6 тысячами рандов. С необходимостью покупки автомобиля и отсутствием кредитов завести свое дело практически невозможно.

Ни в одном городе, ни в одном местечке из тех, что я посетил, я не заметил и следов независимой частной (не корпоративной) активности. В Стамбуле, например, улицы просто кишат частниками, занимающимися самым фантастическим бизнесом, не говоря уже об армиях чистильщиков сапог. А в Ю.А. везде порядок. Все диктуется из центра, как во времена первых поселенцев.

Таким образом, в Ю.А. мелкое предпринимательство зажат в тиски контроля и практически задушено. Развитие происходит на уровне монополий и государства. 24% всего хозяйства — собственность государства. У руля же монополий и государства стоят поколения все тех же Рибеков и Крюгеров, которые были лидерами поселенцев и буров — разновидность наследственной номенклатуры, имеющей весьма хорошие намерения, но зажимающей всякую самостоятельность. В результате, скажем,

Совето имеет от щедрого государства все, что то реально может дать и что достаточно для неплохой жизни. Однако, вспомним, скажем, тюрьму в ФРГ. Террористы в этой тюрьме имеют отдельное помещение из двух комнат, отопление, освещение, регулярную и здоровую пищу, спортивные площадки, развлечения, стереоустановку, телевидение, книги, газеты и журналы, переписку и даже могут учиться и получить ученую степень доктора наук. Террористы у любвеобильного государства живут, как у Христа за пазухой. Живут лучше, чем сотни тысяч рядовых граждан на воле. Тем не менее, они недовольны и стремятся вернуться ко всем превратностям жизни на воле. Так и в Ю.А. люди (не только черные, но и белые тоже), получая от государства или монополий средства существования, не могут быть довольными. Они хотят это все добывать сами. Они, как все человеческие существа, хотят ставить перед собой свои собственные задачи и получать удовлетворение от их решения.

Поэтому, как мне кажется, Совето и бунтует: не от плохой жизни, а от жизни, заранее предначертанной и предписанной. Люди хотят иметь творческую независимость. Не имея ее, они занимаются антитворчеством — разрушением, вандализмом и дебошами. Я отнюдь не хочу оправдать это антитворчество; несомненно, оно должно пресекаться железной рукой. Однако, без устранения причины, его вызывающей, борьба с ним едва ли будет успешной.

По сути, это такое же подавление самодеятельности, которое достигло максимального предела при социализме и которому сопротивлялись бы в наименьшей степени в СССР, если бы там не было блестяще отработанной и всепроникающей системы подавления.

Дело совсем не в желании самоуправления. В своем подавляющем большинстве африканцы не хотят брать управление в свои руки. Они даже не хотят владеть собственностью на средства производства (акции). Они знают, что не умеют управлять. У них своя профессия, а собственность на средства производства накладывает большую дополнительную ответственность, которой они не хотят. Они хотят жить, работать соответственно своей профессии и способностям, получая побольше зарплаты. Самоуправление рассматривается лишь как последнее средство для

достижения указанной цели.

Существенно отметить, что продолжающееся подавление самодеятельности масс в Южной Африке, как и любое другое, раньше или позже затормозит развитие страны и может повернуть его вспять. В силу этого в ближайшее время можно ожидать существенного ухудшения экономики Ю.А. "Экономист" отметил, что Ю.А. переместилась с 95 места в 1976 году на 96 место в 1982 году. Ухудшение относительного благосостояния, конечно, незначительное, но, в свете сказанного, — знаменательное. "Newsweek" в номере от 8 июля 1985 года подтвердил этот анализ: "Экономика Ю.А. находится в состоянии застоя, а наблюдаемое уменьшение вложений (иностраннх и *своих*) ведет от застоя к прямому ухудшению". Дело в том, что любые вложения, свои или чужие, есть вложения, так сказать прибавочного труда, выраженного в прибыли. Подавление самодеятельности чрезвычайно уменьшает резервуар этого прибавочного труда.

Следует подчеркнуть, что черных весьма привлекает белая культура, они не хотят оставаться в своих автономных государствах, хотя там *они имеют "один человек — один голос"*, самоуправляются и получают существенную помощь от центрального правительства. Ликвидация апартеида приведет к созданию черного правительства, растворению и ликвидации белой культуры и исчезновению этого привлекательного источника лучшей жизни. Пример Мозамбика рядом. Многие черные это понимают, но далеко не все. Для вождей черных это не имеет значения. Они рвутся к власти и готовы в погоне за властью все разрушить, истребить миллионы жизней (чужих, не своих), чтобы затем, сидя на развалинах, стать хозяевами многих других миллионов.

Знакомая история. Недавно черные вожди организовали взрывы бомб в автономном государстве Транскей, убивая свой собственный народ. Они же организывают убийства черных полицейских, черных представителей власти, вообще черных, подозреваемых в сотрудничестве с властями. Они не стесняются организовывать поджоги и разрушения домов и имущества своего же черного населения. Словом, делают все, чтобы разжечь конфликт, дабы он, не дай Бог, ненароком не затух. Любопытно, что западная пресса, поднимая истерические вопли о на-

сили со стороны полиции и армии, полностью одобряет насилие черных вождей над из собственным народом.

Перечень бед Ю.А. можно завершить, отметив факт, что 80% земли в Ю.А. принадлежит не просто белым, а южноафриканской потомственной номенклатуре; это создает неодолимое препятствие для создания остальных автономных государств. Частная собственность на землю вообще создает препятствие для развития экономики страны. Дело в том, что земля не является продуктом человеческого труда. Поэтому ее цена есть налог, произвольно взимаемый собственником в свою пользу только потому, что в его роду кто-то захватил или присвоил себе эту землю. Как всякий налог, цена ухудшает возможности продуктивного использования и подавляет развитие предпринимательства. Кроме того, происходит спекуляция землей без ее использования. Земля должна быть национализирована и находиться в распоряжении общин (коммунити). Каждый должен иметь право на ограниченный кусок земли для личного пользования или на аренду тоже ограниченного куска земли для коммерческого использования. И то и другое должно быть пожизненным и наследственным до тех пор, пока земля используется. Неиспользуемая земля должна по суду отбираться.

Я потому так долго остановился на этом, что частная собственность на землю является одной из главных причин революций во многих странах и привлекательности коммунизма. В Ю.А. частная собственность на землю тоже чрезвычайно углубляет конфликт.

На мой взгляд, Ю.А. могла бы практически ликвидировать конфликт с помощью земельной реформы, децентрализации государственного управления, демонополизации и разукрупнения хозяйства, высвободив из пут централизации и монополизации огромный творческий потенциал населения.

Явные нелепости апартеида, конечно, тоже должны быть устранены. Однако, власть должна остаться у белых во избежание ликвидации белой культуры, необходимой и белым и черным для благоденствия страны, и избежания превращения Южной Африки в новый Мозамбик. Поэтому система "один человек — один голос" не должна быть допущена до тех пор, пока через несколько десятилетий черное население не станет достаточно

грамотным и умелым, чтобы быть в состоянии поддерживать и развивать дальше эффективную европейскую культуру.

*А. Федосеев*

Редакция "Н.Ж." приносит извинения *Анатолию Павловичу Федосееву* за не удовлетворившие его сокращения в статье, напечатанной в кн. 158.

# ПАМЯТИ УШЕДШИХ

## ВЕРНЫЙ ФЛАГУ

*ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА УЛЬЯНОВА  
(1905 — 1985)*

Всегда тяжело и грустно писать об уходе в другой мир знакомых, коллег, людей, близких пишущему по своему мировоззрению. Мне особенно грустно отмечать кончину тех, кто был почти одного поколения со мной. И не потому, что их смерть еще раз напоминает, что "мы все уйдем под вечны своды и чей-нибудь уж близок час". Нет, писать о них так страшно печально потому, что они — последние представители поколения, родившегося до революции 1917 года, они еще видели нашу подлинную дореволюционную родину, знали правду о ней как из личного опыта, так и по рассказам родных, старших друзей, своих учителей.

Николай Иванович Ульянов, скончавшийся 7 марта этого года, всего через два месяца после того, как ему исполнилось семьдесят лет (родился 5 января 1905 года н. ст.) как раз и принадлежал к этому поколению. Он родился и вырос в Петербурге, прожил там годы Первой мировой войны и революции, там же учился. В университете ему посчастливилось быть одним из последних учеников крупнейшего русского историка Сергея Федоровича Платонова. Аспирантуру все же пришлось кончить в Москве (не забудем — это были годы гонений на русское прошлое), но по ее окончании он вернулся в свой родной Петербург-Ленинград и после сравнительно краткого пребывания на профессорской кафедре в Архангельске стал профессором рус-

ской истории в Ленинградском университете, там же начав свою научную и писательскую карьеру. Сам Платонов на съезде историков в Берлине отметил выдающиеся достоинства труда Ульянова, посвященного русскому Северу.

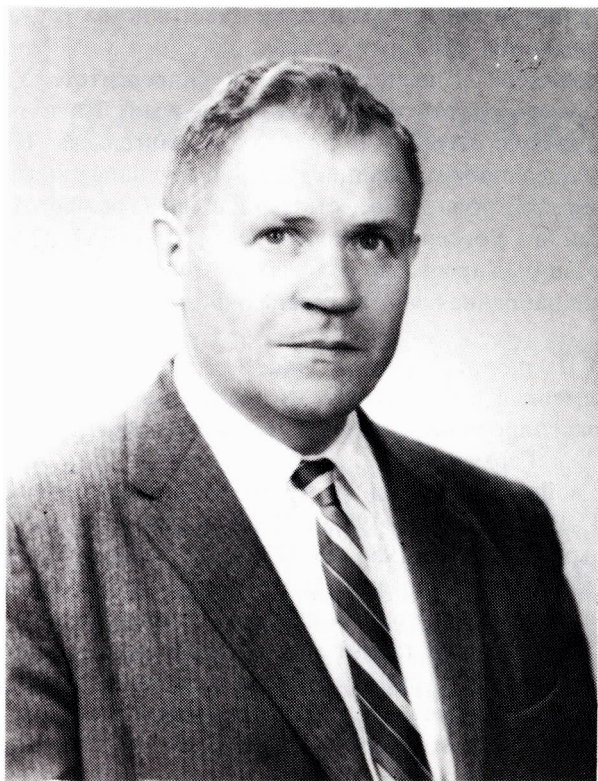
Одновременно с преподаванием в университете Ульянов стал сотрудником Института Истории Академии Наук, получив там кандидатскую степень. В архивах Архангельска Николай Иванович нашел любопытнейшие материалы о панфиннской (еще в царское время!) пропаганде, ставившей своей целью отторжение Карелии от России и присоединение ее к Финляндии.

Вскоре он был арестован и сослан на Соловки, а затем в Норильск. Уже набранная работа о панфиннских интригах так и не вышла.

1936-1941: лагерь; затем, с 1941 г., траншейные работы на фронте. Немецкий плен, бегство из плена. Нелегальное возвращение на оккупированную родную землю, депортация, как "острабайтера", в Германию.

Конец войны переменял жизнь. Новые странствования: Марокко (1947-1955), Канада (1953-1955) и, с 1955 года — США. В Соединенных Штатах с 1956 по 1973 год Ульянов профессорствовал в Йеле, одном из лучших американских университетов, преподавая русскую историю и русскую литературу. Здесь полностью развернулся его талант историка, эссеиста и романиста.

Выше я отметил работу Н.И. Ульянова о панфиннской интриге в Карелии. Уже сама ее тема представляется мне характерной для всей последующей научной работы этого ученика Платонова: защита единства, чести и исторической целесообразности русского государства. Во всех своих научных и публицистических работах Ульянов последовательно и неизменно проводит мысль, что Россия — государство не только восточных славян — русских, белоруссов, украинцев, но и тех племен, с которыми восточные славяне, русские, исторически и географически были связаны и вместе с которыми строили русское государство. Он напоминает, что уже автор "Повести Временных Лет" наряду с полянами и северянами, белыми хорватами (галичане, карпатороссы) и полочанами в то же время говорит и о чуди, мери, веси и других угро-финнских племенах севера и тюркских кочевниках Юга России. В статье "История и утопия" (сб. "Спуск фла-



*Н.Н. Ульянов*  
(1905 — 1985)

га”) Н.И. Ульянов повторяет и развивает свой главный и основной тезис единства русской земли, цитируя слова краковского епископа Матвея, сказанные еще в 1153 году: “Россия велика! [Это] как бы другой мир земной, а народ русский по несметному количеству подобен *созвездиям*”. “России чисто русской никогда не существовало”, — добавляет Н.И. Русское имперское единство, построенное жителями и правителями Великой, Малой и Белой Руси, органическая географическая, экономическая спаянность русского государства — эти идеи красной линией проходят через эссе, исторические работы, романы Ульянова.

Особенно ясно и ярко они показаны в главной исторической работе Н.И. “Происхождение украинского сепаратизма” (Н. - Й, 1966). В этом солиднейшем труде, основанном на глубоком знании источников, он разбирает роль провинциальных себялюбцев, ставивших собственные, личные интересы выше интересов своего народа.

Например, Мазепа, ставший гетманом, сумел составить “капитал” в 120.000 крепостных; не менее предприимчивыми были и другие сторонники казацких “свобод”. Собственно, начало сепаратизму положили примкнувшие к унии 1596 года паны и епископы о которых их современник и земляк Иван Вышенский писал: “Войдут свирепые волки в вашу среду, не щадящие стада”... Немало сделал для западной ориентации образованных слоев Малой Руси митрополит Петро Могила, по происхождению молдаванин, основавший Киевскую коллегию по образцу иезуитских и введя вместо греческого языка латинский, как язык богословия (преподавание велось на польском и латыни, без включения в программу церковнославянского). Из этой культурно полу-униатской, полуправославной среды и выходили Выговские, Мазепы и другие ранние сепаратисты. Но все они забыли о своем сепаратизме, как только Екатерина II, идя им навстречу, ввела на Украине крепостное право.

Сепаратистские настроения были снова пробуждены поляками после неудачного восстания 1830 года: не в состоянии забыть о Ягеллонской Империи от моря до моря, и от Праги и Вильны почти до Дона, они стали проповедовать отделение Малой Руси от Российской империи, чтобы насолить своим вековым недругам. А после того, как спасшие в 1848 году Габсбургскую монархию русские войска были восторженно встречены в Галиции и Карпатской Руси, заволновались австрийцы, ставшие пропагандировать “украинское королевство”, при-

соединенное к венгерской короне св. Стефана. Уже с 1850-х годов в Галиции началась серьезная работа по созданию кадров сепаратистского движения. В конце века к сепаратистам примкнул необычайно предприимчивый и талантливый в деле искажения истории Михаил Грушевский. Вернувшись в 1924 году из эмиграции в Киев, он, с помощью других австро-галицийских сепаратистов, стал проповедовать свои теории с благословения "партии Ленина-Сталина".

(Примечание: хочу здесь прибавить, что автор этих строк не какой-нибудь "кацап", а чистокровнейший уроженец Малой Руси, чьи предки были и в казацкой старшине верными подданными русского царя).

К теме расчленения России Ульянов постоянно возвращался в ряде своих статей, с большой эрудицией и умением отсеивая зерна правды от плевел хитроумных искажений истории.

Другой основной темой Николая Ивановича было величие и достоинство родины. Я думаю, для него не было вопроса, быть монархистом или республиканцем. Он хотел прочной, сильной власти, которая могла бы вести Россию по державному пути. Он скептически относился к Александру I, которого считал не столько главой империи, сколько себялюбцем, артистом, играющим императорскую роль ("Северный Тальма", 1964). Еще более суров он к последнему государю, Николаю II, который допустил, чтобы Россия ввязалась в войну 1914 года и позволил событиям дойти до катастрофы 1917 года.

В своем мастерски написанном романе "Сириус" Ульянов дает жестокий портрет государя, императорской фамилии (чего стоит вел. кн. Николай Михайлович, "дядя Бимбо!"), правящих кругов и генералитета (за исключением ген. Брусилова и отчасти — ген. Алексеева, которому "Господь Бог не дал чувства юмора"), и "праздно болтающей" либеральной оппозиции во главе с Милюковым, Родзянко и Гучковым. "Паралитики власти боролись с эпилептиками революции". Он находит полное отсутствие воли и понимания событий почти у всех близких к власти или стремящихся к ней русских людей 1914-1917 годов. Сильной волей, кажется, обладали только уже выше упомянутый Брусилов, и, как это ни странно, "старец" Распутин.

Портреты участников и свидетелей событий — государя, членов двора, особенно Воейкова (с его лечебной водой "Кувака"), Фредерика, Янушкевича, Распутина, Родзянко выписаны в

романе очень ярко, с большим умением и блеском, но, конечно, в тонах, подсказанных автору его скептическим и часто сатирическим умом. Иногда это почти фотографии, иногда они близки к карикатуре.

Странные сны государя, предсказания Распутина, введение в роман астронома-астролога Маврокордато, который читает события будущего по конstellляциям небесных светил и движениям звезды Сириус, наконец, сама личность императора, считавшего, что его жизнь и судьба predeterminedены тем, что он родился в день страдальца Иова Праведного, придают роману сильный оттенок фатализма.

Прекрасны у Ульянова описания жизни страны в 1914-1917 годах. Встреча французского президента, блеск двора, Петергоф, парады даны с большим художественным мастерством: "Над лесом на месте ушедшего солнца поднялась заря — одна из вещей петербургских зорь четырнадцатого года. Объехав фронт, императрица и президент остались в коляске а государь направился к шатру. Началась церемония. Вышли горнист и барабанщик. Публика затихла, услышав гулкую дробь и скрежещущие звуки меди. Взвивавшимся одна за другой ракетам на фоне зари ответили пушечные звуки выстрелов со стороны расположения артиллерийских частей. Соединенный оркестр всех полков заиграл "Коль Славен".

— Как страшно! — услышал поручик женский шепот и почувствовал, что в самом деле страшно.

Огненное крыло простерлось над полем, так что нельзя было разобрать — на земле или на небе стояла бесчисленная рать, заполнившая равнину.

— На молитву, шапки долой!

Штаб-горнист, ставши лицом к государю, громко начал в наступившей тишине:

— "Отче наш, иже еси на небесех".

Сцены парадов и дворцовых приемов быстро сменяются сценами лихорадочных заседаний и напряженных переговоров, последовавших за Сараевским убийством. Потом война, бездарные руководители Ставки, атмосфера интриг, сплетен и слухов, охватившая Петербург, бесчинства Распутина, наконец, февраль 1917 года.

Талант Ульянова как рассказчика достигает в "Сириусе" своего апогея. С Николаем Ивановичем можно соглашаться, можно расходиться с его оценкой событий и лиц, но нельзя не увидеть динамически и художественно поданного изображения событий. В романе много и фактического материала, взятого из документов и воспоминаний участников и наблюдателей русской истории в годы мировой войны; немало и вымысла самого автора, и оба эти элемента в сочетании с прекрасным и богатым языком дают замечательный образец прозы.

Мы можем лишь пожалеть о том, что Н.И. Ульянов — историк, большой мастер прозы и выдающийся русский человек, смог опубликовать написанное только во второй половине своей жизни.

*С.А. Зеньковский*

## Н. И. УЛЬЯНОВ

Надежда Николаевна, вдова Николая Ивановича Ульянова, любезно предоставила мне биографические данные ее мужа, а также фотокопии писем к ней от друзей, знакомых и сослуживцев покойного, выразивших свои соболезнования. Среди очень искренних, глубоко сердечных писем на меня произвело сильное впечатление письмо молодого американского профессора-слависта, написанное на великолепном русском языке, в сжатой форме дающее верный облик Н.И. Я позволю себе привести его здесь почти полностью.

"Со скорбью я прочел извещение о смерти Н.И. Он навсегда останется в моей памяти как образец честного ученого, даровитого писателя и хорошего учителя. Люди его и Вашего поколения прошли трудный, тернистый путь, о котором я, как американец, могу лишь догадываться. Но я рад, что он нашел приют среди нас, и что я имел счастье быть лично знаком с ним столько лет. Часть его останется у нас в памяти, часть в его книгах. Вся суть в том, как человек проживает свою жизнь. Н.И. прожил свою жизнь достойно и с пользой для ближнего. Большого нельзя требовать от человека."

Я познакомился с Н.И. в конце пятидесятих годов, когда поступил аспирантом в Йельский университет на факультет славянских языков и литератур. Мне посчастливилось прослушать два курса Н.И.: "История русской культуры" и "Театр и драматургия в России". Н.И. был преподавателем *Dei gratia*. Его курсы были настоящим наслаждением, своего рода отдыхом среди других обязательных предметов, порой сухих и скучноватых. Он был замечательным лектором. Ульянов всегда говорил по памяти, только изредка поглядывая на небольшого формата карточки, на которых были записаны цитаты и основные пункты полуторачасовых лекций. Его поразительно чистая русская речь лилась плавно и крепко врезалась в умы слушателей. Ему была отвратна вульгаризация современного русского языка на родине. В статье "Кладбище погубленных имен" он писал: "Это наше несчастье, что Ломоносовы и Карамзины не стоят нынче у кормила русского языка".

Я позволю себе маленькое отступление, очень личный эпизод, который добавляет трогательную черточку к характеру Н.И. Как-то так получилось, что мне не с кем было оставить дома своего пятилетнего сына. Я попросил разрешения у Н.И. привести на лекцию своего "джуниора", на что получил благосклонное согласие: "Ну что ж, если не будет скучно". Сын сидел тихо на задней скамье в аудитории. После лекции, которая сопровождалась показом диапозитивов, Н.И. спросил его, что он понял из сказанного. В ответ последовала почти точная цитата из лекции: "Русский человек умел выбирать красивые места для своих церквей. Купола всегда стремились кверху". Н.И. потом не раз вспоминал слова, как он говорил, "своего самого молодого слушателя". Мне кажется, что ответ ребенка только лишний раз подчеркнул суть русского ученого — умение передать вышнее, духовное так, что оно было доступно и понятно каждому.

Надежда Николаевна мне рассказывала: "Вы себе не представляете, как тщательно Н.И. готовился к каждой лекции". Много лет спустя Н.И. читал лекцию о русской церковной архитектуре в одном из средне-западных колледжей, где я в то время преподавал. Не владея английским языком, Н.И. читал по-русски и иллюстрировал лекцию диапозитивами. Публика на 90% состояла из американцев, не знающих русского. Основные мы-

сли докладчика переводил один из студентов. Все слушали с большим вниманием и после лекции раздались похвальные возгласы: "Какой изумительный лектор! Excellent!"

В короткой статье невозможно передать значение Н.И. как историка, литературоведа, писателя, блестящего эссеиста. Каждая написанная им книга достойна отдельного тщательного анализа. Здесь мне хотелось бы задержаться на книге "Сириус" (1977), которая проникла (как, впрочем, и другие книги Н.И.) в СССР, о чем свидетельствует письмо Николаю Ивановичу из Москвы, полученное им с оказией от среднего возраста москвича:

"Перечитываю "Сириус", книгу, которая полюбилась москвичам, и от души идут слова благодарности, признательности (и также еще от многих, остающихся в тени).

Последние дни императорской России, последние дни русской славы и вместе — боли и неизбывного отчаяния, последняя Россия. Мучительная, ответственная тема, но Вы нашли верное ее разрешение в той форме, которую избрали. Великолепны и высокохудожественны первые главы романа — торжественный прием президента Французской республики — последнее видение России в ее силе и славе и затем, сразу, предвоенная лихорадка, дни, в которые, казалось, что-то можно изменить в роковом ходе событий — все эти страницы читаются с неослабевающим интересом и вниманием, напряженным до предела. И невольно задаешься вопросом — какою силой влеклись Россия, Германия, Австро-Венгрия к гибели? И здесь очень уместно предположение или догадка — может быть, силой естественной и, вместе, находящейся вне зависимости от людской воли, парализующей эту волю? Под знаком зловещей планеты накренилась "корма родного корабля с певучим именем Россия"... Ваша книга — глоток в разреженной атмосфере, сколько в ней любви, тепла сердечного и живого перевоплощения."

В 1927 г. Н.И. Ульянов написал работу "Влияние иностранного капитала на колонизацию Русского Севера в XVI-XVII вв." В 1930 г. он окончил аспирантуру и был назначен преподавателем в Архангельский академический институт. После ареста в 1936 году отбывал срок в Соловках и Норильске. В связи с Со-

ловками вспоминаю трагикомический эпизод. В одной из лекций по церковной архитектуре в Йеле Н.И. упомянул, что он бывал в Соловецком монастыре, на что последовал вопрос американского слушателя: "В качестве туриста?". — "Ну, как бы вам сказать — очень своеобразного туриста".

Дальше следовал тяжелый путь русского человека. Война застала Н.И. в Ульяновске (Симбирске), где он вынужден был работать ломовым извозчиком, потом рытье окопов, плен, побег из плена, воссоединение с женой в глухой деревне в 150 км от Петербурга (так называемого "Ленинграда"). Осенью 1943 года был взят на работы в Германию и направлен в Durchgangslager в Дахау, а оттуда в Карлсфельд, где работал автогенным сварщиком на заводе В.М.В.; жена устроилась врачом при лагерном госпитале. По окончании войны работал на заводе металлических конструкций в Касабланке.

Не имея тогда возможности продолжать научную работу, Ульянов занялся публицистической и литературной деятельностью, сотрудничая в эмигрантских журналах ("Возрождение", "Российский Демократ", "Новый Журнал") и в газетах ("Русская мысль", "Новое Русское Слово"). В 1953 году был приглашен Американским комитетом по борьбе с большевизмом в качестве главного редактора русского отдела на радио "Освобождение". Но Н.И. был сугубо принципиальным человеком и не мог исполнять роль марионетки — делать то, что расходилось с его убеждениями. Он расстался с "Освобождением" и в мае 1953 года переселился в Канаду, где в 1955 году прочел курс лекций в Монреальском университете. В том же году переехал в США и с 1956 года начал преподавать в Йельском университете. Богатейшая университетская библиотека, домашний уют и постоянная забота верного друга-жены создали прекрасные условия для научной и литературной деятельности Н.И. и он, наконец, после долгих мытарств смог заняться своим любимым делом.

Последние годы Н.И. Ульянов болел. Умер дома, 7 марта 1985 г. на 81 году жизни. Похоронен на старинном кладбище Йельского ун-та. С выходом настоящего номера "Нового Журнала" на его могиле уже будут стоять мраморный обелиск с православным крестом и могильная плита. На ней будут указаны имя, отчество, фамилия, год рождения и смерти, и профес-

сия: историк. Н.И. не любил всяких титулов, званий. Много испытавший человек, он был очень скромен, застенчив, мягок. На правой стороне обелиска помещено четверостишие Георгия Иванова:

За пределами жизни и мира

Все равно не расстанусь с тобой.

И Россия, как белая лира,

Над засыпанной снегом судьбой.

*Сергей Крыжицкий*

## ПАМЯТИ Г. П. СТРУВЕ

Как-то в одной из рецензий Глеб Петрович Струве был назван литературоведом-архивистом. Следовательно, мол, собирателем всего, написанного тем или иным автором и всего, написанного о нем — безотносительно к качеству и ценности. Пусть и так. Но когда Изида собирала разорванные и разбросанные Тифоном на безмерном пространстве части тела Озириса — без самой ничтожной, казалось бы, клетки этого тела нельзя было воскресить погибшего бога. В творческую личность литератора входит все: и слабое, и сильное, и "существенное", и неинтересное.

Глеб Петрович Струве (1898-1985) был подлинным историком, владевшим и мертвой водой собирания — и живой водой оживотворения. "Я потому и люблю историю, — писал В.В. Розанову В.А. Кожевников, — что она есть сила воскрешающая".

Струве владел живой водой оживотворения: он был отнюдь не только ученейший академический литературовед, подсчитывающий частотности у Ахматовой, процентное отношение звука "а" и согласных у Гумилева. Он и сам был литератор. Он, как и все русские люди, мог порою забыть ученую серьезность при звуках не только Баха, но и надрывной цыганской скрипки. Помню его таким, когда, после нуднейшего вашингтонского собрания славистов, в ресторанчике с цыганско-

венгерским оркестриком скрипач подошел к нашему столу и, услышав российскую речь, заиграл "Очи черные". Да и сам Струве не раз играл на той же русско-цыганской гитарной струне:

Не сбудется. Пускай. Не надо.  
Уходит счастье впопыхах.  
Но сердцу дивная услада —  
Твоих ресниц единый взмах.  
Глаза в глаза. За этой бездной...

Вот эта-то бездна, раскрывающаяся не только в любви к женщине, к близкому другу, но и в любви к воскрешаемому, когда смотришь ему глаза в глаза — и, одновременно, — в глаза вечности, и была живой водой Струве.

Мне выпало счастье, выпала большая удача рука об руку работать с Глебом Петровичем три десятилетия. И вместе радоваться и мертвой воде собирательства, и живой воде воскрешения. Поэтому могу засвидетельствовать ту великую радость, какую испытывал Струве, когда из груды полуистлевших журнальных и газетных страниц, пожелтевших листов редких книг поднимался еще не вполне, может статься, очнувшийся от смертельного оцепенения, но уже раскрывающий на нас глаза поэт, прозаик, мыслитель. И по мере уничтожительно названного "архивного собирательства", его тень начинала обрастать плотью, оживать.

Отсюда и пристрастие Струве к биографическому методу в литературоведении: освещение жизни того или иного творца, создание его психологического образа, воссоздание окружающей среды. Недаром его так ненавидят официальные советские литературоведы, у которых поперек горла стоит воскрешение ряда упорно замалчиваемых ими имен, а еще более — воскрешение еще более ненавистных фактов. "Апостол антикоммунизма", "классик антисоветской советологии" — наиболее скромные эпитеты, навешиваемые на Глеба Струве.

В Струве жил не только скрупулезнейший исследователь, но и поэт. Под его пером оживали и глухой документ, и слепая в своей документальной дотошности справка. Академический ученый, строгий учитель-профессор мог написать:

Тонкогривый, легконогий,  
Весь стремительный полет,  
Жеребенок звездоокий  
К небесам тебя несет.  
Опьянен и очарован,  
Твой полет я стерегу  
И стою, к тебе прикован,  
На цветущем берегу.  
Вся стремление тугое —  
И глаза, как две звезды  
Пролетаешь над рекою  
Без следа и без узды.  
Легкая, внезапно спрыгнешь,  
И взметнутся волоса.  
Жеребенок шею выгнет  
И умчится в небеса.  
И останемся с тобою  
Мы под звездами вдвоем.  
Стынет небо голубое,  
Точно полный водоем.

Г.П. Струве не был узким знатоком-исследователем, замкнувшимся в своей специальности, не одной только литературой ограничивались его интересы. Помню, как он сетовал, что в своих странствованиях по Италии я не удосужился побывать в Ареццо:

— Ну как же, быть в Италии — и не посетить Ареццо! Там же самый лучший Пьеро делла Франческа!

Не замыкался он и в заколдованном кругу акмеизма, ставшего ныне чуть ли не единственной притягательной школой для литературоведов Запада. Не только Гумилев, Ахматова и Мандельштам, им впервые были опубликованы "Лебединый стан" и "Перекоп" Цветаевой (как и "Реквием" Ахматовой). Он редактировал Пастернака и Цветаеву, участвовал в редактировании Клюева и Заболоцкого, Максимилиана Волошина. Незаслуженно забытые ныне литературные друзья его юности — Георгий Маслов и Елена Тагер изданы на Западе именно им. ...Конечно, не забывал Глеб Петрович и сегодняшний день литературы; очень ценил он творчество Николая Моршена.

Первая книга о литературе русского зарубежья — “Русская литература в изгнании” (Нью Йорк, 1956 г.) принадлежит Г. П. Струве, — и в этом тоже его великая заслуга.

В литературе пушкинской поры Струве воскресил для нас “русского европейца” — кн. Козловского, дипломата и литератора, старшего современника Пушкина. Его история советской литературы, написанная с наивозможнейшим объективизмом, вышла на французском, английском, немецком языках (“Russian Literature under Lenin and Stalin, 1917-1953”, 1971).

И переводы — некоторые совместно с женой, Марией Семеновной Кригер-Струве — и с русского на английский (Чехов, Бунин), и с английского на русский (“Скотский хутор” Орвелла и др.). И переводы стихов труднейшего Райнера-Марии Рильке. Эти переводы, вошедшие в книгу стихов Глеба Струве “Утлое жилье”, высоко ценятся специалистами. Стихи Струве вышли вторым изданием — чудо в эмигрантских условиях.

В стихах Струве много движения — в том числе, и в прямом значении этого слова: стремительный полет жеребенка, бегущие на пригорок березы, да всего не перечислишь! И пейзаж — часто из окна вагона, самолета, наш беженский, скитальческий пейзаж:

И бегут за окном, чередуясь,  
Перелески, пруды и поля,  
От заката стрелу золотую  
Принимает покорно земля.

Глеб Петрович был верным православию христианином и, как всякий истинный интеллигент, идеалистом в философии. Его шокировало мое увлечение религиозным материализмом Н.Ф. Федорова и его технологическим подходом к вопросу о всеобщем воскрешении нами самими наших почивших предков, отцов и братьев. А ведь сам Струве принимал усердное и горячее участие в воскрешении, хотя бы в первичной его форме — в оживлении в памяти — ряда русских литераторов. Это ли не начало всеобщего воскрешения во плоти?

Почти вся жизнь Глеба Петровича прошла в эмиграции. И только первые два десятка лет — в высоких культурных кругах России и в Гражданской войне за подлинную Россию. Но Россия оставалась для Г.П. Струве не Альдонсой Ленина, а Дульсинеей

Пушкина и Достоевского, Блока и Мандельштама. Не мне давать о нем биобиблиографическую справку. Для меня Глеб Струве жив. Жив, как исследователь-поэт и поэт-исследователь:

И чистым восторгом дыша,  
Над миром покинутым рея,  
И ритмом полета пьянея,  
В себя упадает душа.

*Борис Филиппов*

### ПАМЯТИ ГЛЕБА СТРУВЕ

Посылаю письмо молодых москвичей, поздравлявших Глеба Петровича с днем его восьмидесятилетия. Прилагаю и его ответ.

В США была оценена английская книга Струве о советской литературе. Иначе в России. Один из моих американских учеников видел на столе директора б. Публичной библиотеки совсем затрепанную книгу Г.П. "Русская литература в изгнании". О ней пишут и москвичи. Хвалят, благодарят.

В прилагаемом письме москвичей отвергается казенная (советская) словесность. они отмежевываются и от "новоаполлонного маразма" третьей волны эмиграции. Уверен, что некоторые из них не заглядывали ни в книгу Струве о зарубежной литературе, ни в "Незамеченное поколение" В.С. Варшавского, а также в воспоминания Р.Б. Гуля "Я унес Россию". В России уже лет 15 тому назад возник культ старой русской эмиграции и зарубежной русской литературы.

Г.П. снисходительно отнесся к моей — ему посвященной — септимере (семистишию):

Америку открыли: Зарубежье —  
Для благодарных юношей Москвы.  
Они уже на Ваше побережье  
Приветы слали: — Здрaвы будьте Вы!  
Выпалываю плевелы педантства

И обмываю лавры постоянства.  
Литературы русской Струве: страж.

*Юрий Иваск*

Глубокоуважаемый Глеб Петрович!

Позвольте принести Вам сердечные поздравления ко дню Вашего восьмидесятилетия от московских литераторов — поэтов, прозаиков, переводчиков, литературоведов — для которых вот уже многие десятилетия Ваше имя является подлинным символом свободного русского слова, которым книги Ваши и многочисленные доходящие сюда статьи служат "светом в окошке" среди непроглядной мглы казенной словесности и ново-аполлонного маразма. На родной земле Вас знают, ценят и любят, Ваши книги (прежде всего — "Русская литература в изгнании") существуют в сотнях фотографических, машинописных и ксерографических копий. Мы желаем Вам многих лет жизни и здоровья, творческой активности и дальнейшей работы на благо нашей литературы.

Хотя направляют Вам это письмо только двое (мы более известны под псевдонимами "Москвич" и "Ариэль", чем под настоящими фамилиями), но поверьте, что под ним поставили бы свою подпись десятки наших друзей и знакомых, и не сделано это лишь в целях охраны информации — Вы сами знаете, где мы живем. Может быть, Вы не знаете, но можете себе представить — до какой степени затруднено и непоощряемо здесь изучение русской зарубежной литературы, которому в значительной мере мы посвятили нашу жизнь, — даже не столько изучению, сколько пропаганде ее. И в Вашем лице мы видим живое подтверждение того, как много может дать русское Зарубежье — России. Еще раз поздравляем Вас!

Верные Ваши читатели и почитатели

(Следуют подписи)

*27 марта 1978 года*

*Москва*

*16 апреля 1978 г.*

Дорогие друзья и читатели!

Шлю вам большое и самое сердечное спасибо за Ваше поздравление к моему восьмидесятилетию. Ваше письмо было для меня ценней-

шим подарком, чуть-чуть правда, преждевременным: как вы можете видеть по "Краткой Литературной Энциклопедии", я родился 1-го мая по новому стилю, но я теперь справляю свой день рождения 2-го мая. Но это неважно. В этот день буду думать о вас и мысленно еще раз благодарить вас. О некоторых из вас я знаю, но не обо всех.

Я знал, что моя книга о русской литературе в изгнании известна в России, но приятной для меня новостью было, что она, как вы говорите, распространяется там в сотнях копий. Я надеюсь, что Бог даст мне еще жизни, и я успею подготовить новое издание ее, исправленное и дополненное. Многие меня об этом просят.

Благодарю вас за все ваши добрые пожелания и шлю вам свои ответные.

Ваш, искренне вам признательный

*Глеб Струве*

*Беркли, Калифорния*

### ПАМЯТИ К.Е. АРЕНСКОГО (АРЕНСБУРГЕРА)

1 апреля 1985 г. скончался Константин Евгеньевич Аренский (Аренсбургер) — талантливый и мыслящий журналист и писатель, общественный деятель. Его выступления в русской печати были исполнены страстью полемиста, борца за истину.

Мне не раз говорили, что Константин Евгеньевич глубоко любит и знает русскую музыку. На этой почве и произошло наше знакомство, возникла наша переписка. Константин Евгеньевич оказывал мне существенную помощь в собирании материалов, давал ценные советы. Лично мы встретились лишь один раз, когда он вместе со своей супругой Мариной Эдуардовной был в Гамбурге.

Константин Евгеньевич Аренсбургер (литературный псевдоним — Аренский) родился 15 июня 1905 г. в Ямбурге (ныне Кингисепп) Петербургской губернии. В родном городе он поступил в Коммерческое училище. Время было опасное, бушевала граж-

данская война. Вместе с родителями уехал в Эстонию, поселился в Нарве и здесь окончил городскую гимназию. Потом поступил в Тартуский Университет (бывший Юрьевский) на химическое отделение физико-математического факультета. Окончил Университет в 1934 г. Оказавшись без материальной поддержки (отец умер, когда К.Е. было около 17 лет), был вынужден самостоятельно себя содержать, работал на торфяных разработках.

После окончания Университета К.Е. работал фармакологом в госпиталях и исследовательских учреждениях, затем в Интернациональных медицинских центрах Германии и Швейцарии. В 1950 г. эмигрировал в США. Сначала работал в госпитале в должности медицинского "технолога", а после сдачи специального экзамена получил звание "биоаналитика", что дало ему право на руководство медицинскими лабораториями. Его научные исследования были опубликованы в крупнейших американских медицинских журналах.

К.Е. страстно любил театр. Эта любовь возникла в раннем детстве, а потом он вышел на сцену, в Русском драматическом театре в Ревеле. Его приняли полноправным членом эстонского государственного союза профессиональных артистов театра. А когда он поселился в Калифорнии, то включился в активную театральную деятельность в Русском центре в Сан Франциско, успешно осуществляя постановки драматических спектаклей. Большую известность в театральном мире получили его книги "В Голливуде с В.И. Немировичем-Данченко" и "Письма в Голливуд". Здесь К.Е. проявил себя не только как любознательный собеседник, но и как чуткий наблюдатель русской театральной жизни, собравший обильный "свидетельский" материал, ценный для русского театроведения.

В нашей памяти останутся и многочисленные статьи К.Е., публиковавшиеся в "Новом Русском Слове", в русскоязычной эмигрантской прессе. В них - живые воспоминания о пережитом, о событиях театральной и музыкальной жизни. У К.Е. был широкий кругозор, он чутко реагировал на виденное, у него был зоркий глаз. Не всем было известно, кто скрывался под скромной подписью "К. Аренский" или "Кай". Но подписанные этими псевдонимами статьи всегда привлекали внимание читателей.

Домашний адрес К.Е. Аренсбургера в Калифорнии был

хорошо известен в разных странах. К нему, в небольшой калифорнийский городок Монтерей приходили письма от театроведов и музыковедов. Он мог дать точную справку об известных русских драматических артистах и композиторах. Несмотря на уплотненный рабочий день, на служебную занятость, К.Е. всегда находил время для обстоятельного ответа. Я сам не раз обращался к К.Е. за справками. Ему были известны обстоятельства последних дней жизни П.И. Чайковского и М.П. Мусоргского (он был в родстве с семьей Бертенсон — доктор Бертенсон лечил обоих композиторов).

Тяжелый недуг приковал К.Е. к постели. В одном из последних писем К.Е. мне написал: "Кажется, мой хирург вытащил меня с того света, чувствую себя значительно лучше, но слабость еще не прошла... После моих статей о смерти Чайковского у меня завязалась переписка с К.Ю. Давыдовой (внучатая племянница П.И. Чайковского, ныне живущая в Клину — М.Г.). Она каким-то образом читала их. По ее просьбе я посылал ей ряд ксерокопий из разных газет..." Почерк у К.Е. был четкий и ровный, казалось, наступает выздоровление...

К.Е. ушел в иной мир, но будут жить его книги, его статьи, его добрые и полезные дела. Будет жить образ чуткого и обаятельного человека.

*М. Гольдштейн*

## СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

*В дополнение к "Дневнику" Марии Башкирцевой (158 кн. "Н.Ж.")*

Отец Марии Константиновны Башкирцевой, предводитель дворянства Харьковской губернии, сухой и тщеславный человек (как она писала в своем дневнике), был с детства подавляем своим отцом-генералом. После смерти отца, К. Башкирцев, сделавшись свободным и богатым, принялся прожигать жизнь и едва не разорился. Его спасла выгодная женитьба на богатой невесте, дочери прославленного участника Отечественной войны 12-го года, генерала Бабанова. От этого брака родилось двое детей — Мария и Павел. Павел, младше Муси, был заурядным мальчиком. Муся писала о брате, что он годится лишь на то, чтобы стать помещиком. Так оно и было.

Брак Башкирцевых не был счастливым. У отца была "дама" на стороне — он даже познакомил (или показал?) ее дочери, когда та ненадолго приезжала в Россию.

Когда родители художницы решили расстаться, г-жа Башкирцева с дочерью, отцом, сестрой и племянницей уехали за границу и поселились в Ницце. К. Башкирцев с сыном Павлом остались в России.

М. Башкирцева пишет в Дневнике: "Мама всегда упоминает Бога: "Если Бог позволит...", "Вот, Бог даст..." Но это не настоящая вера, а просто пассивность неразумного и беспечного существа, надеющегося на Бога, чтобы "все уладить", чтобы избежать угрызений совести и оправдать свое бездействие. ... Тетя обеспокоена только моим здоровьем и следит, чтобы я не простудилась и побольше ела. Мне интересно только с дедушкой, но он очень стар и болен."

"Телеграмма из России — умер отец. В такие минуты чувствуешь себя виноватой перед умершим, хотя я и не была близка с отцом. А при одной мысли о смерти мамы, я заливаюсь слезами, хотя сознаю, что часто бываю с нею груба и жестока. А ведь, при всех ее недостатках, она хороший человек. Правда, она мало развита и совсем не верит в ме-

ня. Она всегда убеждена в том, что все само собой образуется.

Самым большим горем для меня была бы смерть тети, которая всю жизнь жертвовала собою для других. А я, бывает, целый месяц не приласкаю ее и говорю только о каких-то пустяках. Но это не по злобе, а потому что я сама чувствую себя несчастной, и постоянные препирательства с нею и с мамой приучили меня к резкому и сухому тону. Будь я приветливее — для них обеих это было бы настоящим счастьем, а мне так мало стоило бы... Да, если бы умерла тетя, я бы сошла с ума от угрызений совести!

После смерти Муси друг дома, жена маршала Канробера, сказала писателю Альберику Каюз, будущему автору книги о Марии Башкирцевой "Moussia": "Она чувствовала себя в семье одинокой, несмотря на обожавших ее мать, тетю, кузину. Несмотря на веру в Бога".

Перед смертью М. Башкирцева просила: "Когда я умру, устройте в мою честь спиритический сеанс, вызовите меня и поговорите со мною — ведь я так любила жизнь! Не смейтесь над этим нелепым желанием! Умоляю и заклинаю выполнить его!"

В ее склеп-часовню перенесли большую незаконченную картину "Две Марии" и другие незаконченные произведения. После нее осталось 150 законченных картин, скульптур, рисунков. Полотна Башкирцевой находятся в Третьяковской галлерее в Москве, в Русском музее в Ленинграде, в Люксембургском музее в Париже и в отделе М. Башкирцевой музея Ниццы. Кстати, там находится и ее автопортрет, сделанный в год смерти. На щеке — след пули, но кто и когда стрелял — не установлено.

Г-жа Башкирцева, растратившая еще при жизни дочери свое огромное, унаследованное от отца состояние, жила только на доходы от имения под Харьковом, то есть на те деньги, которые высылал ей муж, а затем сын Павел. Муж умер от туберкулеза и от той же болезни скончался в возрасте 48 лет сын.

После революции имение было реквизировано и г-жа Башкирцева осталась без средств к существованию. Она умерла в Ницце в принадлежавшей ей маленькой вилле, с которой ни за что не хотела расстаться. Хотя г-жа Башкирцева приготовила для себя место у склепа дочери на кладбище в Пасси, похоронить ее там не смогли из-за недостатка средств. Она была похоронена в могиле для неимущих на кладбище в Ницце. Любимая тетя художницы (ее имя нигде не называется) к старо-

сти пристрастилась к азартным играм, разорилась и умерла в бедности. Кузина Дина вышла замуж за одного из графов Тулуз-Лотрек.

Вот еще небольшие выдержки из дневника Марии Башкирцевой, характеризующие личность художницы.

"Конт утверждает, что вещи существуют только в нашем воображении, то есть, что предметы не имеют объективной сути, и реальны лишь в нашем воображении. Но ведь, чтобы утверждать, что ничего не существует, надо сначала занять понятие о реальном существовании чего-либо — хотя бы для того, чтобы отличить объективную от субъективной сущности предмета. Чувствую, что мои рассуждения наивны, но не могу разобраться, в чем они неверны — на это у меня нехватает ни знаний, ни сил, ни времени. Так хотелось бы потолковать с каким-нибудь образованным человеком... А то те мои качества, которые могли бы считаться достоинствами, оказываются либо неуместными, либо ничемными".

"Франция — прелестная страна и очень занятая: восстания, революции, умнейшие люди, изысканные моды — все, что может придать жизни интерес и прелесть. Но здесь нет гражданских добродетелей, солидного правительства и даже подлинного искусства. Хотя французские художники очень сильны, однако, только Бастьен-Лепаж и Жерико обладают искрой Божьей... Но не потому ли я критикую Францию, что до сих пор не сумела выйти замуж? Да, это действительно скверная страна для девушек. Нигде не вкладывают в брак столько цинизма! Торговля и промышленность сами по себе — вполне почтенные занятия, но во Франции они являются основой браков, и это отвратительно".

"Заурядные, хотя бы очень умные и образованные люди обходятся без веры в Бога. Но те, в которых горит искра священного огня — будь они ученые-переученые! — всегда верят в Него. Хотя бы по временам... Если бы Бога не было — откуда бы возникла у всех народов и во все эпохи потребность в нем?"

"Я никогда не знала настоящей любви, были лишь преходящие увлечения и тщеславие". О скульпторе Сен-Марсо Муся пишет, что перед его приходом она надевала то одно, то другое платье, "у меня началось сердцебиение, я то краснела, то бледнела". Был некий Казимир: "Я вспоминаю, что в его присутствии на меня находило какое-то помраче-

ние. Мне казалось, что у меня вырастают крылья, и все мое существо стремилось к нему. А потом меня охватывал мне самой непонятный страх. Жюлиан сказал мне — тогда я писала портрет К. — “Когда вы почувствуете, что вы выше этого человека, он не будет иметь над вами власти”.

”Некоторые воспоминания о людях, вещах и событиях хотелось бы выделить и запереть в драгоценную шкатулку с золотым ключиком.”

Морис Баррес писал: “Дневник Марии Башкирцевой принадлежит всему человечеству, хотя почему-то именно ее соотечественники меньше других интересуются им... И даже в наше время жива ее мятущаяся и неудовлетворенная душа. Когда читаешь ее дневник, кажется, что он написан совсем недавно. Как сказали бы в старину: “Мария Башкирцева обладала умом Минервы, чистотой Дианы и грацией Психеи”.

*В. Гинзбург*

## БИБЛИОГРАФИЯ

А.Ф. Лосев. "Вл. Соловьев". М. "Мысль", 1983 г.

"Вл. Соловьев — это идеалист с начала и до конца; Вл. Соловьев — это фидеист, и тоже с начала и до конца; Вл. Соловьев всегда мыслил вне марксизма, а если когда и заходила о нем речь, то понимал он его абстрактно-экономически. Если мы не договоримся об этой философской основе Вл. Соловьева, то читатель должен начать с того, чтобы закрыть эту книгу и не тратить времени на ее усвоение". Так начинает А.Ф. Лосев свой труд о Вл. Соловьеве. Если учесть, что со времени революции в СССР о Вл. Соловьеве почти ничего не было издано (на приведенные у Лосева 47 библиографических ссылок приходится лишь пять "советских" позиций, причем две из них относятся к "стихотворениям и шуточным пьесам" и "письмам", в двух о Вл. Соловьеве говорится в рамках истории философии, и только одна книга, изданная в 1921 году, пера С.М. Соловьева, племянника, посвящена биографии философа), появление *добросовестной и доброжелательной* монографии, да еще написанной А.Ф. Лосевым, можно от души приветствовать.

О выходе в свет этой книги я узнал от моего корреспондента, слависта университета в Глазго, в 1984 году. Я сразу начал розыски с целью приобрести книгу, но — безрезультатно. Ее не было в продаже в книжных магазинах. Оказалось, что ее нельзя получить и в порядке "межбиблиотечного обмена". Лишь в этом году мне прислали фотокопию книги из Германии. От слависта, получившего книгу от самого автора, я узнал, что ее почти невозможно купить и в СССР. Изданная в небольшом количестве экземпляров, она была разослана в провинциальные книжные магазины и сразу попала на черный рынок.

Книга состоит из введения, отдельных глав (личность, историко-философская ориентация, теоретическая философия, общее мировоззрение), заключения, указателя имен и библиографии. Всего — 205 страниц небольшого формата.

А.Ф. Лосев часто ссылается на (и цитирует) предыдущих исследователей и биографов Вл. Соловьева — кн. Е.Н. Трубецкого, Л.М. Лопатина, С.М. Лукьянова, Э.Л. Радлова, С.М. Соловьева и др. Особо выделим цитаты из сочинений В.В. Розанова.

Отметим, кстати, что при жизни Вл. Соловьева Розанов с ним яростно полемизировал. Розанов ругал в прессе Соловьева вплоть до неприличия: "кордебалетный танцор"; "пианист, играющий на испорченном рояле"; "проститутка, цинически играющая с богословием"; "вор, закравшийся в церковь"; "кошунник"; "слепорожденный" (цитирую по "Истории русской философии" Н.О. Лосского, Лондон, 1952, стр. 125).

Другие полемисты называли Соловьева "католиком", "протестантским рационалистом", "мистиком", "нигилистом", "старовером" и даже "жидом" ("Новая защита старого славянофильства", V. 242). Чем выше человек, тем больше у него завистников и врагов. Об этом пишет Лосский в вышеупомянутой книге: "Ослепленные ненавистью, они распространяли клевету и обвинения, часто самопротиворечивые".

Однако, несмотря на всю полемику, *личные* отношения между Розановым и Соловьевым были корректными. Так как тексты, цитируемые Лосевым, практически недоступны зарубежному читателю, приведем их "ин экстензо".

В статье 1904 г. "Об одной особенной заслуге Вл.С. Соловьева" Розанов писал (развивая мнение Л.М. Лопатина): "Все они, русские философы до Соловьева, были как бы отделами энциклопедического словаря по предмету философии, без всякого интереса и без всякого решительного взгляда на что бы то ни было. Соловьев, можно сказать, разбил эту собирательную и бездушную энциклопедию и заменил ее правильной и единоличной книгою, местами даже книгою страстной. По этому одному он стал "философом". (Розанов В.В. Около церковных стен, т. 1-2, СПб., 1906, стр. 2,369).

В 1901 г., 30 июля, друзья и почитатели Соловьева служили по нем панихиду в Сергиевском соборе на Литейном, в Петербурге. Присутствовавший на ней Розанов затем написал статью, которую Лосев характеризует как лучшее, что было написано о Вл. Соловьеве. "Вот уж был странник, — писал Розанов, — в умственном, идейном и даже чисто бытовом, так сказать, жилищном отношении! Сын профессора, с большими правами на кафедру, он не получил "по независящим обстоятельствам" этой кафедры; внук священника, посвятивший памяти деда "Оправдание добра", он был крайне стеснен в своих желаниях печатать-

ся в академических духовных журналах; журналист, он нес религиозные и церковные идеи, едва ли встречая для них распахнутые двери в редакциях" (там же, 239-240). "Какой странный у него был этот смех, шумный и может быть маскирующий постоянную грусть. Если кому не было причин "весело жить на Руси", то это Соловьеву" (там же, стр. 240).

"Дедовская священническая кровь, продолжал Розанов, — учено-университетские заботы отца и, наконец, весь духовный пласт наших шестидесятых годов с их хлопотливыми затеями, шумными отрицаниями и коренным русским "простецким" характером отразились в Соловьеве. Он был какой-то священник без посвящения, точно несший обязанности, именно литургические обязанности, на себе. Это заметно было в его психологии. Точно он с вами говорит-говорит, а вот придет домой, наденет епитрахиль и начнет готовиться к настоящему, должностному, к завтрашней "службе". Ссылки на Священное Писание, на мнения отцов церкви, на слова какого-нибудь схимника-старца постоянно мелькали в его разговоре" (там же, стр. 240).

"Он (Соловьев) начал писать в семидесятых годах. И с людьми 80-90-х годов он уже значительно расходился. Это второе, послереформационное поколение было значительно созерцательнее его. У Соловьева было явное желание завязать с ним связь, но она не завязывалась, несмотря на готовность и с другой стороны. В этом втором поколении было заметно менее желания действовать, а Соловьев не умел жить и не действовать. Как-то он мне сказал о себе, что он — "не психолог". Он сказал это другими словами, но заметно было, что он жалел у себя о недостатке этой черты. Действительно, в нем была некоторая слепота и опрометчивость конницы сравнительно с медленной и осматривающейся пехотой или артиллерией. Во всем он был застрельщиком. Многое начал, но почти во всем не успел, или не кончил, или даже вернулся назад. Но если были неудачны его "концы", то были высоко даровиты и нужны для отечества и славны для его имени выезды, "начатки", первые шаги" (там же, стр. 241-242).

А.Ф. Лосев считает, что редко кто говорил о Соловьеве так метко и так проникновенно, как Розанов. "Постоянная бездомность и неустроенность жизни и деятельности Вл. Соловьева, — комментирует Лосев, — его русская душа, всегда грезящая о всемирно-историческом духовном и материальном освобождении; невозможность и недоступность такого рода идеалов, постоянно заставлявшие переходить от профес-

суры к литературству и публицистике, а в журналистике от талантливых литературно-критических анализов к прямому космическому утопизму; его постоянная жажда общественно-политической свободы, заставившая его перейти к трагическому одиночеству как среди либеральной, так и среди консервативной русской общественности, — все это подмечено и сформулировано Розановым настолько же ясно и просто, насколько и гениально” (стр. 47).

В заключение А.В. Лосев пишет: “Личность Вл. Соловьева — большая, глубокая, широкая, даже величественная, хотя в то же самое время до чрезвычайности сложная и запутанная. Но во всей этой сложности, которую еще предстоит изучать и картина которой еще будет предметом десятков разного рода анализов, была одна простейшая, невиннейшая и наивнейшая особенность. Это — неугомонное стремление бороться с нелепостями и язвами окружающей жизни. Этого момента никто не вправе забывать.

Однако из этого вечного недовольства окружающим и из этого постоянного страстного стремления преодолевать несовершенства окружающей жизни сама собой вытекает еще одна идея, которую можно с полным правом считать для Вл. Соловьева окончательной, итоговой и заключительной. Это то, что можно назвать “философией конца”. В течение всей своей жизни Вл. Соловьев только и знал, что наблюдал конец” (стр. 197).

Приведя примеры из жизни и творчества Вл. Соловьева в обоснование этого тезиса, Лосев продолжает: “...мы хотели бы только предупредить читателя о недопустимости некоторых крайних выводов из этого определения. Ведь эту философию конца очень легко понять как проповедь какого-то квиетизма, нигилизма. Но такого рода выводы диаметрально противоположны тому, чего хотел умиравший Вл. Соловьев. С его точки зрения, если конец дела означал его неудачу, то этот же конец означал и необходимость еще чего-то нового. Конец одного Вл. Соловьев всегда мыслил как начало другого, хотя это другое и не представлялось ему в ясном виде”.

Далее Лосев цитирует кн. Е.Н. Трубецкого: “Но с точки зрения человеческой нам не дано знать, что означает этот *один день* у Бога — одни сутки или тысячи лет. И с этой точки зрения становится ясным, что практический вывод из “философии конца” не есть покой, а творческая деятельность. Пока мир **на** совершился, человек должен всем своим существом *содействовать* его совершению. Чтобы осуществилась в нас

целостная жизнь, мы должны *предвосхищать* ее в мысли, *вдохновлять* ся ею в подъеме творческого воображения и чувства и, наконец, *готовить* для нее себя самих и окружающий мир подвигом нашей воли” (стр. 200).

“Исследователь не имеет права, — добавляет Лосев, — отвергать великих людей прошлого за их несовременные для нас убеждения и настроения или за одну их общественно-политическую деятельность. Если отвергать Вл. Соловьева за то, что он был верующий христианин, то тогда придется отвергать и Ньютона за то, что он снимал шляпу, прознося имя Божье, и Дарвина за то, что он был церковный староста, и Менделеева за то, что он был тайный советник, и рефлексологию Павлова за то, что Павлов ходил в церковь”.

Фразой — “...Россия в течение всей его жизни оставалась его единственной и страстной любовью” — А.Ф. Лосев заканчивает свою книгу о Вл. Соловьеве.

Появление монографии о столь несозвучном коммунистической идеологии мыслителе, каким был Вл. Соловьев, — явление в самом деле исключительное. Как пошла на это советская цензура? А.Ф. Лосеву пришлось дать ей несколько скромных подачек или взятки, вроде следующей: первая библиографическая ссылка в книге — это цитата из Маркса и Энгельса: “Теоретическое мышление является прирожденным свойством только в виде способности. Эта способность должна быть развита, усовершенствована, а для этого не существует до сих пор никакого иного средства, кроме изучения всей предшествующей философии”. И сразу же А.Ф. Лосев добавляет от себя: “Наша настоящая работа проникнута энтузиазмом критического освоения философского наследия прошлого”.

*Игумен Геннадий Эйкалович*

*Сергей Клычков. “Князь мира”. Переиздание. Имка-Пресс. 423 стр. Париж. 1985.*

Жизнь захолустной деревни второй половины прошлого века — это та канва, по которой автор вышивает фантастический узор того, как злое начало действует в мире. Получается интереснейший фольклорный гобелен в русском стиле, напоминающий в какой-то мере мотивы гоголевского творчества, Салтыкова-Щедрина или М. Булгакова (“Мастер и

Маргарита”). Но ни один из вышеупомянутых писателей не является столь “почвенным”, как Клычков.

В недавно переизданной книге Клычкова “Сахарный немец” мы погружаемся в своеобразную стихию русской крестьянской жизни, которая столь характерна для его творчества. Хороша у Клычкова рифмованная проза в духе народного сказа:

“...Не сказалось Силантию защитника,  
 Не подал никто ему ситника;  
 Подумал, подумал Силантий и пошел в скитники!  
 Приютила Силантия пустыня нехоженная,  
 Сыпучими песками положеная,  
 Ни кустика среди ней, ни хворостинки,  
 Ни тропинки,  
 Ни животинки,  
 Ни птички какой певчия!  
 — Тако, — думает Силантий, — и душа человечия!  
 Вырыл себе Силантий пещеру пологую,  
 Разложил в ней одежду убогую,  
 Подвалил камень под голову, помолился, глядя в небушко:  
 — Положи, Господи, камушком, сподыми воробушком!”  
 (стр. 19, 20).

А вот другой пример, уже не рифмованной, прозы: “ Господь наш создал прекрасную землю по слову... По единому слову и мысли создал Он все до последней травинки, в том числе по слову и мысли появился на земле и Адам — первый мужик!

— Хорошо? — спросил Бог черта.

— Неплохо, — ответил черт, — только что же это ты к такому большому хозяйству хозяйки никакой не приставил?

— Верно, — спохватился Создатель; подошел он к спящему Адаму и вынул у него ребро из левого бока: сорвал два яблочка с райского дерева, приставил — получились две груди; две снежные лилии сбоку привесил — стало две белых руки; оторвал у молодой кобылки задние точеные ножки и тоже куда надо приставил; обломил у бабочки бархатные легкие крылышки, и встрепетало женское сердце; полил все молоком, и адамова грубая кость покрылась нежною женскою плотью! [...]

— Хорошо! — сам Творец удивился такому творенью.

— Хорошо-то оно хорошо, — ответил Ему черт, который стоял тут

в сторонке и с великой завистью подсматривал, не будет ли какой-нибудь маловажной ошибки, — нечего говорить: бабочка вышла у Тебя на славу, только и бабе без головы жить будет плохо!

— Верно, — опять согласился Бог.

— Придывай поскорее, а то Адаму уже время проснуться! — поторопил Создателя черт.

Тут-то вот в первый раз и задумался Творец, что бы это такое ему приставить Еве на плечи?...

Арбуз? — будет не очень красиво!

— Горшок? еще того хуже!

— Приставь, — говорит черт, — ей колесо!

— Нет, — решил мудро Создатель, — колесо не годится: объезжать будет мужа!.. Приставим-ка лучше ей решет, потому что голова настоящая есть у Адама, а у Евы она будет вроде балушки!

Взял волосяное редкое сито, в которое ангелы просеивали жемчужные зерна, сплетая Создателю земной славы и мудрости на каждый день новый венец, и положил его с небольшой кривинкой Еве на плече; сразу в сите расправился волос и упал до самых пят ее роскошной косой. Поднял Творец цветок, сорванный бесом ради забавы с райского луга, и раскрылись янтарные губы, достал он с березки сережки оказались две бровки, а под бровки вставил два холодные камушка, которые на счастье в сите остались, повесил вместо ушей два золотых замочка, провел грифельком, и вздернулся носик — улыбнулся Создатель на такое творенье, и все лицо у Евы сразу засияло улыбкой.

Ну, теперь хорошо! — сказал Бог смутительно мира.

Отлично даже! — ответил черт. — Теперь все Ты кончил?

Вроде как, — отвечает Бог, — теперь все на месте!

Не-ет, — обрадовался черт, — есть ошибка: важная птичка у тебя на свой голос поет — так?

Так!

— Важная травка по-своему шумит — так?

— Так!

— А почему же Еву оставил Ты молчаливой?... Чем же она Адама донимать будет?

Спохватился тут еще раз Создатель, но было уже поздно: шестой день творенья был на исходе!

— Теперь, — сказал радостно черт, — что Ты заделал, то уж доделаю я!

И когда наступила темная ночь и ангелы спрятали под крылышки звездные очи, черт вынул из-за пазухи небольшую красивую змейку и вложил ее в раскрытый рот дремлющей Евы..." (стр. 192-195).

Как жаль, что и этого художника слова удавил в свое время "соцреализм"!

Клычков собирался написать продолжение романа ("Серый барин") и, возможно, написал его, но опубликовать ему удалось только одну главу под тем же названием ("Красная новь", N.7, 1925 г.)

*Е. Валин*

**ЕЩЕ ОДИН ДОЖДЬ.** *"Дождь идет над Сеной". Избранные стихотворения Бориса Заковича. "Альбатрос". 1984. Послесловие Р.Ю. Герра.*

"Это не Закович говорит! Это Тертуллиан!" — восклицает в воспоминаниях Ирины Одоевцевой Мережковский на одном из заседаний "Зеленой лампы". С чего это вдруг в тихом Заковиче маститому классику померещился древний историк, думаю, установить уже не удастся. Однако, в данном случае с нами говорит не Тертуллиан, а Борис Закович, один из последних оставшихся в живых поэтов Парижской ноты, пишущий по сей день, хотя и давно, незаслуженно забытый. И снова-дождь идет над Сеной, в сердце тоска по невозможному и невозвратимому, оживают прекрасные тени русского Монпарнаса, и никогда не снимающий своих черных очков Борис Поплавский выглядывает из-за спины Заковича и говорит нам: "Знакомьтесь, это мой друг. Это ему посвящен мой сборник "Снежный час". Не помните? Жаль... Тогда познакомьтесь, прочтите."

Дождь идет над Сеной  
 значит в жизни брэнной  
 главное — следы  
 дождевой воды

Можно до хрипоты спорить, главное это в жизни или не главное. Об этом уже очень давно отспорено, и участники споров превратились в томики на книжных полках русского Зарубежья (а кое-кто, вполне неожиданно, даже на советских — Ирина Кнорринг, к примеру).

Книга эта у Заковича — первая и единственная, если только он на пороге своего восьмидесятилетия не испытает нового творческого прилива и не напишет еще одну. Так было с Величковским, в конечном счете, лучшие свои стихи написавшем в самом конце жизни. Но этой скромной книжечки, снабженной на редкость благожелательным и при этом содержательным послесловием Р.Ю. Герра, вполне достаточно, чтобы волна забвения не смыла имени поэта. А скольких она уже смыла лишь из-за того, что никогда не смог поэт по жизненным обстоятельствам собрать свои стихи хоть в какой-нибудь сборник!

“Где рукописи Карла Гершельмана?” — этот риторический вопрос Ю.П. Иваска из поэмы “Играющий человек” можно отнести к десяткам прочно забытых, но тем не менее талантливых поэтов эмиграции, особенно к тем, кого, увы, нелегкая занесла на просторы родной, переименованной страны. Не буду перечислять их имен — слишком горько. Уже и то в радость, что благодаря этому маленькому сборничку творчество Бориса Заковича забыто не будет.

Парижская нота иной раз служит предметом чистого издевательства (см. статью Василия Бетаки в “Гранях”, где он повенчал “Вологду с Багдадом” — выражение Клюева), Божий дар — с яичницей, а поэта Ивана Елагина с “деревянной куклой” (выражение Галича, адресованное, правда, другому советскому писателю — Вознесенскому). Но есть у нее стойкий, не очень обширный но и не сокращающийся в числе из-за смены поколений контингент читателей и поклонников — недаром книги Штейгера и Поплавского и растут в цене и переиздаются, а Георгия Иванова даже самые скептические критики “третьей волны” нехотя признают великим поэтом — на родине они его не читали, “брезговали”, как это в 50-е — 60-е годы считалось модным у тех, кто пробился в советскую литературу (“Что хорошего может быть в затхлых дебрях, в эмиграции? Набоков — пигмей!” — дословная реплика советского ученого, позднее попавшего на Запад и вынужденно на этот счет замолкшего, ибо осознавшего, что — засмеют).

Парижская нота с ее непоправимостью и недоговоренностью, с ее отчаянием и с каждым годом все более гаснущей надеждой — все-таки была. Была даже у тех, кто позже начисто от нее отрекся: “Монолог” Игоря Чиннова — тоже ведь Парижская нота. Если бы ее, “ноту”, персонафицировать в одного человека — то он, этот человек, всходя на установленную для “ноты” зоилами “третьей волны” гильотину, имел бы право произнести предсмертную реплику Андре Шенье: “А все-таки у

меня здесь кое-что было!" (В голове).

Честно говоря, после не так давно попавшей с Запада в СССР "Антологии Петербургской поэзии" и многочисленных антологий "общеэмигрантского толка", очень бы хотелось, чтобы кто-то из парижан взял на себя труд издать именно антологию "Русской парижской поэзии", а еще бы приятнее — непосредственно антологию Парижской ноты. Книги доходят трудно и нерегулярно, а образование требует информации: антология Парижской ноты могла бы сослужить в этом деле неоценимую службу. Откликнитесь, "Альбатросы"!

Если говорить о самом Заковиче, то радует чистота и ясность его тихого голоса, безошибочность русской речи, острота зрения. Как зорко, как точно, как до мороза по коже идущего пронзительны вот эти всего лишь четыре строки:

В окне — луна. Под нею — черный дом.  
А там — волы. И страшно в доме том  
Стоять, жевать и бредить по ночам  
Еще живым, мясистым рогачам.

Здесь — не сдвинуть с места ни слова, ни запятой. Если бы вся книга вытягивала на такой уровень, Заковича пришлось бы ныне зачислить в такие же перворазрядные поэты, как, увы, лишь посмертно открывшегося читателю Сергея Рафальского. Но и то, что есть — очень достойно. Резким диссонансом звучит в книге лишь единственное "ура-патриотическое" стихотворение, датированное 1944 годом — "Вражий стан за дымкой синоватой..." Эти стихи — просто дурные. Но, может быть, поэт не имеет права отречься от радужных восторгов и надежд времен конца Второй мировой войны, когда страшные кавказские усы казались не такими страшными. Честность поэта — в том, чтобы не отречься от своих прошлых заблуждений. Думается мне, что это стихотворение — не просто неудача, а горькое признание поэта, что вот, заблуждался когда-то — сами теперь видите. Видим. Понимаем. Прощаем.

Закович — не просто тень Поплавского, как, вероятно, покажется многим при поверхностном чтении, и не просто писал "стихи в подарок друзьям", как может показаться по обилию посвящений над стихами (в конце концов, ленинградской обереут Н.М. Олейников вообще никак иначе стихов не писал). У него есть и совсем свежие стихи, а в них — нечто совсем новое по сравнению с прежними годами:

Видал ли ты, как ветер в непогоду  
 Высокие склоняет тополя,  
 Как их вершины молвят "да" и "нет",  
 Еще не зная верного ответа?

Здесь уже плодотворный возврат к традициям не Парижской школы, а доброго старого XIX века, наследие которого впитано и освоено новейшей русской поэзией далеко не полностью. Думается, что Закович мог бы подарить нам еще и новые стихи — дорога к ним у него есть.

В конце хочется сказать о том, что автор послесловия и издатель книги, "русский француз" (выражение И. Одоевцевой) Р.Ю. Герра назвал себя "русской словесности случайным пасынком". Ответить ему можно только то, что он попал "в хорошую компанию", и предшественник у него в этой "пасынкковой традиции" — гениальный Владимир Даль, в котором тоже ни капли русской крови не было. Пасынки иной раз заботливей и щедрее, не говорю уж о том, что умнее, чем родные сыновья. Р.Ю. Герра немногочисленными своими пока что изданиями "Альбатроса" нам это отлично доказал.

*Я. Горьковатый*  
 (Москва)

*Чеховград.* — Семь аккуратно изданных книг. Автор — Д. Антонов, издательство — "Чеховград". Семантическая связь между "Антонов" и "Чеховград" — очевидна. Попытаемся раскрыть, с разрешения автора, его псевдоним и символическое название "собиздата" т.е. издания книг на свой собственный кошт. Автор книг — *проф. Э. Бройде*, литературовед, диссидент и эмигрант, проживающий ныне в Западной Германии. Он — интеллигент в лучшем смысле этого слова, ставящий своей целью напомнить современникам о светлых заветах Чехова и указать на те вехи опасного пути, идя по которому интеллигенция вырождается в "образованщину", в лучшем случае, в "аппаратчину" — в худшем.

С формальной точки зрения, книги написаны не так уж увлекательно. Автор сам признается: "Не соблюдены традиционные понятия жанра, сюжета, времени, пространства" ("*Восстание*"; стр. 146). Мы бы определили этот стиль, как сюрреализм. Представьте себе раненого, лежащего на больничной койке. В горячке он бессвязно вспоминает эпи-

годы из своей жизни. Перед его воспаленным взором появляются образы, лица, ситуации и места не в хронологической и топографической последовательности, а попеременно, как перетасованные карты. В его некоординированном сознании образуются невероятные, нереальные ассоциации, в которых он отождествляет себя с различными персонажами, без четкого разделения между "я" и "не-я". Автор этих книг в какой-то степени "ранен" творчеством А.П. Чехова и его мировоззрением.

Что же он хочет поведать читателю? Дадим ему слово: "Чеховград" — это символика, это поиск Бога сегодняшней интеллигенцией. Подлинные интеллигенты следуют завету: "И вы познаете истину, и истина сделает вас свободными".

В одном из писем Э. Бройде пишет: "...поэтому я и хочу всеми силами помочь российской интеллигенции вернуть себе — Веру! Чехов принимается ими (т.е. подлинными интеллигентами), как авторитет, он нам всем помогает в общем деле — это и есть "Чеховград". "Чеховские Университеты" — это путь к Христу. Чехов перед смертью писал: "Вера у простых людей естественна... Но сейчас мы говорим об интеллигенции, которая, как и я, растеряла свою веру... Понадобится, может быть, еще 1000 лет, чтобы вновь найти Бога, но это огромный труд". По мысли Чехова, интеллигенту трудно и почти невозможно веровать "по детски", как верует мужик. О. С. Булгаков не случайно назвал Чехова — мыслителем. И, вероятно, о. Александр Шмеман тоже не случайно утверждал, что видит истинное христианское существо Чехова... Если бы Чехов знал, что России предстоит Распятие (от большевиков), то он сказал бы, что это и есть тот Крестный Путь, который каждого интеллигента приведет к Христу.

В свете вышесказанного яснее становятся основные темы рассматриваемых книг:

1) "Чехов-Мыслитель". — Анализ произведений Чехова под тем углом зрения, о котором сказано выше.

2) "К проблематике Чеховских Университетов", — более "политизированный вариант" первой книги с дополнением других материалов из диссертации, которую автор защитил в Московском университете в 1970 г. В книге приведены отрывки из письма покойного профессора Юлиана Григорьевича Оксмана. Оксман был долголетним узником Гулага, помог побегу Аркадия Белинкова; он дал автору рецензируемых здесь книг рекомендации к западным коллегам.

3) "Чеховские Университеты" — беллетризованное изложение

Крестного пути русской интеллигенции.

4) "Восстание" — попытка осмыслить возможность Восстания, т.е. преодоления атеистического режима (сравнительный анализ польского и российского опыта).

5) "Западня" — повесть о социализме, который всегда убивает национальное и духовное начало, будь то Россия или Израиль, Запад или Восток.

6) "Бедные люди" — люди, души которых убиты идеологией, ибо любая "партийщина" — атеистична. Творчество же духовно.

7) "Воля" (1984) — скрытая переключка с Орвеллом и "Окаянными днями" Бунина. Мир не погибнет, если мы все воспримем Его Волю.

Литературную манеру Э. Бройде можно определить, как мозаичную; рассматривая элементы мозаики вплотную, мы видим только отдельные камешки и лишь смотря издали, улавливаем целое, замысленный художником абрис.

Э. Бройде род. 4 декабря 1936 года в Москве, от отца Леопольда Треппера и матери Любви Бройде. История его отца изложена в книге "Воля". Сам Л. Треппер издал в 1975 году на Западе книгу "Большая игра", переведенную на многие языки. В 1945 году он был репрессирован и реабилитирован после смерти Сталина. В 1956 отцу удалось с семьей вырваться в Польшу, а оттуда в 1974 — в Израиль. Отец в молодости был "левым либералом", распространенным на Западе типом интеллигента, тогда как сын воспринимает "человечность коммунизма" не ликом, а личиной. После пятилетнего чтения лекций в Иерусалимском университете проф. Э. Бройде пришлось переехать в Европу. Он принадлежит к тем, кто в личном и творческом плане вполне отождествились с русской и православной культурой

*Игумен Геннадий Эйкалович*

ВЫШЛИ ДВА ТОМА ТРИЛОГИИ

**РОМАНА ГУЛЯ**  
**”Я УНЕС РОССИЮ”**  
**АПОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ**

*ТОМ II. ”Россия во Франции”.* Исправленный и значительно дополненный текст по сравнению с текстом, печатавшимся в ”Новом Журнале”. Много фотографий, факсимиле, указатель имен, стр. 356, цена 15 долларов.

*ТОМ I. ”Россия в Германии”.* Второе издание. Текст исправленный и значительно дополненный. Много фотографий, факсимиле, указатель имен, стр. 364, цена 12 долларов.

Заказы направлять по адресу ”Нового Журнала”: ”New Review” 2700 Broadway, New York 10025.

**Готовится к печати ТОМ III. ”Россия в Америке”.** Перед Америкой — Война во Франции. Великий исход. На стекольной фабрике. Сельскохозяйственные батраки четыре года. Париж после победы: совпатриоты и коллаборанты. Мой уход из масонства. Масоны — адм. Вердеревский, ген. Голлиевский, Игорь Кривошеин и др. Работа с Мельгуновым. Бунин. ”Народная Правда”. По Германии — встреча с власовцами (СБОНР). Мюнхен, Шляйсхейм, Гамбург, Ганновер. Отъезд в Америку. ”Лига борьбы за Народную свободу”. Николаевский, Церетели, Керенский, Абрамович, Зензинов, Вишняк. Разрыв с Николаевским и с Лигой, М. М. Карпович и ”Новый Журнал”, Радиостанция ”Свобода”. Встреча с Солженицыным. Работа над ”Я унес Россию”.

---

# Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л

под редакцией  
РОМАНА ГУЛЯ (главный редактор)  
Ю. Д. КАШКАРОВА и Е. Л. МАГЕРОВСКОГО

■  
В 1985 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

■  
Подписная цена на 1985 год 30 долларов  
(за 4 книги)

Цена одной книги — 9 долларов

■  
ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ  
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY  
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы 666-1692

Прием по делам редакции и конторы — по понедельникам и сре-  
дам, от 10-ти до 12-ти час дня

---